

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

М.Н. АКИМОВА (зав. отд. публицистики)

Н.М. АХПАШЕВА

Б.Л. АЮШЕЕВ

А.Г. БАЙБОРОДИН

Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ

Б.Я. БЕДЮРОВ

В.А. БЕРЯЗЕВ

Б.В. БУРМИСТРОВ

В.В. ДВОРЦОВ

Б.С. ДУГАРОВ

А.И. ИВАНТЕР

В.Н. КАЗАКОВ

А.В. КИРИЛИН

Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)

В.Н. КОСТИН

М.В. КУДИМОВА

С.Г. МИХАЙЛОВ (зав. отд. поэзии)

А.М. РОДИОНОВ

Э.И. РУСАКОВ

В.Н. СЕРОКЛИНОВ (зав. отд. прозы)

В.И. ТИТОВ (отв. секретарь)

М.А. ЧВАНОВ

Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА

В.Н. ЯРАНЦЕВ (зав. отд. критики)

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

8 август 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Владимир ХОТИЛОВ. Царапина. Повесть.	3
Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ. Конец Истории: благословенный Иов. Повесть. Окончание.	37
Алесь ПАШКЕВИЧ. Сим победиши. Роман-парабола. Окончание.	74
Борис КЛИМЫЧЕВ. Мраморная женщина. Главы из романа.	116

ПОЭЗИЯ

Виктор КИРЮШИН. Деревце над обрывом. Стихи.	30
Вера ЗУБАРЕВА. Лампа и луна. Стихи.	69
Амирам ГРИГОРОВ. Три огня над водой. Стихи.	111
Александр ЧЕХ. Катунь. Стихи.	132

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир АЛЕЙНИКОВ. Саю ваю. Продолжение.	137
Лариса БЕЛКОВЕЦ, Сергей БЕЛКОВЕЦ. История германского консульства в Новосибирске. Окончание.	170

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Надежда КИНДИКОВА. Проблема периодизации литератур Сибири.	187
---	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

ЦАРАПИНА

П о в е с т ь

1.

Старик, проснувшись, не спешил вставать и думал о покойной жене — она приснилась ему прошедшей ночью. В раздумьях он что-то сказал вслух самому себе и, вздыхая, поднялся, а потом присел на край кровати. Несколько минут его сухощавая фигура оставалась неподвижной, затем старик начал медленно поворачивать голову в разные стороны, а когда у него стали зябнуть ноги, включил ночник, неторопливо оделся и отправился на кухню.

До вечера ему предстояло жить в одиночестве — его дочь, незамужняя, бездетная и уже немолодая, отправилась с пятницы на субботу к своему старому другу на романтическую встречу, предоставив старика самому себе. И сейчас, не умываясь, без опасения услышать упреки и напоминания дочери о гипертонии и холестерине, он сварил пару яиц всмятку, вскипятил чайник, заварил кружку растворимого кофе и сел завтракать.

После приема не слишком вкусной и не совсем здоровой пищи старик отправился в ванную и по дороге, в тесном коридорчике, нечаянно задел объемистый полиэтиленовый мешок с мусором — дочь приговорила его на вынос, но вчера, торопясь на свидание, забыла прихватить с собой. Черный мешок опрокинулся, из него вывалилась макулатура: пара тонких подшивок периодических изданий, разные, видимо, ненужные книги и целая россыпь из номеров популярного в свое время литературного журнала.

Старик, пробурчав что-то по поводу роли мусора в беспросветном будущем человеческого рода, вернулся в прихожую уже в очках, включил там свет и, усевшись на табурет, стал разглядывать все, что теперь лежало в разбросанном виде на полу.

Складывая бумажный мусор, он особенно подолгу разглядывал и пролистывал старые номера журналов с литературными творениями минувших лет. Словно желая что-то припомнить, с интересом и некоторым удивлением смотрел он на портреты их авторов, чему-то хитро улыбаясь. Разбирая журналы, старик долго не находил ничего примечательного, пока не наткнулся на тонкий и достаточно потрепанный, по сравнению с другими номерами, журнал с нашумевшей в те далекие годы повестью. Имя провинциального и тогда еще непризнанного автора, нынче всемирно известного писателя, было ему знакомо, да и название повести напоминало старику о многом из прошлой жизни. И старик, решив сохранить уцелевший журнал, отложил его, а все остальное аккуратно собрал в мешок и поставил чуть в сторонку, чтоб не загоразживал проход в узком коридорчике.



Старик поселился у дочери недавно, а до этого жил в своей квартире с взрослым, но непутевым сыном. Старику, который разменял девятым десятком, совместное проживание с сыном становилось невмоготу — после смерти жены за ним требовался уход, чего от крепко пьющего сына ждать было бесполезно. Потому старик и перебрался к дочери, надеясь, что так будет лучше для всех: для него — рядом с любимой дочкой; для нее — что отец всегда на виду; да и сыну, сменившему по причине пьянства не одну семью и живущему со всеми в постоянных разладах.

Старик, разобравшись с мусорным мешком, позабыл про свой утренний туалет и сейчас, стоя у окна, наблюдал за падающим снегом.

На улице светлело; было тихо — большие снежинки, слегка кружась, плавно ложились на землю, а старик вспоминал недавний сон, в котором к нему приходила умершая жена...

Она принесла с собой очень старый стул с сиденьем и спинкой, обитыми потертой до блеска кожей, села на него и долго смотрела на старика. Жена молчала и не шевелилась, и старику казалось, что она просто застыла около него, а он, будто больной, лежащий на кровати, не может приподняться и обнять ее. И старик, вглядываясь в молчаливую жену, лишь замечал, как на тонких губах в уголках ее рта проступает едва заметная печальная улыбка...

Сон забывался, и старик наивно закрывал глаза, словно пытаясь вспомнить его продолжение, но сон терялся и бесследно таял в старческой памяти. И старик, открыв глаза, оглядывался по сторонам — его взгляд искал стул, на котором ему приснилась жена. Но старого стула со спинкой и сиденьем, обитыми кожей, нигде не было видно, и старик, не найдя вокруг себя никаких материальных следов ночного сновидения, чему-то удивлялся вслух, тихо и досадливо.

Прошло несколько минут, и старик, возвращаясь в обыденную жизнь, вспомнил о своих недавних желаниях, отправившись в ванную комнату. Там он побрился безопасным бритвенным станком, изучая в зеркале грустное лицо человека с глубокими складками и морщинами. Бреясь, старик обратил внимание на свой лоб, где виднелась свежая царапина. «Странно... С вечера ничего не было... да и сегодня лбом нигде не ударялся... — подумал он. — Может, ночью сам расцарапал?»

Старик разглядел царапину на лбу поближе, затем посмотрел на постриженные ногти у пальцев и покачал удивленно головой — такой след мог получиться от острого предмета, например, иглы, но только не от его ногтей. Он призадумался, вглядываясь в свое зеркальное отражение, потом, чему-то усмехнувшись, продолжил бриться.

После утреннего туалета он долго бродил по квартире, заглядывая то в одно окно, то в другое, и о чем-то размышлял. На улице стало совсем светло, но короткий зимний день для загрустившего от невеселых дум старика пролетел незаметно, и он вернулся в реальную жизнь ближе к вечеру, когда возвратилась дочь.

Она разобралась с закупленными продуктами, приготовила ужин, накормила старика, и сейчас они пили вместе чай, неторопливо переговариваясь, и поглядывая друг на друга.

— Па, у тебя царапина на лбу! — заметила дочь и встревожено спросила: — Ты что, ударился?!

— А-а... — старик махнул рукой и соврал. — Дверка шкафа... Открыл — и забыл!.. Нагнулся, а потом привстал — вот и зацепил...

— Пап, осторожно, ты что... Так ведь и серьезную травму можно получить! — воспитывала старика дочь, а он, отхлебывая чай, незаметно ею любовался — дочери было давно за сорок, но она по-прежнему была красавицей.

Теперь-то старик понимал, что они с женой все-таки проглядели их собственную дочь, вернее, не сумели направить ее на верный жизненный путь. Дочь слишком рано и не совсем верно оценила свою красоту, решив, что лишь ее одной вполне достаточно для долгой и счастливой жизни. Старик же по молодости баловал дочь, считая, что главное для женщины в будущей жизни — семья и дети, а все осталь-



ное — как уж получится. А по женской части, полагал он, пусть жена наставляет... Но то, на что надеялся старик, не вышло, что-то пошло не так...

Вначале у дочери — красавицы и, в общем-то, неглупой девушки — было достаточное количество кавалеров и женихов, а потом просто ухажеров и знакомых мужчин. Пару раз она выходила замуж, но все неудачно. Дочь так и не сумела родить своим мужьям желанных детей, а те расставались с ней именно по этой причине. Бабий век, как известно, короток... Годы пролетели, жена у старика умерла. Он остался один с незамужней, бездетной дочерью и старшим сыном, который, порадовав старика внуками от разных браков, нынче его сильно огорчал, поскольку жил теперь бирюком, притом — крепко пьющим.

Старик смотрел на дочь и замечал, как все меньше и меньше в ее облике остается материнских черточек, с годами все зримее проступает ее сходство с ним, но это уже не радовало его как прежде, когда он мечтал о счастливом будущем дочери.

Весь остаток вечера старик дремал в кресле, иногда с безразличием поглядывая в телевизор, а когда ему надоело мучиться с сонливостью, отправился спать. Но заснуть сразу не сумел — ворочался, часто вставал и уснул поздно. Никаких снов в эту ночь старик не видел, а утром даже не заметил, как дочь ушла на работу, и встал, когда просветлело.

2.

Старик, как все пожившие люди, считал, что красота — не профессия, но не слишком огорчился, когда узнал, что его немолодая дочь работает техничкой в салоне красоты. Новая жизнь диктовала свои правила: сейчас даже уборщица в таком заведении, оказывается, непременно должна быть привлекательной женщиной.

Старик старался не думать о новом месте работы дочери — ему было немного обидно и даже чуточку стыдно, но не за дочь, а больше за себя: он чувствовал свою вину за ее нынешнее положение. И дочь, наверное, думала и мечтала с юности об иной судьбе, но сначала, будучи молодой и красивой, работала секретаршей у больших начальников на разных заводах. Потом, постарев и утратив былую привлекательность, трудилась администратором в престижном фотоателье, затем довольствовалась местом лаборантки и уборщицы в одном из вузов города... И вот теперь пришла очередь салона красоты.

Старик, завтракая, отгонял от себя неприятные мысли о судьбе дочери. Пенсия старика, инвалида и ветерана войны, привыкшего к скромной жизни, считалась неплохой, да и заработок дочери был не лишним — в общем, их совместная жизнь представлялась ему вполне сносной. А о чем-то другом, более далеком, старик даже не задумывался, понимая, что это бессмысленно в его возрасте.

После завтрака старик подошел к окну и увидел на подоконнике журнал, который он обнаружил вчера в мусорном мешке, а затем отложил. Старик, надев очки, присел в кресло и начал медленно пролистывать чуть пожелтевшие страницы. Иногда он откладывал журнал в сторонку и о чем-то задумывался.

Он вспомнил, как сын, будучи мальчишкой, принес домой такой же журнал, радостно сообщив, что ему дали его почитать всего на два дня, что в нем опубликована та самая повесть, которая у многих сейчас на слуху, а недавно ее выдвинули на громкую премию. Ни старик, ни его жена, ни тем более их шестилетняя дочь не претендовали на прочтение журнала, поэтому слова сына прозвучали несколько странно, и старик, кажется, тогда ничего не ответил.

Они только недавно заселись в новую кирпичную пятиэтажку, переехав из бревенчатого дома родителей старика, который подлежал сносу в связи с прокладкой моста через большой городской овраг. Их жилище, как все подобные новостройки, тогда еще не именовалось слегка искаженной фамилией главного партийного босса страны, а называлось просто малогабаритной квартирой со всеми удобствами. Квартиру семье из четырех человек с двумя разнополными детьми дали двухкомнатную,



по закону и нормам. В ту пору никто и не думал возражать на сей счет — все в семье старика были только рады этому новоселью.

Сын спал в проходной комнате на диване, старик с женой в изолированной комнате поменьше, а маленькой дочери поставили кровать в кладовке — захламлять ее новоселы не стали, наоборот, убрали из нее встроенный аляповатый шкаф, отчего она стала более просторной.

Журнал сын читал с вечера, а потом и ночью, лежа на диване, с настольной лампой на тумбочке. Под утро старик встал и, проходя мимо, выключил оставленную заснувшим сыном лампу. Потом взял раскрытый журнал и стал его рассматривать в прихожей. Из журнала выпала газетная вырезка. Старик подумал, что эта обычная книжная закладка — поднял ее и внимательно прочитал небольшую заметку о красноармейце, отце шестерых детей, который закрыл своим телом амбразуру дзота у какой-то деревни во время Великой Отечественной войны, обеспечив тем самым выполнение стрелковой ротой боевой задачи по освобождению той самой деревни. Посмертно бойцу присвоили звание Героя Советского Союза.

Ничего необычного для старика, бывшего фронтовика, в этой публикации не было, кроме фамилии героя — он оказался его однофамильцем. Старик удивился, поскольку ничего о нем не знал и ранее был уверен, что таких героев, с довольно редкой фамилией, нет среди его однофамильцев. Он оставил газетную вырезку меж страниц, на том месте, где сын прервал чтение, а журнал, возвращаясь обратно, положил на прежнее место, вскоре забыв об этом случае.

Старик хорошо помнил то время: его назначали на достаточно высокую и ответственную должность, он мотался в частых командировках по области, исколесил ее вдоль и поперек не только на служебных машинах, но и исходил пешком, допоздна просиживал на работе, ездил на разные семинары и курсы повышения квалификации. Читал много, но больше о том, что касалось профессии; художественная же литература незаметно исчезла из его жизни.

«Зачем ему, мальчишке, так захотелось прочитать эту повесть? — удивился старик. — Спешил узнать всю правду?... Да мог ли он в пятнадцать лет понять то, что там написано — это ж не история о д'Артаньяне и трех мушкетерах...»

Старик знал, о чем была нашумевшая в свое время повесть, хотя и не читал ее, знал и о том, какую роль она сыграла в жизни автора. И он, взяв журнал, решил его прочитать, полагая, что будет это не так уж утомительно для его глаз, и он все-таки осилит эту тоненькую книжицу.

Приступив к чтению, старик сразу же почувствовал какое-то неудобство стиля — повесть давалась ему с трудом, некоторые абзацы он перечитывал по несколько раз, пока не приспособился к особой манере повествования. Так, не спеша и с перерывами, он читал журнал весь день, к вечеру заметив, что уже устал. Чтение повести не захватило старика, однако он решил, что обязательно дочитает ее.

Вечером, когда старик пил чай с дочерью, он обдумывал, как лучше спросить у нее о друге, к которому она так регулярно похаживает, к тому же с ночевками. Старик знал его больше года, но так и не мог толком понять главного в их отношениях. Друг дочери, давно разведенный мужчина, был чуть ее старше и, кажется, имел взрослого сына от неудавшегося брака.

У старика в черте города, на неудобных землях, находился садово-огородный участок с дачей. Раньше, еще когда он его завел, там активно трудились сын с дочерью. Сам старик, инвалид войны, однорукий человек при двух вроде бы руках, работал на даче не слишком много, а в последние годы и вовсе отдалился от этих дел по своей немощи. И жена старика, страдающая разными болезнями, до своей смерти принимала в садовых делах лишь редкое и посильное участие. Теперь же заботы целиком легли на дочь и сына, страдающего частыми и затяжными запоями, отчего его участие в садово-огородных делах становилось все более и более символическим. Друг дочери оказался в этой ситуации ее надежным помощником, особенно там, где требовалась мужская рука. Старик познакомился с другом дочери, увидев



его впервые именно на даче, где они потом встречались не раз, и у старика сложилось о нем хорошее мнение, правда, о планах их совместной жизни с дочерью он никогда того не расспрашивал.

За судьбу дочери старик не волновался так, как за судьбу сына, но ему хотелось ясности и в ее будущей жизни. Однако разговор за чаепитием на эту тему не завязался, дочь была не в духе или просто устала, и старик, чтоб как-то скрасить свою неудачную попытку, задумчиво произнес:

— А жизнь, милая, на то и одна, что в ней три любви и два счастья не умещаются — вот так!

Удивленная дочь с улыбкой посмотрела на старика и успокоила его:

— У нас, па, все хорошо... А ты живи и не переживай!

В эту ночь старик заснул быстро, спал спокойно, без сновидений, проснувшись довольным.

3.

Бытовые заботы его не обременяли, и как-то только зимний день и он сам набрали силу, старик вернулся к чтению повести. Больших откровений для себя он там не находил, поскольку для современного человека ничего удивительного в повести уже не было. Но старик возвращался в те далекие годы и пытался взглянуть на повесть глазами читателя того времени. Он пришел к мысли, что, наверное, и тогда повесть не слишком бы его ошеломила, ничем особым не поразила бы, как, впрочем, полагал он сейчас, и многих людей его поколения, прошедших через военные невзгоды.

«Зачем все это было писать? — раздумывал старик об авторе повести и о том непростом времени. — Для чего и для кого?!.. Для тех, кто руководил террором, сажал и гнал людей по этапам на погибель, стоял на вышках?!.. Для тех, кто прошел через эти муки и уцелел?!.. Или для остальных, кто знал про это, но молчал?!.. А знали ведь многие, правда, не все понимали, но такие были — немного, но были... Тех, кто не желал понимать, было, конечно, больше — они просто хотели жить и спокойно спать. Их судить трудно... Получается, повесть для других — для тех, кто тогда не жил, кто ничего из этого не знает, чтоб лучше нас были... Пожалуй, да...»

Мысли о повести возвращали старика в прошлое, и он, тяжело вздохнув, проговорил:

— Позабудут!.. Все равно забудут — не их эта память...

Старик вспомнил военное время, когда после школы был призван в армию, окончил военное училище и командиром стрелкового взвода оказался летом сорок третьего года в самом пекле сражений. Как замещал комроты и принимал пополнение — молодых, необстрелянных ребят из южных кишлаков, горных аулов, степных прикаспийских селений, не знающих русского языка и не до конца понимающих, зачем они здесь, что такое война и кого они тут защищают. Недавно призванные, наспех и плохо подготовленные, не понимающие элементарных команд, они часто гибли просто так, ни за понюх табака, в первых же боях... Да и сам старик повоевал недолго, чуть больше двух месяцев, а затем, получив осколочные ранения, провалялся в госпиталях. Домой писал, что с ним ничего страшного не случилось — правую руку ему не отняли, но вместо нее висела безжизненная плеть, которой он теперь едва двигал. Его скоро комиссовали; возвращаясь, он не понимал тогда, что ему чудесным образом повезло в этой жизни. Очутившись дома и узнав о гибели многих родственников, однокашников, знакомых и друзей, он осознал, что судьба к нему была бесконечно милостива. А когда кто-то в ту пору интересовался его благополучным возвращением с фронта и спрашивал про ранение, он, уже не стесняясь, отвечал:

— У людей руки-ноги отнимают, а у меня рука, пусть и как плеть, но зато цела!.. В общем, ерунда — царापина...



— Легко отделался — счастливчик! — говорили ему люди, и старик, улыбаясь в ответ, им верил.

Жил он в небольшом городке на холмах, к которым со старых времен примыкали слободки, расположенные в низинах, изрезанных оврагами и речушками. Родительский дом располагался на пологой части широкого оврага, отделяющего слободку от городка. До революции на холмах обитали состоятельные горожане, там же находились главные городские здания и учреждения, а в слободках жил простой люд.

Война все дальше и дальше отодвигалась на запад, а жизнь в городке, вдали от фронта, продолжалась своим чередом. Рука у старика медленно и незаметно ожидала, двигалась, подчиняясь ему все лучше и лучше, и он даже научился ей здороваться, правда, немного странным образом: он протягивал правую ладонь, придерживая ее левой рукой, лишь после этого слегка пожимая обеими руками протянутую ему ладонь.

Он упорно тренировался и вскоре, научившись твердо держать школьную ручку, попробовал что-то написать искаленной рукой. Сначала учился писать в тетрадках с прописями, как первоклашка. Но настоящих тетрадей с прописями на всех не хватало, поэтому приходилось выкручиваться — младшая сестра вручную леновала для него всю попадавшую под руку бумагу. И старик, как усидчивый школьник, научился выводить в этих «прописях» буквы по-детски крупным почерком. Этот почерк, как и странное рукопожатие двумя руками, остался у него на всю жизнь.

После войны в городке заработали два института. И в один из них, заново научившись писать, он решил поступить — и поступил, еще молодой человек, но уже инвалид и фронтовик, получивший на войне свой единственный боевой орден. И его нынешняя жизнь теперь мало отличалась от жизни таких же молодых людей, решивших учиться, несмотря на трудные послевоенные годы.

Институт располагался в центре города, на возвышенности, и каждое утро старик видел институтское здание из своего окна. Наверное, если бы не это обстоятельство и его инвалидность, то молодая жизнь сложилась бы иным образом, однако в то время она потекла по кем-то определенному для него руслу, как речушка рядом с родительским домом, которая тихо журчала столетиями на дне оврага, а затем впадала в большую реку.

Учился он с охотой, даже с жадностью. Учеба давалась ему легко, и рука его не была уже такой немощной, как раньше, после ранения. Постоянные физические упражнения приносили пользу — покалеченная рука частично восстановилась, и он стал более уверенным в себе.

Как и все молодые люди, он задумывался о личной жизни — знакомых девушек у него хватало, а молодые парни его возраста были нарасхват. Но жениться не спешил, считая, что это следует делать после окончания института. Однако планы изменились на третьем курсе — в его жизни появилась девушка, с которой он познакомился обычным по тем временам способом — на летней танцплощадке городского парка. Девушка оказалась симпатичной, задорной и боевой — в полном смысле этого слова: во время войны она служила связисткой и имела несколько боевых наград. Из армии девушка демобилизовалась два года назад и сейчас работала на фабрике.

В то жаркое лето некоторые посетители танцплощадки успевали после танцев окунуться и поплескаться в речке, чтоб освежиться в душную ночь. В один из таких вечеров новая знакомая позвала его с собой на речку. Он согласился, однако на пустующем ночном пляже раздеваться не стал, сказав, что ему расхотелось, и остался курить на берегу, вглядываясь в темную речную гладь, где слышались радостные возгласы ночной купальщицы.

Когда они возвращались с пляжа домой, девушка, взяв его за искаленную руку, часто прислонялась к нему своим телом, отчего бывшему фронтовику становилось в эту лунную ночь не по себе. Она же, делясь своими ощущениями после ночного купания, неожиданно спросила его:

— А ты на речке меня застеснялся, да?..



Сначала он засмутился, а потом, набравшись храбрости, все ей рассказал... И про жаркое лето сорок третьего года, и про свою роту, которая почти вся погибла в тех тяжелых боях, и про свое ранение, в результате которого он стал одноруким — при двух вроде бы руках в наличии.

Они некоторое время молчаливо стояли у подъезда ее дома, потом она вдруг прижалась к нему и прошептала:

— А я все равно тебя люблю... такого, однорукого! — и, отстранившись, улыбнулась так, что он запомнил этот миг и ее улыбку на всю жизнь.

Чудесные мгновения пролетели, и она, попрощавшись с ним на бегу, исчезла в подъезде. Ошеломленный, он простоял несколько минут, замечая, как его душа переполняется радостью...

Осенью они поженились, а через год у них родился сын, который принес им новые заботы и радости.

4.

Читая повесть, старик успевал размышлять о своей жизни, и возникающие мысли неумолимо возвращались к непростым отношениям с сыном. Он давно подметил, что его слова и поступки иногда вызывали у сына откровенное недовольство. Теперь старик не только чувствовал, но и догадывался, что за таким поведением сына скрывается какая-то подспудная, глухая неприязнь к нему, а это, как полагал он, гораздо существенней, чем последствия от мелких бытовых ссор, которые, как пустяшные размолвки, со временем забываются.

В моменты своих раздумий он прерывал чтение и погружался в дремоту, сквозь которую к нему приходили воспоминания, как некие обрывки повести, но уже из его собственной жизни. Детство и юность сына никуда из нее не исчезали, но те годы, потускнев в памяти старика, казались ему очень далекими, его сознание будоражили лишь впечатления от еще не совсем забытых картин пережитого.

Он вспомнил сына, каким тот вернулся после армейской службы. Поведение сына изменилось, как и его манера говорить, он ныне отличался от себя прежнего, порывистого и романтического. Он просто стал немного другим, и старик заметил эти перемены.

«Как понять, стал ли сын с этими изменениями лучше?» — раздумывал он тогда, сам же понимая, что главное — тот возмужал, а все перемены в нем понятны и логичны.

И когда летом, отправляясь в институт на вступительные экзамены, сын, не дожидаясь ничьих советов, надел по этому случаю военную форму, то старик, немного удивившись, сказал ему:

— Ты, сынок, нынче и без формы по другому, нежели школяры, конкурсу проходишь...

Сын, даже не взглянув в его сторону, ответил невозмутимо и немного жестко:

— Не учи — знаю!.. На льготы надейся, а сам не плошай...

А через год, осенью, учась на втором курсе института, сын надумал жениться. Мать вздыхала, но сына не отговаривала — старик и сам женился на третьем курсе в трудное послевоенное время, что тут еще можно было сказать...

— Какие могут быть отговоры-уговоры после такого личного примера... — рассуждал старик. — Да и зачем... Надумал — выходит, что это серьезно!

После свадьбы сын поселился у родителей жены, поскольку жилплощадь старика не могла их вместить. Хотя дом оказался довольно старым и незамысловатой планировки, однако в скромной трехкомнатной квартире у них была пусть и небольшая, но зато своя изолированная комната.

И все бы ничего, но после этого на сына обрушились неприятности... Во время гулянки на природе, борясь с кем-то забавы ради, он получил серьезную травму колена, которая оборвала его дальнейшую спортивную карьеру. До армии сын увле-



кался лыжами, а в армии попал в спорт-роту, где начал усиленно заниматься биатлоном, показывая неплохие результаты. Участь в институте, он ждал вызова в сборную страны, но после этого случая про спорт можно было забыть навсегда.

Внешне сын не выглядел сильно удрученным, однако уход из спорта отразился со временем и на образе его жизни — он начал потихоньку попивать, незаметно втягиваясь в это пагубное дело. После окончания вуза, уже работая на заводе, где он мог бы наверняка сделать неплохую карьеру, пользуясь поддержкой родственников жены и их друзей, сын по-прежнему продолжал выпивать — и жена, устав от пьянства и измен мужа, выставила его из родительского дома. Так сын оказался в новой квартире старика. Квартира в панельном доме была невелика, но к тому времени старик с женой жили в ней одни, им вполне хватало места. Дочь жила с одинокой теткой, которой требовался уход, в другом районе города, поэтому для непутевого сына место нашлось.

— Идиот! — сказал тогда старик сыну. — Пить надо в меру... и не путаться с подружками жены!

Старик впервые обозвал сына идиотом и ни о чем с ним больше не говорил. Да и о чем было говорить — он и так все знал о его пьянстве и распутной жизни.

Вскоре сын развелся с женой и, продолжая жить у старика, изредка встречался со своими детьми. А нынче, после второго, как сейчас говорят, гражданского брака без регистрации, сын снова вернулся в стариковскую квартиру, поскольку его в очередной раз выпроводила жена — видимо, окончательно и безвозвратно.

Старику стало тягостно от воспоминаний и неприятных мыслей, и он прекратил чтение повести. Иногда, вздыхая, он оглядывал комнату медленным и рассеянным взглядом, будто разыскивая что-то привычное. Старику словно чего-то не хватало вокруг себя, а чего именно — он и сам не знал. Такое состояние, впрочем, продолжалось у него недолго — старик вспомнил, что находится в квартире дочери, а не у себя дома, и немного успокоился.

После обеда старик собрался на прогулку. День выдался тихий и не слишком морозный — старик прогуливался дольше обычного и на обратном пути зашел в супермаркет сделать кое-какие мелкие покупки. На выходе он приостановился, с удовольствием вдыхая бодрящий зимний воздух, огляделся и увидел недалеко от себя улыбчивого парня-азиата. Его удивила не голова парня с короткой, не по сезону, стрижкой, к тому же без головного убора, а его молодое лицо, которое что-то напомнило старику, и он, вглядевшись, вдруг неожиданно для себя самого проговорил тихо и с удивлением:

— Абай...

Парень с азиатской внешностью улыбнулся ему еще радостней — он, видимо, расслышал старика.

— Как мой имя узнал, папаши? — спросил парень с улыбкой, которая, наверное, досталась ему от рождения и с той поры не исчезала с его смуглого лица.

Старик на секунду задумался, вглядываясь в парня, а затем ответил:

— Угадал, сынок... Просто угадал...

— Откуда угадал, а?! — продолжал парень; похоже, его заинтриговала неожиданная встреча. — Как угадал, а?!.. Скажи, папаши!

Старик молчал, словно собираясь мыслями, а потом спросил:

— В честь кого дали имя тебе, сынок?

Азиат, к удивлению старика, ответил быстро, не задумываясь:

— Абай — отец мой бабушки!

Улыбка на лице парня чуть потухла — он что-то соображал, а потом неторопливо заговорил:

— Абай — отец бабушки... Погиб... Тогда великий война был... с фашистом!.. Прошлый век... сороковой годы.

— Понятно, сынок, понятно! — с задумчивым видом произнес старик, а потом, будто спохватившись, спросил парня. — А что значит это имя, сынок?



Теперь задумался азиат — вопрос старика поставил его в тупик.

— Не знай... Дедушки отэц не видал, — сказал парень и медленно, подбирая подходящие слова, добавил: — Отэц мене сказал — Абай этэ... Абай этэ... на рузки... спокойный будет, во!

— Выдержанный, получается! — подхватил старик, тихо добавив: — Осмотрительный...

— Во-во, точно! — обрадовался азиат и спросил старика уже чуть настойчивей: — Как мой имя узнал, папаши?... Скажи, а?!

— Угадал, сынок... Просто угадал... — снова уклончиво ответил старик.

— Э-э, папаши, шутым! — с недоверчивым прищуром произнес улыбчивый азиат.

— Нет, сынок, правда! — ответил старик и пояснил: — В мое время вас, вольных детей степей, пустынь и гор, только так и называли... Кто помоложе, тех Абаями, а кто постарше — Бабаями величали... Ты, Абай, молодой, вот я и угадал!

Они вместе рассмеялись над словами старика и разошлись, пожав руки, будто старые знакомые.

5.

Возвращаясь, старик иногда останавливался и, покачивая от удивления головой, приговаривал:

— Ей-богу, вылитый Абай... Ей-богу!

Так, задумавшись, старик чуть не прошел свой подъезд, даже дома продолжая размышлять о случайной встрече с парнем-азиатом у супермаркета и возвращаясь к фронтowym воспоминаниям военной молодости...

Увиденный им парень как две капли воды был похож на рядового Абая из его взвода. Их азиатские фамилии старик не помнил, но в роте у них числился только один боец по имени Абай. Имена остальных, как не напрягал старик свою память, почему-то все начинались на букву «М»: Муса, Муртаза, Мансур, Махмуд, Мирза, Малгабек... Их лиц старик уже не помнил — все они слились у него в памяти в одно лицо, и этим лицом теперь являлось смуглое и улыбчивое лицо бойца Абая, который погиб в первом же для него бою — именно его физиономию старик запомнил на всю жизнь.

Старик вспоминал тот бой, когда их рота залегла в ложине, изрезанной овражками и пологими балками, прикрывая собой не слишком удобный, но все же проходимый для вражеских танков участок вдоль поймы реки. Ближе к полудню в ложине появились два дозорных фашистских танка и направились в сторону их позиций. Шли они по ложине довольно быстро, собираясь, судя по их поведению, пройти ее до конца, до самого пригорка с перелеском, где еще с ночи притаились наши самоходки.

Самоходки себя не выдавали, поэтому дозорными танками занялись стрелки из отделения ПТР, расположенные впереди взводных позиций. Ближний танк они подбили после второго выстрела, а вот с дальним произошла заминка. Ею воспользовался экипаж вражеского танка — сначала обстрелял обнаруженную позицию из пулемета, а затем у всех на глазах легко и с ужасающей быстротой раздавил гусеницами зазевавшийся расчет ПТР, устремившись вперед.

Несколько молодых бойцов из пополнения, что находились не в естественных укрытиях, а в недавно вырытых окопах, перепугавшись, решили перебежать без команды в ближний овражек, где укрывался другой взвод. После окриков они вернулись ползком — все, кроме единственного беглеца, которым и оказался неосмотрительный Абай. Добежать до овражка он не успел, пулеметная очередь из вражеского танка скосила его. Однако разгуляться этому танку они тогда не дали — спустя полминуты его подбил уцелевший расчет ПТР.

Вспоминать весь тот бой старику не хотелось, уж больно он оказался тяжелым, принесся большие потери... да и в памяти у старика осталась в подробностях лишь нелепая смерть Абая и его азиатское лицо, смуглое и улыбчивое.



Теперь же выходило, что парень-азиат у супермаркета, так похожий на Абая, и есть его правнук.

«Столько лет минуло... Просто так совпало, а жизнь потому и коротка, чтоб мы с ума от прошлого не сошли... — подумал он. — Теперь они все для меня на одно лицо — все Абаями стали...»

Старику даже показалось, что те далекие события выдуманы им самим или причудились ему. Сумрак комнаты только усиливал такие ощущения; старику захотелось больше света, он подошел к окну и стал смотреть на пришкольный двор, где дети катались с небольшой горки. По периметру, вокруг территории школы, обнесенной сетчатым ограждением, была проложена пустующая лыжня — и старик, увидев ее, почему-то вспомнил позабавивший его когда-то случай.

Приехав однажды зимой в столицу, он шел по тропке, рядышком с которой пролегла такая же накатанная лыжня. По ней скользили на лыжах несколько ребят. Среди них старик увидел мальчугана — негра лет девяти. Тот изредка останавливался и что-то кричал вдогонку своим приятелям на чистом русском языке. Старик — провинциал, не избалованный таким зрелищем, застыл на месте от неожиданности. Он так и простоял, пока мимо него не пронесся юный чернокожий лыжник. Затем старик некоторое время удивленно смотрел ему вслед и только после этого, улыбаясь, продолжил свой путь.

— С чего бы это вспомнилось, а?!.. — проговорил старик, глядя из окна на пустующую лыжню, и подумал: «Странно... Чего только в голову не взбретет!.. Надо больше гулять на свежем воздухе и меньше думать... и не читать всякие книжки!»

Но он тут же мысленно одернул себя и тихо произнес совсем не своим, как ему показалось, голосом:

— Бред!.. Какой все-таки это бред!..

Вечером, за чаем, дочь, внимательно посмотрев на старика, сказала с едва заметной усмешкой:

— Ты, пап, какой-то особенный сегодня!

— А что? — произнес старик без удивления.

— Гулял? — спросила она.

— Гулял! — ответил бодро старик. Ему вдруг захотелось поделиться с дочерью историей о встрече с парнем-азиатом у супермаркета. Однако вместо этого он зачем-то рассказал ей про тот забавный случай с темнокожим мальчуганом-лыжником, который без акцента лопотал по-русски.

Дочь слушала его, не улыбаясь, и только спросила:

— И когда ты успел все это увидеть?

— Я ж сказал — на днях... Возле нашей школы! — соврал старик, посчитав, что от этого история будет выглядеть смешнее, но тут же пожалел об этом — дочь осталась по-прежнему невозмутимой, что еще больше огорчило старика.

Она помнила эту историю, которую случайно услышала в пору своей молодости из разговора родителей, поэтому, пристально взглянув на старика, лишь повторила:

— Нет, пап, ты и на самом деле сегодня особенный...

— Да что ты заладила... Особенный, особенный... — немного обиделся старик и, допив свой чай, отправился читать газету.

Чтение при искусственном свете быстро утомляло его глаза, и он, отложив газету, побродил немного по квартире, после чего отправился в свою комнату, решив лечь сегодня пораньше. Однако, вспоминая подробности минувшего дня, словно пытаясь запомнить его на будущее, старик заснул не сразу, а ночью ему приснился сон, будто он поднимается на лыжах по пологому склону. Во сне он иногда оглядывался назад на далекий родной городок, тонущий в зимних сумерках. Ему даже казалось, что он видит отсюда их слободку и родительский дом, над которым из печной трубы высоко клубится сиреневый столб дыма. Он медленно осмотрелся и заметил, что уже не один — за ним идет на лыжах цепочка бойцов его взвода в белых маски-



ровочных халатах. Все они, смуглолицые азиаты и горцы, были похожи друг на друга, и старик, глядя на них, стал пересчитывать своих бойцов, беззвучно шевеля губами и вспоминая их имена: «Муса, Мургаза, Мансур, Махмуд, Мирза, Малгабек...» — удивляясь, где эти парни из знойных кишлаков и аулов так быстро научились скользить на лыжах...

Он только подумал об этом, как все неожиданно погрузилось в темноту, лишь из вражеского дзота сверкало и непрерывно вырывалось пулеметное пламя, обжигая все живое вокруг огненной смертью. Старик подполз к дзоту совсем близко и бросил в ту сторону, где плясало смертельное пламя, несколько гранат, которые показались ему почти невесомыми, будто они были не настоящими, а деревянными, и гранаты, к изумлению старика, упав рядышком с дзотом, просто плюхнулись в снег и не разорвались. Тогда старик похлопал себя по бокам, пошарил в подсумке и, не найдя больше гранат, огляделся по сторонам. Кругом была кромешная темень, поэтому старик не видел ни родительского домика на пригорке с сиреновой дымкой над крышей, ни залегших на склоне бойцов своего взвода. Но зато он четко различал, как перед ним бешено сверкает огонь из дзота — и тогда старик, поднявшись с земли, бросился на яркое пламя из пулеметного ствола, накрывая его своим телом... И проснулся посреди ночи от собственного крика.

Он тяжело дышал, чувствуя, как учащенно и беспорядочно бьется сердце в сдавленной груди.

— Что случилось, папа?! — услышал он через приоткрытую дверь тревожный голос дочери.

Старик молчал, приходя в себя, а дочь, вслушиваясь в тишину, проговорила:

— Ты живой?!.. Что молчишь, а?!

Старик, отдышавшись, ответил тихим голосом:

— Пока живой...

— Ты чего кричал?!.. Что случилось, па?

— Сон... Просто сон дурной приснился, — произнес старик и чуть погодя добавил: — Все нормально... Не беспокойся — иди спать.

Полоска света медленно уползла вслед за прикрытой дверью, а старик еще долго лежал с раскрытыми глазами и, успокоившись, заснул снова лишь под самое утро.

6.

С постели старик встал, когда в окне засветлело. Дочь ушла на работу, и он, одевшись, отправился в ванную комнату, где неторопливо побрился, вспоминая ночной сон, который не выходил у него из головы.

После завтрака старик надумал продолжить чтение журнала, чтоб как-то отвлечься от назойливых мыслей, которые одолевали его с самого утра. Ему осталось дочитать меньше трети, и он, прежде чем приступить к чтению, развернул закладку из пожелтевшей газетной вырезки, которая прежде не вызывала у него никакого интереса, а сейчас чем-то привлекла. Вырезка из газеты содержала неполный список произведений литературы и искусства, выдвинутых на соискание высокой премии, где среди прочих номинантов значился и автор журнальной повести. Старика этот факт из газетной вырезки не удивил, хотя события той поры вокруг повести он помнил уже смутно, но сейчас он впервые подумал о судьбе автора, как о человеке одного с ним поколения; ему даже стало интересно, как бы повернулась жизнь автора, если бы ему все же присудили ту премию... Но фантазировать и что-то домысливать старику не хотелось, потому он, будто к кому-то обращаясь, произнес:

— Зачем гадать... Что ни делается — все к лучшему.

Прозвучало это без обреченности и грусти. Старик почувствовал некое облегчение после собственных слов, даже взбодрился и, чуточку повеселев, произвольно пропел:

— Он мяса и рыбы не кушал, ходил по аллеям босой!..



И это было все, что осталось у него в памяти от веселой песенки, которую старик знал еще во времена своей молодости. Потом, значительно позже, он несколько раз слышал, как ее напевал сын. Нынче старик подзабыл шутливые слова той песенки, однако помнил, кому она посвящалась.

— Дали — не дали!.. Что сейчас гадать, зачем... — негромко ворчал он. — К другому мудрому старцу шли со всей России... Шли... как к богу!.. А он ушел от всех... Устал!.. От кого и от чего?!.. Вот это вопрос!

Хотя мысли у старика и блуждали, но они все настойчивей, словно ведомые неким внутренним компасом, вели его к газетной закладке с заметкой про героя-однофамильца. К той самой закладке, которую он обнаружил у юного сына в ту далекую ночь в журнале с повестью. И теперь у старика все как-то странно переплеталось с этой повестью — сложные отношения с непутевым сыном, закладки и газетные вырезки, как некие напоминания из прошлого, его собственные раздумья о былом... и этот последний, страшный сон...

«И почему я не выбросил этот журнал с прочим мусором... — с недовольством подумал старик. — И без того тоска, а тут еще повесть эта... Только душу растревожил...»

Когда он нашел журнал в мусоре, к прочтению повести его натолкнули безрадостные размышления о сыне, но сегодня раздосадованный старик решил больше ее не читать. Он отложил журнал в сторону и попытался заняться чем-то другим, но ему это не помогло — прошло полчаса, а мысли о сыне по-прежнему беспокоили его, сегодня еще почему-то и раздражая его. Он все же снова вернулся к чтению, но продолжалось оно недолго, и вскоре старик отправился на прогулку, решив, что так ему будет лучше, и он наконец-то избавится от гнетущих его мыслей.

В это время на кухне стариковской квартиры сидел его сын и, держа в руках зимний ботинок немецкой фирмы, взирал на него с унылым видом. После многолетней носки импортные ботинки смотрелись неплохо — подошвы были крепкими, верх тоже выглядел хорошо, только внутри полностью стерся мех. Гораздо больше проблем было с молниями: на правом ботинке молния окончательно сломалась в самое неподходящее время — зима только началась и самые морозные дни были впереди.

Заграничные ботинки сыну подарил в свое время отец. Они достались старику по талонам, как ветерану войны, в давно минувшую эпоху социалистической системы учета и распределения дефицитных товаров.

Сейчас ботинки нуждались в ремонте, но сын по лени своей посчитал его хлопотным, а для самих ботинок, в силу их древности и почти полного износа, уже и излишним. С этими мыслями он и направился в прихожую — там в небольшом потолочном шкафчике у старика хранилась разная обувь из былых времен.

Среди мужского ассортимента нашлись только зимние башмаки, прозванные в народе «прощай молодость» — это были суконные и грубоватые на вид ботинки на резиновой подошве. Сын повертел их в руках, потом примерил, но после, что-то недовольно бормоча, поставил стариковские башмаки на их прежнее место в шкафчике. «Дохожу зиму в кроссовках — они зимние», — решил он, посчитав, что носить затрапезное старье ему будет неудобно из-за непрезентабельного вида и скользкой подошвы.

— Если не везет, то не везет везде... Даже с ботинками... — с грустью произнес он и задумался в очередной раз о том, когда и где начались у него главные жизненные невезения.

Обычно такие мысли приходили ему в периоды протрезвления между длительными запоями. Запой становился все более продолжительными, а трезвые дни выдавались все реже и реже, но даже тогда, сталкиваясь с насущными бытовыми проблемами, он иногда задумывался о главном источнике своих жизненных невезений. А такой источник, как полагал он, в его жизни должен был быть обязательно! И он все искал и искал в дни просветления точку отсчета своих бед, но так и не мог ее найти...



Он уже не считал причиной своих последующих жизненных неудач обидную и нелепую травму ноги, которая навсегда отлучила его от большого спорта. Беззаботные годы учебы в институте, когда он пристрастился к выпивкам, пьянки вместо перспективной работы на заводе, где ему светила быстрая служебная карьера, и череду невнятных постельных знакомств он к таким источникам не относил. Лишь немного расслабился по жизни, больше ничего — так считал он, почему-то уверовав, что источник его несчастий кроется в чем-то другом. И это *другое* крепко засело в подкорке, порою болезненно воспаляясь, как недосягаемая заноза, как вечный осколок в глубинах его мозга от былого душевного потрясения.

После неудачного поиска замены разваливающимся ботинкам из эпохи канувшего в лету социализма он начал заглядывать во все шкафы и антресоли подряд, пытаясь найти что-то подходящее. Среди ненужных ему вещей он обнаружил залежи соли и спичек и совсем оскудевшие запасы стирального порошка и мыла, как напоминание о прошлом, натолкнув его на мысль, что главной причиной преследующих его жизненных невезений является неудачное начало семейной жизни, длительное проживание с женой в квартире рядом с тещей и тестем и неизбежное при этом общение со всеми их многочисленными родственниками и знакомыми.

«Как все просто! — удивился он своей догадке. — Почти, как у Маркса: бытие определяет сознание...»

— Квартирный вопрос не только столичных жителей портит, но и нас... провинциалов... — не совсем уверенно произнес он и замолчал, будто размышляя, а затем добавил твердо: — Жил бы с молодой женой вдаль от всего этого окружения, ничего последующего и не случилось бы!

Источник бед внезапно обнаружился, однако легче ему не стало.

Сын был все еще прописан у отца, когда через год после свадьбы старик получил новую квартиру — дошла очередь на *расширение*. Расширение это выглядело несколько странным: семья старика взамен двухкомнатной хрущевки получила двухкомнатную квартиру почти такой же площади в новом панельном доме, только с раздельным санузлом и кухней, оказавшейся чуть больше прежней.

И сейчас он полагал, что отец мог бы тогда обеспечить их молодую семью однокомнатной квартирой... или хотя бы получить трехкомнатную, на которую семья старика имела полные права. Ее и разменяли бы, всем бы хватило. Однако не вышло ни то и ни другое, о чем он теперь сожалел, усматривая именно в этом ту самую возможную первопричину всех последующих его бед.

«А ведь была возможность, была, только отец ею не воспользовался. Больно уж честный он, как все лузеры...» — с невеселой иронией подумал он, с неприязнью в голосе сказав вдруг вслух:

— Да он обыкновенный... трус! — будто отец стал ему уже чужим человеком.

7.

Обычно старик гулял по пешеходной улочке, проходящей через весь жилой квартал от одной оживленной дороги, его огибающей, до другой, более спокойной. Улочка с уклоном в сторону спокойной дороги напоминала собой неряшливую женщину неопределенного возраста, поскольку так и не приняла завершенной формы, годной для того, чтобы стать настоящей аллеей.

Как и всегда, здесь было безлюдно, лишь изредка попадались на глаза чьи-то дети или скучающие дамы, выгуливающие своих собак. Иногда встречались парочки молоденьких мам, которые грациозно управляли колясками с детьми, негромко делясь меж собой накопленным материнским опытом.

Обыкновенно он проходил по аллее несколько раз из конца в конец, задерживаясь лишь в одном месте. Отсюда, через прорехи меж унылых фасадов типовых домов, открывался красивый вид на лесистые холмы, уцелевшие от прожорливых го-



родских застройщиков и неприступно застывшие в морозном воздухе, серебристые от снега и инея. За домами просматривались прилегающие к ним склоны, уходящие в низину, где виднелись торчащие заиндевевшие верхушки деревьев. На этих склонах и еще дальше, почти до самой речушки, промерзшей на дне оврага, располагались сохранившиеся в городской черте садово-огородные товарищества. В одном из них находился тот самый садово-огородный участок с дачей, где в последние годы хозяйничала дочь старика, привлекая в помощь то брата, то своего друга; сам старик появлялся там все реже и реже.

В конце прошлого лета их участок посетили садовые воришки. Ничего ценного на даче старика они для себя не нашли, зато сломали двери и опрокинули на землю пустой бак для воды — видимо, от злости.

Так случилось, что в ту пору у сына наступило просветление в жизни, и он по просьбе старика отремонтировал двери на даче и установил на прежнее место бак. С этим бедствием дочь со стариком никогда бы не справились сами. И сейчас, оставившись в конце аллеи, он вспоминал прошлогоднее лето и тот случай с металлическим баком. А вслед за этим стариковская память по какой-то нелепой логике подсунула ему в воспоминания историю с грыжей, которую он заработал при весьма неприятных обстоятельствах...

Тогда тоже был декабрь, и какой-то мальчишка из их подъезда сообщил жене старика о том, что около дома лежит мужчина, похожий на их сына. Старик, спустившись вниз, убедился, что мальчик не ошибся — рядом с лавочкой, неподалеку от подъезда, на снегу лежал мертвецки пьяный сын.

Вечерело, становилось морозно, и старик, оценив свои возможности и обстоятельства случившегося, попытался связаться по телефону со внуком, чтоб тот подсобил ему в этом непростом деле. Однако до внука он не дозвонился, а время бежало, и старик решил действовать один — искать помощи у соседей в этой неприглядной ситуации он постеснялся. Бегающие во дворе мальчишки помогли ему затащить пьяного сына в подъезд, дальше он волок его до четвертого этажа на себе.

Полутемный подъезд, в котором из-за регулярного воровства горела единственная лампочка, казался ему от множества железных дверей глухим и мрачным, но сейчас старик даже радовался окружающему уродству и этой зловещей темноте — они скрывали от жильцов многоквартирного каземата позор сына и его собственные страдания.

Старик все выше и выше тащил по ступенькам совсем беспомощного сына, часто отдыхая, а на последнем лестничном марше ему на помощь пришла больная жена, но после всего этого он потом целую неделю приходил в себя, все-таки заработав в итоге грыжу, которую впоследствии, не мешкая, пришлось удалить.

На следующее утро сын страдал от глубокого похмелья. Пропился он, похоже, вчистую, и старик ворчал:

— Деньги ему, видишь ли, ляжку жгли...

Денег у сына почти не оставалось, но еще хватало сил держать себя в руках — с утра он пил только чай, в обед лечился кефиром, продержавшись так до вечера, когда отправился в ближний магазинчик и купил себе пива на оставшиеся гроши.

Вечером они смотрели телевизор. Шла информационная программа, комментатор рассказывал о главных политических событиях минувшего дня. И в тот момент, когда он заговорил о какой-то непонятной ратификации, сын, оживший после пива, неожиданно присвистнул и сказал с каким-то веселым злорадством:

— Прощай, империя!.. Ту-ту!

— Какая империя?.. Ты чего, сынок?! — удивилась мать.

— А где ты жила, думаешь? — грубовато переспросил он и сверкнул слегка хмельными глазами.

— В стране... — ответила та растеряно.

— В стране... — язвительно повторил он и добавил издевательским голосом: — Ее, считай, тепер уж нет!.. Нет — и все!.. Ту-ту, уехала твоя страна!



Старик все это время молчал, да и жена умолкла, о чем-то задумавшись, сидя на старом стуле, обитом вытертой до блеска кожей, немного сгорбившись, с красноватым от повышенного давления лицом. Вдруг она чуть выпрямилась, повернувшись назад, и наивно спросила не то сына, не то старика:

— И что теперь будет?..

— Что будет, что будет... — снова передразнил ее сын и тут же добавил с тупым удовольствием: — А ничего теперь ни будет!.. Ни-че-го!

Перехватив недоуменный и, как ему показалось, глуповатый материнский взгляд, он вдруг взорвался:

— Что хлопаешь глазами... как сова?!.. Прохлопали твою страну, профукали! Просрали!.. Все! Пора сливать воду!

Мать молчала с подавленным видом, а старик, страдая больше от вчерашних физических мучений, выглядел сонливым и безучастным. Возникла пауза, которую заполнял лишь чужой и бесстрастный голос телевизионного диктора, но и он вскоре умолк — новости закончились, началась реклама. И все, наверное, так и сидели бы, не разговаривая, уткнувшись в мерцающий экран телевизора, если бы жена старика не посмотрела на дремлющего мужа и не произнесла нарочито шутливо:

— Эй, отец, очнись!.. Пойдем спать... совок! Пойдем, милый...

Старик вздрогнул, осмотрелся, неторопливо и кряхтя поднялся с дивана и отправился в спальню за ней следом.

С прогулки старик возвращался мимо школы, после воспоминаний он был задумчив. За углом школы, выскочив на перемену, стояли несколько школьников лет двенадцати. Они, поеживаясь от холода, покуривали — кто тайком, пряча сигарету, а кто и открыто. На старика никто не обратил внимания, да и он, погрузившись в себя, едва разглядел самого бойкого из них, который и не пытался что-то скрывать от постороннего взгляда. Старик, чуть замедлив шаг, сказал ему негромко:

— Зря закурил, сынок!.. Не вырастешь — коротышкой останешься...

Мальчишка, скосив на мгновение совсем не детский взгляд, продолжал с безразличным видом разговаривать со своими приятелями, словно старика с его нравовыми суждениями и не существовало вовсе. А старика, привыкшего за долгую жизнь к человеческой глухоте, равнодушие курящих школяров уже не задевало — он прошел еще с десяток шагов и оглянулся на стайку мальчишек.

«Совсем воробышки, а уж никому не верят... Эх, воробы-воробушки!» — подумал он с горькой тоской.

Старик, не торопясь, побрел по тротуару, иногда останавливаясь и оглядываясь, будто что-то потерял. Напротив торгового центра он заметил на высоком крыльце одиноко стоящего паренька в бейсболке. Для русской зимы заморский головной убор показался ему экзотическим; он присмотрелся к парню и узнал в нем того самого Абая, что повстречался ему в прошлый раз. И совершенно неожиданно для самого себя старик свистнул — вышло у него это, к его собственному удивлению, так ловко и удачно, что Абай обернулся на звонкий свист. Старик помахал ему рукой — Абай заметил его, признал в старике своего нового знакомого и разудался во всю ширину своего скуластого лица:

— Э-э, папаши!.. Шутым!

Старик этих слов не услышал, но, то и дело оборачиваясь, видел, как Абай долго и приветливо махал ему рукой вслед.

Вернувшись домой, старик с аппетитом пообедал — и весь остаток дня его уже ничего не беспокоило.

8.

Настал новый день, и старик, дочитывая журнал, забыл не только про свою обязательную прогулку перед обедом, но и про сам обед, некоторое время находясь в раздумьях под впечатлением от прочтения.



Старик не любил ходить на рынок и не любил торговаться, считая, что его непременно там надуют. Он, как и многие, не желал обманываться или быть обманутым, поэтому старался избегать жизненных ситуаций или обстоятельств, в которых, независимо от его воли и желания, такое могло бы с ним случиться. Но после прочтения повести у старика возникло явственное ощущение, будто его все же обманули...

Нет, врал и обманывал не автор, просто трагичной и бесчеловечной казалась описанная в повести жизнь, и старик понимал, что причастен к ней, этой жизни, и неотделим от нее, как некая маленькая, но живая частица огромного организма. И эта биологическая частичка, хотя и жила своими надеждами и мечтами, но существовала и функционировала в мертвеем теле колосса, которого, как теперь стало понятно, жестоко терзали не только обезумевшие фанатики, пьяные карлики и резвящиеся придурки, наслаждаясь его конвульсиями и затухающими судорогами, но и нормальные, казалось бы, приличные люди.

Эта мысль поразила его, и старик, растревоженный ею, повторял, снова и снова пытаясь добиться ответов от кого-то неведомого:

— Кому верить?.. Кому, спрашивается, верить?!.. Кому?!

Он и раньше не верил красивым лозунгам, звучным призывам, жизнь оценивая не по плакатам наглядной агитации. Нынче старика раздражало изобилие навязчиво звучащих рекламных слоганов, поэтому он уже давно относился к хлестким фразам, звучащим со всех сторон, как к пустой болтовне. Когда-то старик верил отцу, матери, жене, немногим своим друзьям, но все они покинули эту землю, оставив его в одиночестве в этом лживом мире. Сейчас он доверял дочери, и это было взаимное и полное доверие близких людей. С сыном, особенно в последние годы, обстояло все иначе, доверительность в их отношениях исчезла. Испытывая тоску по умершей жене, он часто задумывался, замечая перемены в жизни и нарастающий разлад с сыном. Все свои неурядицы, тяготы других людей и окружающую реальность старик теперь воспринимал не как неизбежность, а как нарушение неразумными людьми какого-то важного процесса, естественного и вечного. Суть этого процесса старик описать не мог, даже не пытался, понимая всю тщетность таких усилий, но в минуты нелегких переживаний всегда возвращался к этой теме в своих размышлениях. Когда становилось муторно на душе, он, успокаивая себя, говорил:

— Наверное, все, кто дожил до старости, через это проходят... Вернее, не все — лишь те, кто дожил... А я дожил... Получается, моя очередь настала.

Старик, переехав к дочери, больше не покидал ту часть города, куда в свое время перебрался с семьей в новую квартиру. Места эти находились вдали от той слободки, где когда-то жил он, его родители, дед с бабкой, а еще раньше — их родители и совсем уж далекие пращуры. Слободка оказалась в центре растущего города, и он постепенно и беспощадно на нее наступал. Уже давно исчезла улица, на которой когда-то стоял родительский дом, в котором старик прожил почти полжизни. Нынче через овраг с речушкой перекинулся мост, по нему пролегла дорога в городские новостройки, а в низину, где ютилась в былые времена родная бревенчатая слободка, долго сваливали шлак со строительным мусором. Потом ее завалили до самых краев песком, щебнем и привозной землей, построив на этом месте современные дома из кирпича и бетона.

Там, на пологом склоне наподобие террасы, когда-то находилось старое слободское кладбище. В те далекие времена погосты за церковными храмами предназначались для посадских, а простых обитателей слободки, которая прилепилась к посаду через низину с оврагами, чаще хоронили на том самом кладбище. Теперь под землей и новыми зданиями скрылось и это кладбище, на котором покоились предки старика.

С тех пор как слободскую низину вместе с древним кладбищем сравняли с землей и застроили, прошло много лет; старик уже не любил там появляться, а если случалось проезжать мимо, то отворачивался и закрывал глаза, чтоб ничего не видеть. В этот момент он представлял себе Землю из космоса, она казалась ему ухоженной и красивой, как самая желанная женщина. Эта картина отвлекала от грустных мыслей — и старик успокаивался.



В этих местах он оказывался обычно перед новым годом или весной. Здесь располагалась организация, где старик трудился до выхода на пенсию и куда он изредка теперь наведывался, без нужды стараясь не заглядывать сюда, чтоб не портить себе настроение.

На прежней работе все еще висела доска трудовой и боевой славы, где было и фото старика. Многих людей, чьи фотографии там висели, уже не было в живых, да и на свое старое фото, где он выглядел молодым и жизнерадостным, ему смотреть не хотелось. Когда старик случайно бросал в ту сторону взгляд, то ему становилось неловко, словно он в чем-то провинился перед теми умершими и перед собой, но не настоящим, а тем, кем он был на том фото из прошлой жизни.

На бывшей работе все кругом говорили про политику, что-то обсуждали и спорили о людях, которые, благодаря телевидению и газетам, становились моментально известными на всю страну. На рабочих местах что-то высчитывали на калькуляторах — месячные и квартальные премии, доходы по депозитам, каким-то акциям и дивидендам, все говорили, говорили об этом, всюду и везде.

— Ничего, ничего!.. Ты не думай — он свои двенадцать премиальных окладов получит, будь спок! — раздавался голос из туалетной кабинки.

— Не забудь и про его тринадцатую зарплату! — вторил ему другой голос по соседству.

«Тринадцатая зарплата — занятно... К чему бы это? — думал старик, слушая такие разговоры. — Число уж больно пакостное — не к добру оно, не к добру!»

Из этих разговоров вроде бы неплохих людей в итоге вышло, будто все они кормили каких-то расплодившихся дармоедов, и от понимания всего этого говорящие казались сейчас старику злыми и мелочными. Со временем ему стало все надоеть, и старик перестал захаживать на свою прежнюю работу.

Пенсию старик получал в сберкассе, а жена — на почте. В ту пору он заходил иногда вместе с женой на ближнюю почту. Почтовые работники, не слишком перегруженные работой, установили телевизор в служебной половине операционного зала, посматривая между делами бразильские сериалы. Зашедший по каким-то делам мужчина однажды вежливо попросил одну молодку, заметно пополневшую, переключить телевизор на трансляцию с очередного съезда.

— Надоели ваши съезды и советы... — недовольно пробормотала та. — Обойдемся без них!

Мужчина возразил ей, ляпнув что-то про мыльные сериалы и трудовую дисциплину.

— Не шуми, не дома! — бесцеремонно ответила ему рыхлая молодуха, зло сверкнув глазами. — И дома не шуми!

Мужчина, крикнув от досады, потоптался на месте, направившись к выходу, а молодуха, словно обидевшись на него, проговорила вдогонку:

— Еще один съезданутый нашелся... жизни учить!

Старик, находясь рядом, слышал и видел эту миловидную, но раздобревшую и грубую женщину, почему-то вспомнив в тот момент о сыне.

Если законная жена развелась с ним из-за его пьянства и распутства, то гражданская жена в первый раз прогнала его из дома как раз в тот момент, когда начали показывать какой-то очередной затяжной телесериал. Правда, уже повееяло новыми временами, так что она выставила его не столько за пьянство, сколько из-за отсутствия у безработного мужа денег.

9.

После развода с женой сын продолжал работать на родном заводе, но на исходе перестройки завод накрыла крутая волна реформ. Поменялось начальство, оно стало теперь выборным. Должность сына сократили; ему, зная его характер и амбиции, предложили новую должность, полагая, что он вряд ли на нее согласится. Так оно и случилось — сын обиделся и, уволившись, начал искать новое место.



Нашел довольно быстро, даже начал трудиться по специальности, однако от пагубных привычек не отказался. А они, в новых экономических условиях, не только плохо влияли на производительность, но и на производственные отношения, и его не слишком продолжительная трудовая деятельность вскоре прервалась по инициативе администрации. Уволился он без скандала и неприятных отметок в трудовой книжке — повезло, что один из директоров оказался его бывшим однокашником по институту.

Но ветер бурных перемен крепчал, и страна, получив в результате шоковой терапии серию ощутимых ударов, находилась в состоянии грогги. Многие заводы и предприятия после этого повалились набок, начались вынужденные простои и задержки зарплат, бартер и прочие экономические «чудеса», которые сказались и на сыне старика. А когда гражданская жена, с которой он нажил дочь, выставила его за порог дома во второй раз, то серая полоса в его жизни стала черной. В его трудовой биографии появилось много разных фирм и фирмочек, где он подолгу не задерживался — что-то не устраивало его, еще чаще он сам не устраивал работодателей своими запоями.

В запой он входил всегда неожиданно, как летчики сваливаются в штопор, и это грехопадение продолжалось подолгу. Однако он еще умудрялся как-то останавливать свое падение, тогда у него наступали периоды мучительного выздоровления и просветления. В один из таких периодов, после отрезвления и очищения организма, подорванного пьянством, и частичного воскрешения угнетенного духа, он устроился на еще не совсем захиревший завод, который, выживая в суровом климате реформ, страдал от текучки кадров. Там он повстречался с женщиной, с которой у него наладились не только производственные отношения.

Ничего вдохновляющего в ней он сначала не заметил, но стал приглядываться, поскольку часто общался по служебным делам. Она не выглядела роковой красавицей, оказавшись обыкновенной разведенкой, проживавшей с совершеннолетней дочерью, почти самостоятельной, и сыном-школьником; но его к ней почему-то тянуло... Он вдруг почувствовал, что встретился с ней неспроста, а с каким-то значительным смыслом, встретился надолго — может быть, навсегда.

На людях его новая пассия выглядела несколько суховатой, говорила мало. Себя она называла — то ли всерьез, то ли шутя — «женщиной с разным образованием, оплачиваемой профессией и гармоничным телосложением», была проста, точна и деловита, как на работе, так и дома. Да и в постели была хороша, там отличаясь, так сказать, грамотным и тактичным поведением, бывая тигрицей, а иногда оказываясь и нежной ланью.

И хотя роль новой пассии в его безалаберной жизни еще окончательно не определилась, но он уже призадумывался, не последняя ли это у него любовь, раз так на нее запал... Радовало его еще и то, что не нужно было волноваться о потайных уголках ее женской души — все в ней представлялось ему прозрачным и понятным, все внушало прочность и основательность... и всего этого ему, по совести говоря, вышедшему из запоев бирюку, пожелавшему наладить свою неустроенную жизнь, хватало с лихвой.

Но вскоре он узнал, что бывший муж разведенной пассии проживает в одной с ней квартире и занимает там отдельную комнату. «И здесь все тот же заклятый квартирный вопрос», — с сожалением думал он, расстроившись, что и тут влип в путанную жизненную ситуацию, пусть и чужую.

Вскоре он стал подмечать какие-то чересчур доверительные отношения своей возлюбленной с пожилым мужчиной — начальником службы охраны и безопасности завода, пенсионером-отставником, и у него стали мелькать ревнивые и злые мысли, уж не тот ли был предыдущим ее хахалем — слишком уж ласково они нынче друг на друга поглядывают... Ревнивые подозрения на этом не закончились, лишь усилившись после пьяных звонков бывшего мужа с дурацкой болтовней и грязными намеками.



«Ситуация!.. Это, выходит, не треугольник, даже не квадрат... а что-то другое, совсем многоугольное... И кто ж тогда я в этой мутной конфигурации?» — злился он сам на себя, не понимая своей роли в столь странной схеме человеческих взаимоотношений.

Пришлось поговорить с подружкой обо всем начистоту, предложив ей перебраться к нему. Старик к тому моменту окончательно переехал к дочери, сделал это, вероятно, не только для себя, но и для сына, надеясь, что так ему будет проще наладить и обустроить свою личную жизнь. Подруга, впрочем, от переезда отказалась, сославшись на то, что ей надо растить и воспитывать малолетнего сына. Тогда он предложил ей перебраться к нему вместе с сыном, но и тут последовал отказ, хотя и менее категоричный. Он настаивать не стал, и они, будто сговорившись, больше не возвращались к этому разговору.

Прошло немного времени, и он освоился в новом для себя месте и в новом качестве, а его пассия, разрываясь между домом, заботами и воспитанием сына, регулярно навещала его в гости, стараясь уделять ему больше времени в постели и вне нее. В одну из горячих ночей она предложила ему совместное дело — надежное, казалось бы, и проверенное, но с криминальным душком. Сразу своего согласия он не дал, взяв паузу на обдумывание. Поразмыслив, все же решился, и уже через месяц, сделав то, что от него требовалось, получил приличный денежный куш.

На этот раз, как когда-то говаривал старик, деньги ляжку не жгли — сын не ринулся их пропивать, решив разобраться в тонкостях уже совершенной деловой операции. Только теперь ему стало понятно, что его просто-напросто развели, посчитав за лоха, воспользовавшись его интересом к новой подружке, чтобы, видимо, пользоваться этим и дальше.

«Пожалуй, эти дела не для меня... — рассудил он. — Если меня до конца не перемололи в прошлой житухе, когда из биатлониста стал никем, то зачем мне сейчас связываться со всяким ворьем... Законы я уважаю... да и, если честно, трусоват — весь в отца...»

Прекрасно понимая, что его просто так не отпустят из сложившегося криминального коллектива, он запаниковал и запутался, не видя никакого просвета, решив разрубить этот порочный узел когда-то привычным для него способом — запоем. Что больше подвинуло его на этот шаг — страх, отчаяние или горькая обида, было не так уж и важно, копаться в себе он не собирался, уверенно свалившись в очередной запойный штопор.

За прогулы его, конечно, уволили с завода, а с пассией он распрощался сам, послав куда подальше; этим та история и закончилась.

10.

Последние дни выдались непогожими. После короткой оттепели с неприятными последствиями в виде гололедицы он не совершал свои пешие прогулки и почти не выходил на улицу. Иногда, чтоб купить хлеб или молочные продукты, старик отправлялся в крохотный магазинчик в том же доме, где проживал.

В доме дочери он никого не знал, поэтому, возвращаясь, никогда не задерживался в тесном и безлюдном дворе. Хотя хмурая зима отступала, а временами даже задиристо выглядывало яркое солнце, серый цвет в природе продолжал преобладать, и безликая жизнь в пустой квартире казалась старику в такие дни особенно унылый. Излить свои самые сокровенные мысли и тревоги после смерти жены было уже некому, он не мог, как это случалось прежде, прикоснуться своей растревоженной душой к близкой и созвучной ему душе, чтоб ощутить ее близость, поделиться с ней печалью и успокоиться. С дочерью, в отличие от сына, старик чувствовал себя комфортно, отношения у них были прекрасные, но он безвозвратно утратил ту невосполнимую духовную связь, какая соединяла их с женой, а найти что-то взамен этому ничего не мог. И в прошлую ночь к нему во сне снова пришла умершая жена...



Она принесла с собой старый стул со спинкой, обитой потертой до блеска кожей, поставила недалеко от кровати, села на него и долгим, неотрывным взглядом посмотрела на старика. Лицо у нее было грустное и усталое, словно она присела рядом с ним после тяжелых трудов. Старик глядывался в молчаливую жену, замечая на утомленном ее лице каждую родную ему черточку и самые неприметные родимые пятнышки. Он видел натруженные руки жены с раздутыми, синими венами, которые она держала на коленях, на темном переднике, и старику становилось ее невыносимо жалко. И от возникшей жалости ему вдруг захотелось взять жену за руки и привлечь к себе. И когда он, приподнимаясь с кровати, попытался это сделать, протянув к ней руки, то все вокруг неожиданно исчезло, и старик, проваливаясь в пустоту, очнулся от сна...

Сновидение явилось на исходе ночи, и старик, уже больше не засыпая, так и пролежал до рассвета с открытыми глазами и сумбурными мыслями. Он слышал, как встала дочь, собираясь на работу, а когда она ушла, выбрался из постели и стал медленно бродить по квартире, будто кого-то искал, пока не зашел в полутемную ванную комнату. Там он умылся холодной водой и, решив не бриться сегодня, отправился на кухню завтракать. Впрочем, ел он вяло, без аппетита, будто выполнял необходимое и тягостное дело.

День, все еще короткий, тянулся для одиноко скучающего старика на удивление долго — он приуныл, лишь немного оживившись, когда с работы вернулась дочь. Вечером, за ужином, внимательно посматривая на отца, она спросила его:

— Пап, ты что, опять зацепился за дверцу шкафа?

— Нет... — ответил он с недоумением.

— Может, где-то ударился сегодня? — продолжала расспрашивать дочь.

— Не цеплялся и не ударялся, — ответил он и спросил, слегка удивившись: —

А что?

— Да у тебя на лбу... не то царапина, не то ссадина... В том же месте, что и в прошлый раз.

— Ссадина? — еще больше удивился старик, на секунду задумался — и вдруг покраснел, будто нашкодивший мальчуган, которого в чем-то уличили.

Дочь, заметив перемену в нем, поспешила успокоить:

— Да ты не волнуйся!.. Там просто царапинка... очень маленькая. Потому ты и не заметил ее.

Краснота медленно схлынула с лица старика, оно вновь посерело, приняв безразличный вид, и разговор перекинулся на разные пустяки.

После ужина старик стал придирчиво разглядывать в ванной комнате свое лицо; царапина, увиденная на лбу, его чем-то озадачила — похожие по очертанию следы у него появлялись на этом месте без всяких причин и раньше, но он никогда не придавал им значения. Сейчас он почему-то огорчился, обнаружив на лбу приметный след, но не хотел расстраивать себя перед сном неприятными мыслями и сомнениями, поэтому гнал их прочь, бормоча себе под нос:

— Бред... Просто бред... Чушь собачья!

На следующий день, прослушав утренний прогноз погоды, старик подошел окну и стал долгим взглядом пристально всматриваться в безупречно голубое и непорочное небо, залитое до краев щедрым солнцем, многозначительно подведя итог своим наблюдениям:

— Помягчело...

Денек выдался хорошим, помех с гололедицей не наблюдалось, и в полдень старик отправился на прогулку.

Во время неспешного променада по своей любимой аллее он встретил незнакомого человека — бородатого мужчину весьма почтенного возраста, которого здесь никогда ранее не встречал. Седобородый незнакомец в причудливой и старомодной шапке и длиннополом китайском пуховике песочного цвета отчетливо напомнил ему кого-то. Он шел медленно, слегка опираясь на дюралюминиевую лыжную пал-



ку, изредка останавливаясь и озираясь по сторонам каким-то потусторонним, но осмысленным взором, словно мудрый пришелец из прошлого. Могучая борода незнакомца свисала ему на грудь, а из-под густых седых бровей, нависших над глубокими глазницами, на мир взирали пытливые глаза.

Когда они сблизились и посмотрели друг на друга, старик по непонятной причине, а может, просто от неожиданности, улыбнулся. Ответной улыбки на лице деда он не увидел — суровый взгляд бородача не оттаял, а пронзительные серо-зеленые глаза лишь расширились от мимолетного удивления.

«Матерый дедок... Матерый... — подумал про него старик не то с издевкой, не то с обидой, тут же удивившись: — Чего это я?.. Будто мальчишка... Да он, наверное, мой ровесник... или чуток старше...»

Старик остановился, наблюдая, как бородач неторопливо удаляется от него вверх по аллее.

«Иван Сусанин!» — промелькнула у него незлобивая мысль, но душа старика почему-то отвергла это сравнение, и через мгновение у него возник другой образ, который ему показался убедительным настолько, что старик, пораженный им, тихо сказал сам себе:

— Лев Николаевич... Ей-богу, как с картинки!.. Точно!.. Матерый человечище!..

И старик представил себе, как этот бородач пойдет дальше, до конца аллеи, потом через рощу, все дальше и дальше, из конца зимы в самый разгар лета, и уже не по асфальту, а по проселочной дороге, среди бесплодных колхозных полей, заросших бурьяном... И там, остановившись, призадумается, горестно вздохнет и скажет:

— Все кругом колхозное, все кругом ничье... — затем окинет своим пронзительным взором пустующие поля, безлюдные и вымершие окрестности... и громко добавит с укором: — Казенщина!

«Вот бы с кем потолковать — с матерым человечищем!.. О нас, просто за жизнь! — рассуждал старик, усмехаясь больше над собой, чем над воображаемой картиной. — Только о чем его спрашивать-то, а?.. Про совнарком, наркомат... про эту, язык сломаешь, парт-сов-хоз-номенклатуру... или социализм с человеческим лицом?.. Да он таких уродливых слов и не слыхивал, жизнь нашу ему не понять...»

Старик, задумываясь, тяжело вздыхал: «Нет!.. Уж лучше спросить о нем самом: зачем, почему и куда он подался на старости лет?.. Может, просто малязм наступил? Чушь!.. Я же не малязматик, а он — глыба, с ним быть такого просто не могло!»

Бородач, похожий на Льва Николаевича, добрал почти до конца аллеи, но в сторону рощи не направился, а свернул наискосок, в ближний двор, и скрылся за домами. Старик же, проводив его взглядом, вдруг, словно на что-то обозлившись, неожиданно подумал про исчезнувшего незнакомца: «А все же... кто он? Может, номенклатурщик? До таких лет дожил... Вместо фронта, небось, плясал в ансамбле НКВД... или на вышке в тулупе приплясывал...»

Старик потоптался с минуту на месте, словно не зная, куда ему идти дальше, и не спеша двинулся обратно, возвратившись домой в растрепанных чувствах, что бывало с ним после прогулок крайне редко.

11.

После обеда старик сидел в кресле и о чем-то размышлял, иногда поглаживая лоб. Его пальцы случайно касались запекшийся царапины — старик при этом вздрагивал, одергивая руку, и мысли у него сбивались. Он начинал смотреть на свои руки, на которых виднелись не только отчетливые шрамы, но и следы, едва различимые на старческой коже, и, вглядываясь в них, пытался что-то вспомнить. На его дряхлеющем теле сохранилось много отпечатков времени, правда, не все события, связанные с ними, оживали в памяти старика. Фронтальные ранения в счет здесь не шли — их невозможно было забыть, а вот остальное — оно поблекло или стерлось навсегда...

Старика привлек один шрам на указательном пальце, приметный лишь своей причудливой изогнутостью, и он попытался воскресить в памяти историю его про-



исхождения. В его памяти всплывали неясные, как обрывки забытого сна, эпизоды пионерского похода по берегу реки. Это были, наверное, самые яркие мгновения школьных каникул, которые он сберег в себе из того уже бесконечно далекого детства. И он вспомнил, как, пробираясь с пионерским отрядом вдоль крутого берега, к которому вплотную подступали густые заросли кустарника, бросил случайный взгляд на речную воду и заметил что-то необычное. Отстав от своих спутников, он продрался сквозь кусты к краю берега, где чуть слышно плескалась речная вода, и увидел там туловище достаточно крупной лошади, лежащей в воде. Набегающие волны легко вздымали и колыхали в речной воде бурую гриву и хвост, лошадиная морда скрылась уже под водой, а вздутый живот и круп лошади, выступающие из реки, облюбовали трупные мухи и слепни. Вид мертвой лошади, такой близкий и немного жутковатый, отпугнул его, не успевшего привыкнуть к смерти, и он поспешил удалиться с этого места. А их отряд вышел из зарослей на открытый берег с песчаной отмелью и устроил привал с обедом. Что они ели в тот день, старик давно забыл, но прекрасно помнил, как они варили на костре кисель в ведре, а потом пили его, обжигаясь, кто из кружек, а кто из стеклянных банок. Старик пил из банки, решив тут же помыть ее, еще горячую от киселя. В холодной речной воде банка лопнула, и острый осколок порезал ему указательный палец. Порез получился кривым, глубоким, поэтому из него быстро хлынула кровь. Никаких бинтов и прочих медицинских средств не оказалось, и он, скинув с себя майку, обмотал ею палец, а затем и всю руку. Палец болезненно ныл, и он еще долго сидел на камне, взирая с тоскливым видом, как радостная ребятня из пионерского отряда шумно резвится в реке...

Старик закрыл глаза и, откинувшись в кресле, попытался задремать, но вдруг резко дернулся, словно очнулся от полусна, хотя еще не успел толком в него погрузиться — после всплывших на поверхность воспоминаний разные мысли, порою самые неожиданные, тревожили его сознание и не давали ему покоя.

— Откуда там взялась дохлая лошадь?.. — спросил он сам себя с недоумением. — Не прискакала же с другого берега!

Было и впрямь странно... Лошадь так запросто попасть в яр не могла — здесь было что-то другое...

Мысль о лошади не выходила у него из головы, но это его не удивляло. Ему, наоборот, казалось странным, что тогда, ребенком, он не пытался понять, как она оказалась на его пути, и старик теперь даже корил себя за это.

«В те времена скот на баржах перевозили... — вспоминал он. — А та лошадь, похоже, заболела... или померла, вот ее и сбросили в реку!.. А может, буйной была, норовистой, сама ломанулась сгоряча в воду... На барже неволю свою почуяла... И такое, наверное, бывало...»

И старик загрустил, представив на миг, как за ненадобностью сбросили ту самую лошадь с огромной баржи, плывущей по бесконечной, как время, реке в безбрежный океан чуть ли не вселенских размеров.

«А может, и меня уже свалили?.. Махнули на меня рукой... — подумал старик, сравнив себя с той лошастью. — И только ли на меня одного... Да что я — я лишь песчинка... Махнули, видно, на всех — вот в чем беда...»

Он посмотрел на указательный палец с чуть различимым и понятным лишь ему одному шрамом, почесал лоб, едва не задев царапину, и медленно произнес:

— А так бы все и забыл... Если бы не боль и не кровь... Чтоб всю правду узнать, получается, надо всех убитых и замученных выслушать — это же немислимое дело!..

За ужином старик разговорился с дочерью и выложил разом все свои впечатления и думки за прошедшие дни — про молодого азиата Абая, с которым познакомился у супермаркета, про матерого бородача, которого повстречал на прогулке, про шрам на указательном пальце и даже про несчастную лошадь. Рассказывал он живо и чуть взволнованно, а дочь с интересом и некоторым удивлением слушала его рассказ. Но когда весь запал у старика иссяк и он умолк, она остудила его, сказав довольно равнодушным тоном:



— И зачем это тебе?.. Не пойму. Меньше помнишь — лучше спишь. А ты — про отложения, окаменелости... Папа, очнись! Мы уже окаменели — жизнь нынче такая!

Старик возражать ей не стал, но, почувствовав холодок, которым сейчас повеяло от дочери, сам себе показался неловким и лишним. После ужина старик с умным видом полистал газету, испытывая в душе от всего этого неприятный осадок, и, чтоб как-то успокоить себя, неожиданно спросил у дочери:

— А где наш старый стул, обитый кожей?.. Давно не вижу — куда он подевался?

Дочь странно взглянула на него, и удивление ее было теперь совсем не тем, с каким она слушала старика за ужином.

— Ты о чем, пап? Что с тобой?!.. Его здесь отродясь не было! — произнесла она, еще пристальнее всматриваясь в него, а затем громко спросила: — Ты что, забыл?!.. Эта рухлядь в твоей квартире осталась!

Старик чуть опешил и, не понимая до конца своей оплошности, ответил повоенному, почти не раздумывая:

— Виноват!.. Промашка вышла, виноват!

Когда дочь отправилась с ночевкой к своему другу, оставив его в одиночестве, старик долго бродил по квартире, ко всему присматриваясь, словно что-то потерял. Лег он вовремя, заснул быстро и спал долго, без всяких сновидений.

Зато дочери старика после романтической ночи со своим возлюбленным снился сон, будто она лежит на акушерском столе, а вокруг нее, как в роддоме, толпится консилиум врачей в каких-то странных халатах — белых, но не медицинских, а маскировочных. Врачи, окружающие дочь, смуглые и серьезные мужчины, кого-то ей напоминали. И она, беззвучно шевеля губами, пересчитывала их по лицам, словно своих знакомых, называя странными именами:

— Муса, Муртаза, Мансур, Махмуд, Мирза, Малгабек...

Потом среди них неожиданно появился широкоскулый смуглый парень с азиатской улыбкой.

— Салам, Гюльчатай!.. Эте я, Абай! — произнес он. — Высе будет якши!.. Папаши нашальник жива, а маторый бабай ушла сама!.. Совист маторый силно мучал... Так мучал, так мучал, что савосем маторый скушал!.. А нашальник папаши жива!

Абай широко улыбнулся дочери старика загадочной восточной улыбкой, подмигнул ей и исчез...

Дочь, проснувшись, что-то пробормотала несвязанно, а затем, беззвучно чертыхнувшись, чтоб не разбудить сердечного друга, пришла к выводу, что ей снился дурацкий сон. Однако днем, вспоминая его, она радостно хмыкала и на лице у нее светилась чудаковатая улыбка.

12.

Сын старика после увольнения за прогулы и расставания с заводской пассией запил настолько, насколько хватило денег, после чего медленно и болезненно начал возвращаться к нормальной жизни. Его последний запой отличался от предыдущих лишь одним, но важным обстоятельством — после разрыва со сладкой, но, как оказалось, коварной тигрицей, к алкогольной депрессии добавился душевный надлом от глубокого разочарования и окончательного крушения веры в прочные отношения с какой-нибудь женщиной в будущем.

Что же касается работы, то устроиться на нее в провинции нынче было делом сложным, да и многие в городе слишком хорошо его знали, а нелестная молва и пестрые записи в трудовой книжке, особенно последние, только усугубляли проблему. По чьему-то совету он отправился на завод, где начиналась его трудовая биография после окончания института.

Родной завод медленно умирал, оживая лишь на время, когда получал весьма скромные государственные заказы и такое же финансирование. Работы там поуба-



вилось, а квалифицированные кадры вымыло нахлынувшим потоком мутных экономических реформ. На заводе ему предложили невысокую должность с весьма скромным окладом, позабыв его прошлые заслуги. Завод теперь напоминал ему не боксера в нокдауне, а боксерскую грушу, набитую чем-то ценным, из которой все что-то выколачивали в меру своих возможностей и испорченности, торопливо и ожесточенно.

Предприятие располагалось в том же районе, что и квартира дочери, где сейчас жил старик. Задержки с выплатой зарплаты на орденоносном заводе все еще продолжались, потому, чтоб хоть как-то поправить свои безрадостные финансовые дела, сын старика заходил иногда в обеденное время к сестре, отведать ее домашней стряпни. Сестру он заставал дома редко, поэтому разогревал обед чаще всего сам старик, но никогда за стол с сыном не садился, а уходил в гостиную и усаживался в кресло, время от времени будто бы ненароком интересуясь жизнью великовозрастного отпрыска.

Сын отвечал вежливо, но без особой охоты и как-то устало, словно выполнял обязательную и изрядно надоевшую процедуру общения с человеком, который ему безразличен. Старик не обижался, понимая, что пьющих окружающие их люди интересуют мало, если вообще интересуют, да и собственная жизнь этих рабов порока, как полагал он, волнует лишь отчасти.

На заводе теперь командовали новые начальники, были другие порядки и уже совсем иная атмосфера. Все это не понравилось сыну сразу — там он чувствовал себя лишним и даже немного униженным, поэтому почти ничего не рассказывал старику о своей работе. А старик, беседуя с неразговорчивым сыном, делал для себя неутешительные выводы: «Кругом у него одни хапки и жлобы... И эти, как их... совки!.. А кто он сам-то?.. Кто?!.. Похоже, кроме гонора ничего у него не осталось. А ведь было, было многое — и куда это все подевалось...»

Сына такие мысли не посещали. Он плохо помнил, что было с ним десять или пятнадцать лет назад — в его короткой памяти задерживались лишь текущие дни. Потом и они, однообразные и бестолковые, сливались в один пустой и безликий день, быстро забываясь. Свою настоящую жизнь, как, впрочем, и будущую, он теперь воспринимал больше размытыми пятнами, без конкретностей, не желая ничего знать о бедности, болезнях и безвестности, пугаясь даже намеков на это. Конечно, в памяти еще теплились воспоминания детства и юности, однако не все они вызывали только радость или светлую грусть...

Он до сих пор помнил, как однажды залез со сверстниками в чужой сад, самый большой и богатый в их округе, где росли лучшие яблоки, груши, сливы и много чего другого. Они же в тот раз позарились на груши. Сад почти не охранялся, лишь на ночь хозяева выпускали здоровенную злую овчарку, оставляя ее, впрочем, на привязи.

Надеясь на безнаказанность, они залезли в сад днем, но были замечены хозяйским сыном, учеником выпускного класса, здоровым и заносчивым парнем, которого побаивались многие местные жители. И мальчишки, застигнутые им, бросились в сторону ближнего забора, который выходил на другую улицу. Забор оказался высоким, перемахнуть его удалось не всем. Неудачником оказался он сам, тогда будущий второклассник. Преодолеть преграду ему сначала помешал чуть приспущенный ремень, а потом он неудачно зацепился за верхушку забора штаниной и повис вниз головой, беспомощно размахивая руками. Ловкий хозяйский сынок стащил его с забора, потом снял злополучные штаны с юного воришки и тут же начал пороть мальчишку его же собственным ремнем. А он, безуспешно пытаясь вырваться из цепких рук здоровяка, слышал лишь возмущенный женский голос, который издали совестил старшеклассника и требовал прекращения порки, но здоровяк ни на что не реагировал и продолжал свое дело.

Размеренные удары ремня обжигали оголенную задницу, но еще больше жгла сына обида за унижительность прилюдного телесного наказания. От стыда он боялся



оторвать от земли свой взгляд, но когда все-таки оглянулся, то заметил сквозь брызжущие слезы за небольшой кучкой зевак человека, похожего на отца. Тот неторопливо прохаживался по мостовой на другой стороне улицы и поглядывал на это зрелище.

Спустя время, чуть успокоившись и вернувшись домой, первым делом он спросил у тетки об отце. От нее он узнал, что отец недавно отправился в поселок, к приятелю по работе, и там задержится до вечера, чтоб встретить мать возле фабрики после ночной смены.

Про случай с поркой сын никому не рассказывал, но случайно подслушал громкий разговор родителей, в котором мать наставляла отца кого-то приструнить, чтоб всякие сопляки, говорила она, не распускали на их кровиночку руки, на что тот отвечал ей чуть раздраженным голосом:

— Мне что, драться с ним надо было, да?!.. И вообще, за проступки отвечать надо!

Так он понял, что отец все видел — и не заступился...

Минуло много лет, в жизни его произошли события более значительные и важные, чем тот случай у забора, но в память он врезался, да так крепко, что никогда уже не забывался.

Дела на заводе, когда-то родном, меж тем шли привычно — ни шатко ни валко, да и сам он, утратив за эти годы профессионализм, потерял к работе не только творческий, но и всякий другой интерес, кроме денежного.

Отношения с детьми от неудавшихся браков тоже не доставляли ему нынче сколько-нибудь ощутимого тепла и радости. Дети вроде бы не сторонились пьющего отца, даже считались с ним иногда, однако встречались с ним все реже и реже и удалялись от него все дальше и дальше, а он замечал эти перемены не сразу, лишь трезвее, когда начинал переосмысливать происходящее вокруг него. «Не срослось... Не срослось, видать, у меня с ними...» — сожалел он в такие минуты, но жизнь свою и привычки менять не собирался, пускаясь в прежние загулы.

Запил он привычным способом — в одиночку. Пил без всяких собутыльников и сомнительных приятелей, находясь все время дома, и выходил лишь до ближнего магазинчика, за едой и водкой, или в аптеку неподалеку, где покупал флаконы с настойками на спирту, ласково называемые *фуфыриками*. Еще не напившись, он начинал разговор со своим единственным и незримым собеседником, что-то бубня себе под нос.

— Сказочник ошибся... Ошибся! — бормотал он. — Солдатик оказался не стойким... И не оловянным.

На его лице появлялась злая усмешка, и он, тихо посмеиваясь, приговаривал:

— А он оказался живым!.. Живым!.. И попал не в переплавку, а в крематорий...

Опьянев, он засыпал — ненадолго или до следующего дня; проснувшись, продолжал пить дальше, не желая страдать от похмелья. В такие дни на него что-то находило, и он совершал необъяснимые и порою отвратительные поступки.

В ту весеннюю ночь он швырял в стену комнаты аптечные флаконы. Флаконы не разбивались и с шумом отлетали от стены. Тогда он взялся за бутылки — и первая же бутылка, брошенная им, разлетелась вдребезги, с красивым звоном. Ему это понравилось, он достал другую, внимательно разглядывая яркую бутылочную наклейку. На ней красовался большой герб с золотистым двуглавым орлом. Пьяный взгляд его стал осмысленным, он произнес вдруг с пьяной жалостью в голосе:

— Никуда эта шизоидная птица не полетит... с этой гламурной короной над безмозглой башкой! — и, помолчав немного, добавил, будто протрезвев, внятным и безжалостным голосом: — У нее одно крыло — жажда халявы, а другое — жажда наживы!.. Па-а-аэтому она обречена!

Бутылка, ударившись о стену, разлетелась на части еще звонче, чем предыдущая. Потом он швырнул еще одну, за ней следующую... Не прошло и минуты, как за



стеной панельного дома с плохой звукоизоляцией раздался озлобленный мужской голос. Мужчина громко ругался, называл точное время и требовал тишины. Крик соседа чем-то позабавил сына старика, он странно заулыбался и прекратил метания бутылок — у него их просто не осталось.

Запой этот оказался самым тяжелым для него — изношенное сердце не выдержало... Из пьяного штопора ему удалось выйти лишь в обнимку со собственной смертью.

13.

Старик спал хорошо, без старческих проблем с засыпанием, жуткими сновидениями и прочими причудами до самой весны, как раз до дня смерти сына. Скорбно-му известно он не удивился, лишь тихо произнес, побледнев:

— Вот и случилось, чего следовало ждать...

Он вышел на балкон и долго и неподвижно там стоял, пока его оттуда не увела дочь — было еще прохладно.

На новое кладбище, которое размещалось за городом на пустующих колхозных угодьях, старика не взяли, даже не сообщив ему о времени похорон — за двое суток он осунулся, у него зашалоило больное сердце, потому его оставили дома под присмотром родственников. Все последующие после похорон поминальные мероприятия тоже проходили без старика — дочь решила, что так будет лучше для него, учитывая состояние его здоровья, да он и сам ни на чем ни настаивал, полностью погрузившись в себя, все происходящее вокруг воспринимая наваждением или дурным сном.

Так прошло несколько месяцев, за которые старик сдал еще больше, уже почти не выходя из дома. Дочь вынуждена была оставить свою работу, поскольку за стариком сейчас требовался более тщательный уход.

Иногда, до обеда или во время него, старик вдруг начинал волноваться и обращался к дочери:

— Доча, доча... Чего это, а?!.. Чего ж он все не идет?... Время уж обеденное, а он все не идет...

Дочь, сначала не понимая его, удивленно спрашивала:

— Кто не идет, па?... Кто?

— Кто? — переспрашивал старик и, на секунду задумавшись, продолжал с обиженным видом: — Кто-кто... Брат твой, сын мой... А ты все спрашиваешь — кто...

Потом дочь привыкла к вопросам отца и невозмутимо отвечала ему, что брат, наверное, надумал обедать в заводской столовой, или говорила старику что-то про дождь и плохую погоду, тогда он успокаивался и все забывал.

Не прошло и года, как умер и старик, не проснувшись в одно солнечное весеннее утро.

На кладбище, прощаясь с отцом, дочь чуть не отшатнулась, когда, целуя высокий стариковский лоб, увидела на нем свежую царापину, похожую на те, что она замечала раньше, при его жизни.

Отца похоронили рядом с сыном, чуть правее, и теперь непутевый сын старика покоился между матерью и отцом. Поминки были скромные и немногочисленные, проходили они в небольшом кафе, в их же квартале. Кафе едва выживало в нынешних условиях за счет редких свадеб, несчастных юбилейных банкетов и более многочисленных поминок, но даже это обстоятельство не спасало заведение от убыточности, его собирались скоро закрыть.

Домой дочь старика вернулась одна и долго сидела в раздумьях. Загадка помертвой царापины на лбу старика не давала ей покоя. Она отлично помнила, что за день до похорон никакой царापины на отцовском лбу она не видела, это обстоятельство ее почему-то задевало и волновало больше всего. Затем она припомнила про-

шлогодние похороны брата — на его лбу тоже виднелось что-то похожее, больше напоминавшее ссадину.

«Тот след, наверное, появился у него от падения... Ведь мы нашли его лежащим на полу, — успокаивала она себя. — Все это надо забыть... Надо все поскорее забыть!»

И когда она, чтобы облегчить душевные страдания, стала искать в прошлом незабываемые и радостные моменты, в ее памяти неожиданно вспыхнул тот яркий майский день, когда, ожидая родителей у подъезда, она играла в «классики» с подружками, а потом из дома вышли мама с папой, молодые, нарядные и красивые. Они взяли ее за руки, и она, держась за их горячие, сильные руки, шла между ними вприпрыжку. А родители, смеясь, иногда вдруг поднимали ее так высоко, что она взметалась вверх словно птица, визжа от радости и даже не подозревая, что это будут ее самые счастливые мгновения жизни...

Усталая, она прилегла на диван и, утомленная печальными хлопотами, быстро заснула. И ей снился сон, будто она звонит по телефону дорогому ей человеку, но вместо голоса своего друга и пустых слов «абонент временно недоступен» слышит какой-то неразборчивый, но пугающий ее ответ. Она быстро собирается, выбегает из подъезда и бежит в сторону пешеходного перехода. Там, не видя перед собой ничего, она бросается вперед, лишь в последний момент замечая, как на нее мчится сверкающий в ночи автомобиль. Столкновение уже неизбежно, от страха она заврожено смотрит на дорогу, а затем неожиданно легко подпрыгивает вверх и плавно летит навстречу этой страшной машине, но в это мгновение чьи-то нежные и крепкие руки подхватывают ее в воздухе, удерживая тело над несущейся смертоносной машиной. А потом, не чувствуя никакого толчка, она опускается на землю и слышит над головой ласковый голос матери:

— Доченька, милая, как ты — не ушиблась?..

Очнувшись, она сначала к чему-то прислушивалась, всматриваясь в полутемную комнату, и лишь затем привстала с дивана. Короткий сон с мучительным видением только усилил ее тягостное состояние, и она, приходя в чувство, еще некоторое время неподвижно сидела на диване, лишь после этого с усталым видом отправившись в ванную комнату, где умылась холодной водой. Поправляя прическу мокрыми руками, она посмотрела на свое отражение в зеркале и заметила в нем что-то необычное. Приблизившись к зеркалу, она вздрогнула от неожиданности: на лбу появилась свежая царапина с запекшейся кровью, почти такая, как и у покойного отца во время похорон. Ей стало не по себе; глубоко вздохнув, она закрыла на несколько секунд глаза. Открыв их снова, она посмотрела в зеркало и обомлела, увидев рядом с собой изможденное и скорбное лицо матери — та стояла позади, чуть правее, и будто всматривалась в их зеркальные отражения. Дочь вскрикнула и резко развернулась, не выпуская из рук края умывальника, но ничего за собой не обнаружила, только услышала, как гулко стучит сердце. Ей стало дурно, но она удержалась от падения, обхватив руками спасительный умывальник и так простояв так некоторое время, медленно и тяжело дыша.

Придя в себя после испуга, все еще возбужденная, она стала звонить своему другу, однако его телефон не отвечал, а вместо знакомого голоса ей что-то отвечал автомат механическим безжизненным тембром. Но она уже ничего не воспринимала — ей чудился в неживом голосе автоответчика, как в недавнем сне, какой-то ужащающий смысл.

Быстро собравшись, она выскочила из дома и устремилась к улице, но не туда, где находился пешеходный переход, а прямо на дорогу, наперекор всему, наперерез, почти обезумев, навстречу несущимся на нее автомобилям, кажется, в этот момент поняв что-то важное, но уже не успевая никому об этом рассказать...

Виктор КИРЮШИН

ДЕРЕВЦЕ НАД ОБРЫВОМ

* * *

На Руси предзимье.
Порыжело
В ожиданьи первого снежка
Вымокшее поле возле Ржева,
Луговина около Торжка.

На венцах колодезного сруба
Смыта влагой летняя пыльца.
Ветрено в дубравах Стародуба,
Изморозь на куполах Ельца.

Киновари досыта и сини,
Тронутой летучим серебром,
В тихой роще около Медыни,
В родниковом озере у Кром.

Как царевна юная, наивна
В небе пышнотелая луна,
А под ней Коломна
И Крапивна,
Нерехта, Кириллов, Балахна...

Примеряют белые одежды
Улочки, бегущие к реке.
Ангелы тревоги и надежды
Неразлучны в каждом городке.

Свят покров над пажитью и пущей.
Шепчут губы: «Господи, спаси!»
Что там обещает день грядущий?
Холодно.
Предзимье на Руси.

ОТТЕПЕЛЬ

К ночи сгущается воздух сырой,
 Вольно и наспех прошитый капелью.
 Пахнет в округе набухшей корой,
 Дымом печным и оттаявшей елью.

Забуксовало зимы колесо —
 Дерзко и весело царствует влага!
 В зыбком тумане
 Почти невесом
 Звук торопливого женского шага.

Снега январского жалко до слез...
 Много ли проку в такой канители,
 Если ненадолго и не всерьез
 В чаще лесной затаились метели.

Их возвращения не тороплю,
 Видимо, свикся с погодой сырою.
 Утром остывшую печь затоплю,
 Стол на двоих, как бывало, накрою.

Красная скатерть, хмельное вино,
 Встречи на миг, остальное — разлука.
 Буду смотреть в зоровое окно,
 Ждать понапрасну условного стука.

Лучше б весь мир занесло, замело,
 Снежная запеленала одежда...
 Необъяснимо такое тепло.
 Необъяснимее только надежда.

* * *

Ночью проснулся от крика,
 Мучило: был он иль нет?
 Лишь перевозданно
 И дико
 Лунный колышется свет.

Свет неземного накала
 В небе, на белой стене.
 Ты ли меня окликала
 Или почудилось мне?

Снова из тьмы законной
 Луч этот вырвал на миг
 Твой беспечальный,
 Иконный,
 Незабываемый лик.

Между былым и грядущим
 Не отыскать рубежа,



В непостижимом и сущем
Вновь заплутала душа.

Чтобы в немислимом свете,
Там, среди звезд и комет,
Мучиться и не ответить:
Были мы в мире иль нет?

АКТЕР

И вот уходит за кулисы
Актер, игравший короля.
Он через час предстанет лысым,
С лицом зануды и враля.

Весьма банален и обычен,
Как всем наскучивший мотив,
А был возвышен
И трагичен,
Судьбу чужую воплотив.

Сидит, хохочет, словно девка,
Король, свою предавший рать...
И где искусство,
Где подделка —
Поди, попробуй разобрать.

* * *

На исходе сентября,
На краю, на переломе
Жизнь иная, и не зря
Тишина такая в доме.

За окошком все грустней,
Все труднее ладить с бытом,
Но минувшее ясней
В этом воздухе промытом.

Дождик лекарем за мной
Ходит в сереньком халате...
Все ошибки
До одной
Вдруг припомнятся некстати.

От рожденья до креста
Что ж носить вериги эти?
Надо с белого листа
Попытаться жить на свете.

Только где вести межу,
Ведь душа всего касалась,
Если тем и дорожу,
Что несостоящим казалось.

Паутины тонкой нить
 Прочит скорую дорогу...
 Ничего не изменить
 В том, что было,
 Слава Богу!

* * *

Полуоткрыты оконные створки:
 В небо впечатана церковь на взгорке.
 Дальше — полоска сутулого бора,
 Ближе — сирени костер у забора.

Мир непридуманный, мир настоящий,
 Ливнем омытый, поющий, летящий.
 Птица, растение, ветка немая
 Празднуют ясную радугу мая.

Долго земля эту силу копила:
 Тянутся ввысь лебеда и крапива,
 Люди, деревья и церковь на взгорке...
 Полуоткрыты оконные створки.

ПУГАЛО

Эта служба отнюдь не бодяга.
 Отовсюду видать за версту:
 Не алкаш, не беспутный бродяга
 В огороде стоит на посту.

Посреди свежеполотых грядок,
 Продуваемый ветром насквозь,
 Образцовый наводит порядок,
 Не надеясь на русский авось.

Ничего, что не сеет, не пашет
 И соломой полна голова.
 Рукавами отчаянно машет,
 Стаю галок завидев едва.

Не утрачены стать и порода,
 Потому предлагаю пари:
 Этот парень не среднего рода,
 Как толковые врут словари.

Он, приличия не соблюдая,
 Смотрит ночью в окно не дыша...
 А хозяйка его молодая
 Удивительно как хороша!

Отчего же в те райские кущи
 Мужики не спешат на постой?
 Он один по округе непьющий
 И единственный тут холостой.



РОДИТЕЛИ

Есть город, улица и дом
В заснеженном саду.
Дверь открывается с трудом,
Но я в нее войду.

Войду, как в молодость свою,
В зеленый дом с крыльцом.
В том полупризрачном краю
Живые мать с отцом.

На склоне сумрачного дня
Присяду к ним за стол.
«Простите, милые, меня
За то, что долго шел.

За вашу вечную печаль —
Тревогу обо мне,
За то, что падал невзначай
По собственной вине.

Грешил и попусту горел,
В аду бывал, в раю,
А вас теплом не обогрел
У жизни на краю.

Готов принять и кнут, и суд,
Ведь оправданий нет...»
Ни слова не произнесут
Родители в ответ.

Гудит-дымится за стеной
Одна из долгих зим...
Как разочтется жизнь со мной,
Уже известно им.

* * *

Вышел небритый, в затертом трико...
Господи, как расставаться легко!
В несовпаденьи судеб и орбит
Нажито два чемодана обид.
Два чемодана несмертных грехов:
Слез и объятий, измен и стихов.
Свалены в кучу любовь и вина.
Этому хламу копейка цена.

Дверь на прощание хлопнет, как плеть.
Не о чем, не о чем в прошлом жалеть!
Только вот в доме другом
У окна
Что-то некстати припомнит она
И затоскует впервые всерьез

О чемоданах объятий и слез.
 Несовпаденьях и муке разлук,
 Пламени истосковавшихся рук.
 Как это отдано было легко!
 ...Вышел небритый, в затертом трико.

* * *

Боярышник вырос на склоне холма,
 В краю, где привычны тюрьма да сума —
 Подруги лихие.
 Вцепился корнями в угрюмый песок,
 Под снегом не сгинул,
 В жару не засох,
 Назло всем стихиям.

Метели мели и рыдали дожди.
 Он птиц согрел у себя на груди,
 Делился плодами.
 Прохожий порой отдыхал у куста
 И клял безнадежные эти места,
 Отъехав подале.

— Боярышник, горе познавший сполна,
 Зачем ты бросаешь свои семена
 Для муки и буден?
 — Затем, что любовь долговечнее бед,
 Больней поражений
 И слаще побед.
 Так было и будет!

ВОЛК

Ни петуха,
 Ни человеческой речи.
 В округе всей погашены огни.
 Дома пусты,
 А там, где топят печи,
 Две-три старухи коротают дни.

Вожак умен и даже пулей мечен,
 Уводит стаю снежной целиной...
 В деревне ныне поживиться нечем
 И волк ее обходит
 Стороной.

* * *

Какая долгая зима!
 Луны лучина...
 Давно я понял:
 Свет и тьма
 Неразлучимы.

Не зря струится белый снег
Из мглы кромешной,
Когда бредет,
Не видя вех,
В метели пеший.

Да я и сам блуждал в ночи,
Ведомый роком,
Пока не вымолил свечи
В окне далеком.

Среди бесчисленных огней
Живется проще,
А я с тех пор иду за ней
Почти на ощупь.

Дорога к истине крива,
Черно над нею.
Свеча горит едва-едва,
Но с ней виднее.

ДОРОГА

А путь туда нескладный да безрельсовый:
Беда, коль дождь нагрянет проливной!
Старается, пыхтит автобус рейсовый,
Качаясь, будто пьяница в пивной.

Намаешься, но к пункту назначения
Особо торопиться не с руки,
Пока несет, баюкает течение
День ото дня мелеющей реки.

Пусть на удачу грех уже надеяться,
Когда минуешь самый дальний плес,
Но над обрывом вспыхнувшее деревце
Вдруг отчего-то станет жаль до слез.

Ах, жизнь моя, полова да окалина,
Небесконечных дней веретено...
Вот деревце — от века неприкаянно,
Вот я стою,
Такой же, как оно.

Дмитрий ШЛЯПЕНТОХ

КОНЕЦ ИСТОРИИ: БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ИОВ

П о в е с т ь *

Утром он проснулся довольно поздно, позже всех остальных. Некоторые из учеников жевали оставшийся хлеб, другие, расстелив плащ, по-кошачьи жмурясь, подставляли свои животы еще нежаркому утреннему солнцу. Иешуа ходил между ними, разминая затекшие ноги. Петр подумал, что встал слишком поздно и что Иешуа уже успел сообщить другим не только ту великую истину, которую изрек ночью, но и многое, многое другое. Он придвинулся к одному из учеников и спросил, не учил ли сегодня чему-то новому учитель, узнав, что Иешуа сегодня проснулся рано и говорил много, будучи оскорбленным теми людьми, которых он учил на рыночной площади. Учитель говорил, что он вложил столько сил, искренне желая образумить их, забывших о боге и истинном благочестии, но не получил ни куска хлеба, ни никчемной медной монетки. Но особенно, конечно, он был зол на того толстого книжника, который отбил у него слушателей и хлеб. Иешуа говорил, что этот фарисей и без того не знает нужды, и ежели он желал получить у народа еще что-нибудь, то мог бы найти другое место, а не отбивать хлеб у соперника. Когда Иешуа произносил имя книжника, то в ярости плевал на землю. Ученик с редкой, но длинной, развевающейся по ветру бороденкой и с синими мешками под глазами сказал Петру, что он понимает Иешуа и его ненависть к этим преуспевающим фарисеям — многие из них счастливицы, живущие при храме и не знающие нужды ни в чем. Тогда Петр придвинулся к нему поближе и сказал тихо, но внятно:

— А я говорю вам — любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас. . .

Петр думал, что собеседник схватит его за руку, изумится простоте и мудрости сказанного, захочет узнать, кто поведал ему эту истину. . . но не нашел в его глазах ничего, кроме равнодушия.

— Это сказал учитель. — Петр сам взял его за руку, чтобы привлечь внимание; он все еще полагал, что его собеседник просто не понимает значения этих слов. Но тот был абсолютно спокоен. Он даже слегка отодвинулся от Петра и, подобрав с земли травинку, стал ковыряться в зубах. Сплюнув на землю, он сказал что-то, сонно позевывая и продолжая тыкать соломинкой между зубами, затем встал и, распрямившись, стал смотреть куда-то вдаль на красные холмы пустыни и темно-зеленое пятно пальмовой рощи.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2013, № 7.



— Учитель говорит многое, — Петру при этом показалось, что снисходительная улыбка промелькнула на его губах, — и все разное... Про любовь к врагам не слышал. А то, что принес не мир, а меч — это да. Так оно и должно быть. Разным людям — разные блюда. По правде сказать, не вижу я здесь ничего мудрого, потому что и младенцу ясно, что любить врагов невозможно, но если ты и вправду думаешь, что эта мысль чего-то стоит, то пойдй к Матвею — он все записывает.

Матвей был одним из немногих, кто знал грамоту. Он всегда ходил около Иешуа и ловил каждое его слово, а затем, сев на камень, с явным наслаждением писал что-то на восковых табличках, которые он где-то добывал — наверное, там, где плохо лежало. Исписанные таблички он складывал в перекинутую через плечо сумку, с которой никогда не расставался. Он говорил также, что у него есть несколько друзей, живущих недалеко от Иерусалима, тоже весьма интересующихся мыслями Иешуа. Поскольку они не могли или не хотели странствовать вместе с ним, то обращались к его записям, которыми он щедро делился. Слушая Петра, Матвей поднял, слегка наклонив, свою сморщенную маленькую головку, почесал шелушащуюся и покрытую острыми маленькими рыженькими волосиками пятнистую веснушчатую лысину (его рука также была покрыта коричневыми пятнами и пышной жирной растительностью) и сказал, что сообщенное Петром весьма интересно. Это действительно великая истина, как, впрочем, и все, что говорит Иешуа, так что он немедленно все это запишет для потомства. С этими словами Матвей вытащил из сумки восковую табличку и стал что-то быстро выцарапывать на ней. Через некоторое время он встал и, откидывая со лба несуществующую прядь волос, начал взвизгивать, достаточно точно при этом подражая Иешуа:

— Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста свои, учил их, говоря — блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь; ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Сказав это, Матвей обвел глазами несуществующую и притихшую в ожидании откровения толпу, слегка склонив голову, будто прислушиваясь к собственным словам. Петр хотел прервать его и сказать, что ничего подобного Иешуа не говорил, что даже голос его той ночью был другим. Но Матвей, не говоря ни слова, сделал величественный жест рукой — показывая, что понимает нетерпение Петра, его желание задать вопросы, но он должен докончить речь. Затем он взвизгнул тонким злым бабьим фальцетом, высоко взвизгивая к синему небу:

— Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее солевой? — Глаза его налились багровыми гнойниками; красные в лучах подымающегося солнца руки были обращены к неведомым слушателям; морщинистое лицо разгладилось и стало почти правильным, властная ироническая улыбка заиграла на губах. Казалось, что он смеется над визгливостью собственного голоса. — Она уже ни к чему не пригодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. — Петр смотрел на него, красного, будто ставшего в несколько раз больше, стоящего на красном холме среди других красных холмов, и сказал себе, что такой человек действительно должен быть замечен. — Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит она всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы видели они ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного.

В конце фразы голос с бабского взвизгивания перешел совершенно неожиданно в густой сочный бас. Петр почувствовал, что начинает все внимательней вслушиваться в то, что говорит Матвей, и признавать власть его голоса.

— Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, — продолжал между тем Матвей, чеканя каждое слово. — Петр представлял теперь сидящую полукругом тысячную толпу и то, как легко эту толпу призвать бить лавки или идти на римские казармы. — Не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам:

доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все.

Матвей, тяжело дыша, неожиданно закончил и, сняв с пояса кожаную флягу, стал жадно пить. Пристегнув флягу обратно и отерев тыльной стороной ладони рот, он сказал Петру, что, конечно, вредно так много пить, ибо он сильно потеет. Еще он зачем-то заверил Петра, что его абсолютно не волнует, что о нем думают другие. По его словам, от всех воняет предостаточно, ибо в компании никто не мылся, в отличие от него самого. Кроме того, сам учитель любит нажираться чесноком, так что от него иногда так несет, что и подойти невозможно, хотя он-то, Матвей, как раз чесночный запах любит.

— Вообще, — Матвей стал говорить доверительно, деловито и быстро; он как-то сразу стал мельче, сморщился, затравленные испуганные огоньки блеснули в глазах, — запахах — вещь серьезная.

Учитель между тем продолжал дремать, тихо похрапывая; несколько человек, уже проснувшихся, лежали на спине, жмурясь на солнце и явно не желая подниматься; двое торопливо побежали в сторону и, подняв рубахи, сев на корточки, стали оправляться напряженно и сумрачно, будто думая о чем-то важном. Матвей между тем продолжал объяснять Петру, что никто не моется. Его, Матвея, совершенно не смущают запахи, он согласен с тем, что не следует мыться слишком часто и тщательно, ибо так поступают лишь фарисеи и лицемеры, скрывающие за телесной чистотой своей душу смрадную и гадкую — но грязь привлекает вшей. Тьма насекомых, по его словам, резвится на учителе и учениках. И естественно, что они не оставляют и его, Матвея. Учитель и прочие, быть может, нечувствительны к их укусам, но ему они причиняют страшные муки. Он уже несколько раз говорил с учителем по этому поводу, предлагая им мыться хотя бы раз в месяц, но безрезультатно.

Затем он пожал Петру руку и сказал, что тот очень помог ему, натолкнув на мысль написать какую-нибудь прочувствованную речь, которая будет пользоваться большим успехом. Потирая руки и почесывая лысину, он добавил, что начал он речь свою слишком вызывающе и даже воинственно, а это может возбудить толпу; если она войдет в раж и начнет громить лавки или же, упаси бог, нападет на римский отряд, то не избежать им неприятностей, больших неприятностей. Римляне шутить не любят, они уважают закон; закон здесь определен и никаких толкований не терпит, и всякий подстрекатель должен с неизбежностью оказаться на кресте. Надо быть осторожным, а Иешуа иногда в своем актерском рвении забывается, что и произошло совсем недавно. Он уже явственно видел, как войска оцепили площадь, и кончиться все могло весьма скверно. Матвей клялся, что он и об этом говорил с Иешуа, указывая, что лучше уж вонять чесноком и быть отданным на съедение блохам, чем болтаться на кресте. Но, увы, безрезультатно.

Он продолжал говорить, быстро кружась вокруг и часто потирая ладони, затем щелкнул пальцами, словно фокусник, желающий привлечь внимание толпы, тем самым показывая, что необходимые мысли и слова им найдены.

— Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю...

Голос Матвея теперь не взвизгивал и не гремел как прежде, но нежно ворковал; неземная кротость была на его лице, а рот был одной большой улыбкой.

— Блаженны алчущие и жаждущие правды, — с этими словами Матвей сложил губы трубочкой и чмокнул, как бы вкушая сладость правды, — ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут...

Матвей закатил глаза, дрожь прошла по его телу; затем он выпрямился и смелым открытым взглядом обвел воображаемую толпу. И Петр почувствовал, как эта воображаемая толпа замерла и притихла, как сразу пропал ее воинственный злой пыл.

— Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят...

Матвей почти пропел фразу, и неземная, блаженная улыбка появилась на его лице; губы его слегка подергивались, и он нараспев закончил:

— Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.

Фраза прервалась быстро, неожиданно; Матвей соскочил с камня и мгновенно потух, уменьшился и сморщился, и черты лица его деформировались. Он опять отстегнул с пояса кожаный мех и стал жадно пить, вода лилась ему на лицо и хитон. Затем он полил немного воды на лысину, по-собачьи фыркнув, и подсел к Петру, продолжая их разговор.

— Это будет хорошая речь, — говорил он. — Она не должна возбуждать у слушателей никаких воинственных чувств и не причинит никаких неприятностей ни ему, ни учителю, но она должна вызвать у слушателей ощущение своей избранности и исключительности. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? — повторяя это, он выразительно причмокнул и умильно сложил губы трубочкой, как бы наслаждаясь прелестью сказанной фразы. — В этом-то и есть соль учения, в этом залог того, что из его предприятия выйдет нечто грандиозное, необычайно прибыльное для учеников.

От собственных слов Матвей чрезвычайно возбудился и стал быстро вращаться вокруг камня, на котором сидел Петр, семеня ногами и нервно почесывая лысину. Лицо покраснелось, но не только оно — Петру показалось, что губы Матвея тоже налились сочным пунцовым цветом, распухли и слегка приоткрылись; глаза его то загорались в предчувствии какого-то наслаждения, то закатывались так, что видны были желтые, покрытые красными прожилками белки; мех сполз на живот и болтался сморщенным огромным лошадиным фалом.

Конечно, продолжал Матвей, Петр еще совсем недавно стал членом их группы, потому, наверное, мало что понимает. Естественно, что он не верит в то, что из этого предприятия выйдет что-то путное. Но он, Матвей, не таков, у него коммерческий нюх, он знает, что вовсе не зря теряет время с Иешуа. Суть учения Иешуа в том, что он ставит во главу угла неудачников, а их — большинство!

Матвей сел рядом с Петром. На губах его играла ироническая и даже, как его собеседнику показалось, злая улыбка, от которой тому стало неловко и боязно, и он понял, что больше не будет пытаться разяснять значение тех слов учителя.

— Учение Иешуа, хотя, собственно, оно и не его — я, только я сочинял ему все его речи... и не думаю, что сам он понимал их — должно быть любимо нашим народом.

Матвей быстро захихикал быстрым частым смешком, словно найдя в этой фразе нечто очень смешное и неприличное.

— Никто, — продолжал он, — не знает еврея лучше, чем сам еврей, никто не видит ничтожества его больше, чем обрезанный брат его. Ежели посмотреть на историю евреев, — Матвей продолжал улыбаться, играя своей улыбкой как драгоценным камнем в перстне, — то нельзя найти в ней ничего, достойного славы и памяти людской. Все деяния евреев были приметны лишь для них самих. Если верить Книге, то Иосиф спас египтян от неминуемой смерти, и благодарность ему не должна была иметь границ. Но ни в одной из египетских надписей ничего о подвиге Иосифа не сказано; нет ничего и об Исходе... На одной плите, правда, как говорят люди знающие, было упоминание о том, что Рамзес разгромил полностью племя израильтов — и это все, иных свидетельств нет! Царство Давида и Соломона меньше, чем одна римская провинция, а храм, даже второй, нынешний, каменный, далеко уступает пирамидам. Книга же, которую мы почитаем великой и мудрой, списана с других книг, написанных другими народами. Книга Иова, быть может, мудрейшая из всех книг, явно была списана у других народов, ибо нет, например, в Израиле, земли Уц. А то, что создано евреями, во многом уступает книгам греков — и нет у евреев ни Платона, Аристотеля, ни Диогена или Зенона. Могло бы, думаю, из нас что-то получиться, могли бы мы стать... если уж не первым, то хотя бы заметным народом, если бы, например, народ наш был добр. Добро, — заметил Матвей, — это очень редкое качество; злых и великих народов было превеликое множество, а вот народов добрых — не сыскать. Собственно, и людей-то добрых не так уж и много. Так что могли

иудеи добротой своей и прославиться, не истреблять разбитого, потрепанного, совершенно беспомощного врага. И если бы случилось это, нет сомнения, прославились бы они, и стекались бы в Иудею народы учиться великой мудрости доброты. Но нет ничего этого в истории иудейской. . . — И Матвей продолжал говорить, говорить четко и звонко: — В то же время, возвратившись, Иисус взял Асор и царя его убил мечом (Асор же прежде был главою всех царств сих). . . И побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господен. . . Впрочем, — Матвей выразительно поднял палец, предлагая Петру обратить внимание на эту фразу, как необычайно важную; в это время он уже стоял перед Петром, слегка наклонившись и глядя ему с усмешкой в лицо, — все города, лежавшие не возвышении, жгли израильтяне. А добычу городов сих и скот разграбили сыны Израилевы себе; людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставив ни единой души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал: не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь.

В то время, когда Матвей говорил все это, никто не обращал на него никакого внимания, каждый занимался своими делами.

Матвей между тем вздохнул и, переведя дыхание, продолжил звонко и четко говорить. Петру уже не хотелось слушать Матвея, но какая-то сила приковала его к камню, не давая подняться. Он смутно понимал, что нужно возразить Матвею, но возразить было нечем, и он чувствовал себя абсолютно беззащитным перед собеседником, а тот понимал это и явно наслаждался своей властью.

— Избивали Иудеи всех врагов своих, побивая мечами, умертвляя и истребляя; и поступали с неприятелями своими по своей воле. . . В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили пятьсот человек; и Паршандафу, и Дальфона, и Асфифу, и Порафу, и Адалью, и Арилафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваезафу — десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, — здесь Матвей снова поднял палец, обращая внимание Петра на конец фразы, — а на грабеж не простерли руки своей. — Матвей снова быстро, часто захихикал и стал радостно притоптывать. — И сказала Эсфирь: если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей новых пусть бы повесили бы на дереве. И приказал царь сделать так; и дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей повесили. . . И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих; и умертвили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в тридцатый день месяца Адара; а в четырнадцатый день сего же месяца успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. . . Да в чем же отличие Мардохея от Амана? В том лишь, что Марходей стал Аманом, а Аман Марходеем, — сказал Матвей, не переводя дух. — Ведь все преступление сыновей Амана было лишь в том, что были они сыновьями Амана. Великий царь, народ и бог прощают, ибо гнев уравнивает его с рабом. Но говорю тебе, что ничего не выйдет из народа нашего не потому, что народ наш, когда в силе, не уступает по любви к крови другим народам, а ежели не больше, то не от доброты, не потому что ужасается от вида крови, а по причине иной — народ наш слаб и мал. А посему — убили от силы сто тысяч, а не сто мириад, захватили страну, что можно проскакать на быстром коне за день, а не державу персов, греков или римлян. Все наши злодейства ничтожно жалки, — Матфей нагнул, и остановившиеся застывшие зрачки посмотрели прямо на Петра так, что холодная судорога пробежала по его спине, и он сделал усилие, чтобы инстинктивно не отодвинуться от Матвея, — и бог наш — не истинный бог и владыка мира, а лишь бог маленького жалкого народца.

— А есть ли бог? — спросил Петр и испугался собственных слов.

— Барух Адоной! — Матвей стал быстро произносить слова и заклинания, которые произносят при отпевании умершего. В такт причитаниям он продолжал рас-

качиваться, но с высоты птичьего полета этого раскачивания не было видно, оттуда открывалась лишь красная пустыня.

— Так есть бог? — Петр всем телом подался к Матвею, но тот не отвечал ему, прекратив свои раскачивания и остановившимися зрачками всматриваясь туда, где розовые холмы новорожденным телом плавно уходили за горизонт.

— Конечно, да, — ответил не то возмущенно, не то удивленно Матвей, пожав плечами. Он был твердо уверен, что без бога мир с неизбежностью должен был бы распасться на составные элементы, не возникнув вовсе, и этого разговора с Петром тоже не было бы.

Петр посмотрел Матвею в глаза, чтобы понять, говорит он серьезно или шутит. Вера светилась в глазах Матвея холодным алмазным блеском, и сам он сейчас где-то на необозримой высоте, с которой пророки смотрят на землю и ее людей.

— Народ наш ничтожен и жалок, но разве только он один на этой земле? Но не это отличает наш народ от всех неудачников. Только еврей видит в череде поражений и унижений (а где наши победы? В резне ли врагов наших под охраной персов? В победе над халдеями, разбитых теми же персами?) свидетельство своей избранности. И в этом-то и есть залог того, что учение Иешуа будет им принято... Тогда-то и наши дела пойдут в гору.

Матвей сел на камень, обнял Петра и блаженно закрыл глаза, предвкушая будущее торжество.

— Мы победим их, изгоним начисто этих книжников, фарисеев и лицемеров. Мы предложим всем вместо их книг и тысячи правил простой, всем доступный путь к спасению, к вечному блаженству после смерти. Для этого не нужно будет перетруждать свою память наукой или тратить время на молитвы, достаточно будет лишь быть битым и жалким (а этого добра у всех найдется) и верить в Иешуа. Все просто. Ну и конечно, нужно будет жертвовать, немного и постоянно. Поверь мне, не пройдет и нескольких лет, как я стану первосвященником нового учения.

— А почему не Иешуа? — спросил Петр, позабыв о ночной проповеди того.

— Иешуа не может, — категорически сказал Матвей. — Это не дело Иешуа — быть первосвященником. Он будет... — Матвей запнулся, но затем глаза его зло сверкнули, и он окончил: — Он будет богом!

— Богом? — спросил ничего не понимающий Петр. — А он знает, что будет... богом?

— Конечно, нет. Но ты не говори ему, никому не говори. Он, хоть и ненормальный, но еврей, и такая мысль никогда не придет ему в голову... а если ты будешь говорить, что он бог, то нас побьют камнями. Считаю, что я пошутил.

— А о том, что ты будешь первосвященником?..

— Об этом тоже не нужно говорить! — глаза Матвея снова злобно сверкнули, и холодный озноб пробежал по спине у Петра.

— А когда появятся у меня сторонники, тогда-то и начнется настоящее дело, — сказал Матвей с чувством радостного предвкушения предстоящего блаженства.

— И тогда мы ударим по этим необрезанным собакам-римлянам, — радостно подхватил Петр. — Ты и Иешуа можете прекрасно говорить, и вам ничего не будет стоить поднять людей.

— Ах, друг мой, — заметил Матвей с иронической, но не злой улыбкой, — ты все бредишь чем-то великим — бунтами и восстаниями, царствами и, быть может, мировым владычеством. Ты молод, ты забыл о том, что я тебе уже говорил — мы маленький провинциальный народ, и все, что бы мы ни делали, будет мелким, провинциальным, будь то добро или зло. Поэтому-то и желания у меня скромные — я хочу мягкой постели и спокойной жизни, и пусть римляне стремятся к мировому владычеству — это дело римлян.

— А потом? — Петр не поверил, что все предприятие Матвея должно закончиться мягкой постелью.



— Потом? — Матвей немного задумался, а затем признался: — Потом как у всех — смерть. Я не скажу тебе, чтобы эта мысль была слишком оригинальна, и я бы никогда не стал говорить с тобой об этом — ты, я вижу, неглупый малый, мне не хотелось бы обсуждать с тобой общеизвестные истины. Я отвечаю тебе лишь потому, что ты все пытаешь меня про «потом»... Потом будет ничто, для всех — для римлян, для меня и для тебя (я понимаю, что это всего обидней, когда ты не исключен из общего правила), и для Иешуа. Высшее благо жизни — наслаждение. Не нужно особенно углубляться в Эпикура, чтобы понять это. А высшее благо для меня — спокойствие и независимость, потому-то я и начал все эти игры с Иешуа.

Матвей встал с камня, давая понять, что разговор закончен. Между тем все ученики Иешуа встали, пробудился и он, и все стали медленно сходить с холма.

Вечером следующего дня Петр снова вспомнил ночную притчу Иешуа и свой утренний разговор с Матвеем — и ему не хотелось верить услышанному...

Группа вместе с Иешуа продолжала странствовать по Иудее. Подношения жителей были все более и более редкими, так что ученикам приходилось голодать. Они почти не ели мяса, иногда им удавалось изловить какого-нибудь зверька пустыни, и его жарили прямо в шкуре на углях — это считалось большим лакомством. Иногда получалось убить бродячую собаку или шакала. Это был день пиршества, тогда мяса хватало на всех. Но эти дни были весьма редки, и голод постоянно преследовал группу. Следствием этого были частые ссоры, переходившие в форменные драки. Петр хорошо помнил одну из них. Двое учеников вцепились друг в друга, никакие увещевания уже не помогали. Матвеем, как самому сильному, пришлось вмешаться. Он не утруждал себя разбором того, кто прав, а кто виноват, и решил бить обоих суковатой дубинкой. Первый удар, недостаточно сильный, не охладил пыл дерущихся, и они продолжили возиться в песке. Матвей ударил сильнее, и клубок распался. Драчуны прекратили драку и встали, пошатываясь. Один жалобно скулил, сосал палец и куда-то пятился. По лицу другого шли багровые полосы, его выпученные зрачки налились кровью и смотрели прямо перед собой, туника была порвана и обнажала мускулистый крепкий живот и курчавящийся пах. Сильные мускулистые руки с рельефными мышцами были разведены в стороны, он будто пытался ухватиться за кого-нибудь, чтобы не упасть. Глухое и нечеловеческое рычание вырывалось из его груди. Он продолжал шататься, злая сила волнами исходила от него. Все, в том числе и Иешуа, попятнулись, но Матвей продолжал стоять, сжимая в своей руке дубинку; затем он сделал несколько шагов, попытавшись нанести удар своей дубинкой, но промахнулся. Его противник быстро схватил большой ребристый камень и, зарывчав, кинулся на Матвея, но Матвей опередил его, и камень выпал из рук противника. Матвей ударил драчуна по голове, а затем отошел в сторону, выжидая. Сначала казалось, удар не произвел на его противника никакого эффекта, тот продолжал стоять, слабо покачиваясь, но затем рухнул на землю. Его тут же окружили ученики и стали лить на него воду, он в ответ лишь слабо рычал. К удивлению Петра, через несколько часов ученик, избитый Матвеем, как ни в чем не бывало шел по дороге вместе со всеми, не испытывая видимой ненависти ни к Матвеем, ни к своему бывшему противнику — последний, правда, продолжал скулить, поглаживая палец, любовно обернутый в грязную тряпицу. Вечером у костра Матвей сказал Петру, что подобного рода стычки — явление обычное, обращать на них внимание не следует. Поводы для ссоры, продолжал Матвей, размешивая кашу в булькающем котелке, обычно самые пустячные. Сегодняшний конфликт, например, произошел из-за милостыни. Сумма была пустячная, и он, Матвей, никогда бы не стал мараться из-за пары зеленых медяков, но один из драчунов — тот самый, что скулит со своим пальцем — ужасный скряга, ради денег он готов удавиться. Матвей тут же добавил, что он и сам любит деньги, но понимает, что собиранием медяков жизнь свою не изменит. Иешуа же, по словам Матвея, относится ко всем этим дракам достаточно спокойно, он даже, может быть,

способствует этой вражде. Но эта вражда ни к чему серьезному не приведет, никто не уйдет от Иешуа, потому что деваться им просто некуда...

Петр не хотел верить Матвею, что все сказанное Иешуа было лишь игрой; что люди, собравшиеся вокруг учителя, были отбросами общества; что они пришли сюда, давно забыв свое ремесло и опустившись так, что уже не могли и не хотели заниматься никаким трудом, потому что им просто некуда было идти. Они собрались вокруг учителя подобно тому, как грудятся вместе животные в пустыне, чтобы согреть друг друга теплом. Он не хотел верить в то, что нет никакого воскресения, что сам Иешуа вовсе не живет так, как он проповедовал в ту памятную ночь. Но чем больше проходило времени, тем больше убеждался Петр в том, что Матвей был прав, и между словами и делами Иешуа была пропасть. Слова любви, которые он произнес той ночью, больше не повторялись им. Не говорил он ничего и о бессмертии, но все более о том, какой он великий пророк и какие чудеса может совершать. Петр видел, что ему, как и его ученикам, нужна была вовсе не мудрость и праведность, а мелкая слава и такая же лесть; часто и того меньше: им нужен был кусок хлеба, сухая рыба, прокисшее дешевое вино и немного сена в амбаре, чтобы переждать холодный, пронизывающий зимний ветер и мокрый злой снег, быстро тающий на крыше. Тогда они становились добрей, только тогда начиная вспоминать о боге, но разговоры эти скоро надоедали им, они снова переходили к тому, где достать кусок хлеба и как поделить милостыню. Матвей почти никогда не принимал участия в этих спорах и, забравшись в угол, спал, накрывшись с головой плащом.

Не говорил ничего и Иешуа. Он так же, как и Матвей, подбитой, волочащей крыло птицей полз куда-нибудь в самый дальний угол амбара, подальше от света, тускло идущего из окна, обтянутого бычьим пузырем. Там он садился на сено и прижимал ноги к груди. Он сидел так, по-птичьи нахохлившись, беспомощным и злым. Черты лица его еще больше заострились, вытянулись, глазницы запали и побледнели, стали почти мертвыми. И только глаза светились во тьме лихорадочным, диким блеском. Он часто кашлял сухим кашлем, от которого все тело его начинало ходить ходуном, дрожать, а глаза и лицо наливались кровью. Ему было вечно холодно, и он почти постоянно дрожал; как он ни кутался в шерстяной плащ с приставшими к нему репейниками и колючками, лоб его часто покрывался испариной, мелкими бисеринками пота, а ночью он не мог заснуть от лихорадочной дрожи. Случалось так, что он не мог подняться утром, и вся группа должна была ждать несколько дней, пока он поправится. Он слабел и терял власть над людьми, понимая это. Он чувствовал, что Матвей тоже теряет к нему интерес. Он понимал, что Матвей оставит его первым — не потому что тот был злей, чем другие, нет, просто он был сильнее, чем другие, даже мог довольно бойко писать и знал греческий. Он не сомневался и в том, что от него скоро уйдет Петр... и он останется один. Сидя в углу сарая, где пахло сеном, прелой травой и мышиным пометом, он представлял себе, как в один из вечеров свалится в лихорадочном ознобе, мелко стуча зубами и с испариной на жарком лбу, на такой же, быть может, ворох травы из жухлого камыша (из щелей сарая дуло колючим ветром); ученики его столпятся вокруг, дадут ему напиток, а затем отойдут в сторону и начнут шептаться, поглядывая на него, мечущегося в бреду. Он будет стучать зубами и бессвязно выкрикивать:

— Элои, Элои, зачем, зачем ты оставил меня? — и слышать сквозь рваный туман сознания обрывки их фраз и сдавленный смех, ибо они почувствуют свое превосходство над ним, превосходство живых перед умирающим.

Утром он увидит, что они ушли все, и сожмется под плащом от сознания своей обреченности. Он начнет говорить себе жалостные, нежные слова, и соленая жидкость скатится по его лицу. Шатаясь от слабости, он с трудом встанет, чтобы помочь тут же, в углу сарая, затем выйдет на улицу, чтобы смочить горячее, пламенеющее лихорадочным жаром лицо. Мокрый снег будет продолжать падать на землю ленивыми, неспешными хлопьями, холодные снежинки раскаленным металлом будут ложиться на его лицо и, прожигая холодом путь, медленно скатываясь по щеке.

Затем он снова вернется к себе в сарай на сырое, прелое сено. От холодной воды жар его усилится. И он впадет в забытьё... и, наверное, кончится к вечеру. Или его конец будет иным?.. Он понимал, что ему не нужно будет ждать слишком долго, он долго не протянет.

Петр, может быть, лучше, чем другие ученики, понимал, что Иешуа обречен, что он может очень скоро умереть от голода; смерть от голода и болезней, он считал, это самая тривиальная, самая пошлая смерть. Она, не созывающая толпу зевак, есть и самая распространенная смерть; лишь избранные счастливики (один из тысячи, может быть, даже в самую тревожную и воинственную эпоху) умирают от меча, удавки или издыхают на кресте — ведь все это требует времени и сил, коих люди обычно не любят тратить попусту. Он знал, что Иешуа умрет, как знал и то, что сам учитель это понимает, но не испытывал к нему никакой жалости. Он давно забыл, почему он последовал за Иешуа, решив, что Иешуа обольстил его той памятной ночью лишь для того, чтобы затем всеми делами своими показать, как далеки дела его были от проповедей.

Он сказал себе, что уйдет от Иешуа, что это решено точно и бесповоротно. Но он не мог уйти от него утром, крадучись, как вор или убийца, поэтому должен был иметь основание для разрыва — ссору, после которой все стало бы ясно. И он ждал своего часа.

Однажды они переплывали на другую сторону Кинерета. Они начали переправу утром, думая пристать к противоположному берегу к вечеру, но не успели, и ночь застала их на воде. Все страшно устали, никто не хотел грести, потому Иешуа подбадривал учеников и развлекал их своими обычными историями и притчами. На Петра эти сказки давно не действовали. Он полагал, что и другие ученики Иешуа были к ним абсолютно равнодушны, и привычный набор фраз — Иешуа мог повторять одну и ту же притчу сотни раз, всякий раз делая вид, что изрекает что-то свежее и оригинальное — не вызывали ни у кого ничего, кроме скуки. Петр, сжимавший в онемевшей от многочасовой работы руке весло (ручка его была отполирована многолетней службой), следил за тянувшимся за лодкой фосфоресцирующим хвостом и жадно заглатывал свежий воздух, от которого у него страшно разыгрался аппетит, потому он судорожно сглатывал скопившуюся слюну и старался не думать о еде. Все молчали уже несколько часов, и это молчание, свидетельствующее о полном равнодушии учеников к тому, что говорил Иешуа, об их абсолютном отчуждении от него, стал замечать и сам учитель. Пустота вокруг раздражала и пугала его, она была очередным подтверждением того, что он вскоре останется один, поэтому он спросил их (его голос был совсем не тот, коим он рассказывал притчи, это был не самоуверенный и слегка небрежный голос — он знал, что им нельзя показывать слабость и страх, это только ускорит его конец) — и голос его острым лезвием прорезал ночь, он был странен и необычен в этой ночной тишине:

— За кого люди почитают *меня*, — он сделал ударение на этом слове, потому оно вышло еще более злым и фальшивым, — сына человеческого?

Он не услышал ответа сразу, и тишина сразу сомкнулась за звуком, бесследно проглотив его. И он положил руку на плечо одному из учеников (рука мешала тому грести, и он опустил весло, тут же прижавшееся к борту лодки), и ученик сказал ему безразличным усталым голосом, что все полагают его пророком. А затем к нему присоединились другие голоса. В этот момент они все дружно ненавидели его, заставившего их промучиться весь день на воде с перспективой ночевать здесь же, в лодке, под открытым небом, коченея от холода. Они даже не могли как следует облегчиться. Приходилось придвигаться вплотную к борту, перевешивать голый зад на виду у всех и, одновременно судорожно цепляясь за дерево, пытаться сохранить равновесие. И они сказали, за кого его почитают: одни — за Иоанна Крестителя, другие — за Илию, а иные — за Иеремию или за одного из пророков.

Петр сидел рядом с Иешуа и видел его напряженный силуэт, ощущая, как тот жадно ловит и взвешивает каждое сказанное слово и интонацию. Петр молчал и,



чтобы не думать об отекающей руке и еде, о жареном, покрытом хрустящей золотисто-коричневой корочкой барашке, податливом и сладком, размышлял о том, стоит ли возвращаться к своему старому занятию рыбака после того, как он бросит это бродяжничество. Он думал о ценах на рыбу, уловах и снастях, а также о возможных альтернативах этому занятию, об открытии лавочки, например — предприятие это зависело от кредита, и он напряженно подсчитывал, у кого он может взять деньги и под какой процент. Сообщения о том, что Иешуа нынче — кто-то вроде нового Иеремии или Ильи, не вызывали у него улыбки, настолько привычно однообразно усталыми голосами была выдана причитающаяся Иешуа порция лести.

Звуки голосов сливались со звуками волн, тихо ударявшихся о борт лодки, так что Петр, поглощенный мыслями о сетях, крючках и сестерциях, почти не слышал их. Но вдруг кто-то тронул его за плечо. Петр повернул голову и увидел просительное лицо Иешуа. Он ответил быстро, не думая, то, что пришло ему в голову:

— Ты Христос, Сын Бога живого.

«Сын Бога»... Слова эти были столь кошунственными и странными, что он сам испугался их. Шепот на лодке прекратился, стало напряженно и тихо. Иешуа тоже отпрянул от него, будто испугавшись слов, ожидая, наверное, что черное, посеребренное звездной чешуей небо разломится и, блестя вороненой сталью, Господень меч рассечет лодку. Но ничего не произошло, и волны продолжали тихо и ласково шуршать по борту. Тишина давила Иешуа, ему было тяжело и страшно, поэтому, чтобы отогнать эту тишину, он, быстро схватив ладони Петра, больно сжал их — даже не верилось, что в этих слабых руках может быть такая сила — и зашептал ему в лицо быстро и страстно, но так, что все сидящие в лодке ясно слышали:

— Блажен ты, Симон, сын Ионии, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе: ты, Петр, и на сем камне создам Церковь Мою, врата ада не одолеют ее. И я дам тебе ключи Царства Небесного: и что скажешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.

Бессвязный шепот долетал до Петра сквозь дремотное покрывало, окутывающее его сознание — он понимал, что Иешуа предчувствует свой конец, одиночество и голодную смерть, потому пытается спастись безумием, подобно тому, как солдаты иногда пьют крепкое вино перед боем, чтобы заглушить в себе страх смерти. Он также подумал о том, что все люди ничем не отличаются от Иешуа, но весла были главным, о чем он думал. Ему страшно хотелось спать, и веки слипались, и приходилось напрягать все свои силы, чтобы не заснуть, и он с силой еще раз сжал рукоятку весла...

Дела Иешуа с каждым днем шли все хуже и хуже. Его проповеди становились все бессвязнее, безумнее и злее. Ему часто не только не давали милостыню, но и били, били жестоко. Шатаясь от голода, грязный, нечесаный, с одной сандалией на сбитых в кровь ногах, он пришел на одну из деревенских свадеб. В толпе народа, оживленно гудевшего во дворе, его даже не сразу заметили. Если бы он попросил милостыню, ему наверняка дали бы объедков со стола и, может быть, даже немного денег, но он, стоя в середине двора в паутине тени, отбрасываемой двумя раскидистыми платанами — их ствол, в белых пятнах солнечных бликов, был гладок и чист — стал говорить:

— Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников; и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками в пролитии крови пророков». Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избивали пророков, дополняете же меру отцов ваших. Змии, порождения ехидны! Как убежите вы осуждения в геенну?... Посему, вот Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на нас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля до крови Захарии, сына Зарахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.



Истинно говорю вам, что сие придет на род сей... Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели...

Он хотел говорить все это визгливым, тонким, но режущим слух и часто помимо воли проникающим в сознание фальцетом, теми истерическими взвизгиваниями, которыми он учил на площадях раньше, но сил у него уже не было, поэтому из горла выходил лишь шипящий шепот.

Гости, столпившиеся во дворе, наслаждались пиршеством, чавкая, пожирали бараньи и куриные ножки и приторно сладкие перезрелые фиги; сок и жир стекали по их праздничным белым одеждам и бородам, которые они часто поглаживали блестящими от пота и жира ладонями. В праздничной суете Иешуа не замечали, принимая за одного из слуг, какого-нибудь уборщика, находящегося на самом низу служебно-иерархической лестницы, почему-то выпolzшего из своего кухонного подземелья, где он, видимо, выполнял самую грязную, тяжелую и вредную работу, на которую рачительный хозяин иногда не хочет посылать даже рабов, если, конечно, они не больны или не должны умереть в ближайшем будущем, или не слишком дорогого раба, которого тоже не жалко.

Видя, что никто не замечает его, Иешуа смело перешагнул порог. Ученики не следовали за ним и, понимая, что ничего хорошего не выйдет из этого предприятия, стояли на почтительном расстоянии от усадьбы. Матвей даже сделал робкую попытку отговорить Иешуа от пророчества или сменить тон, но тот уже никого не слушал.

Иешуа явно колебался, прежде чем сделать первый шаг и войти в зал, где происходил свадебный пир. Он не решался поднять глаза, потому, смотря исподлобья — его слова снова никем не были услышаны, но его это, видимо, мало тревожило, ибо говорил он для себя, а не для других — повторил:

— Змии, порождения ехидны! Как убежите вы осуждения в геенну? Посему, вот Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город.

С этими словами Иешуа нырнул в зал. Пирующие возлежали по греческому и римскому обычаю. Они были одеты в белоснежные хитоны, у некоторых, однако, уже изрядно выпачканные жиром и вином. Красные пятна, будто кровавые, были и на скатерти, украшенной по краям пурпурной каймой, делающей ее схожей с сенаторской тогой. Киликии для вина на тонких ножках чинно стояли вдоль стола, рядом лежали большие ломти хлеба, влажные от пропитавшего их жира, вокруг же них — уже в полном беспорядке — обглоданные кости; под столом слышался натуженный хруст и сладострастное урчание, из чего можно было предположить, что туда пробрался дворový пес, которого почему-то не успели или не захотели выгнать. В центре стола стояло большое медное блюдо с молодым барашком, вернее, с тем, что от него осталось — кучками ребер с ошметками мяса и голова, морда с оскалившимися желтыми зубами. Пахло мясом, псиной, потом и женскими притираниями, и от этого запаха Иешуа стало дурно, но он, пересилив себя и собрав все силы, кликушески взвизгнул:

— Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Захаиина, которого вы убили между храмом и жертвенником!

Тогда только Иешуа был замечен, и десятки глаз устремились на него. Даже невеста, сидящая в центре — черные роскошные волосы падали ей на плечи, на шею тускло блестели золотые бляхи и голубой ляпис лазурь — подняла чуть опущенные занавески ресниц и испуганно посмотрела на жалкую, нетвердо стоящую фигурку Иешуа, слегка покачивающегося от дурманящего, спертého воздуха. Маленькие, затянутые бычьим пузырем окна не освежали помещения; не будь дверь открыта, никто не смог бы усидеть в доме более нескольких минут.

Невеста была очень хороша собой, и что-то призывное Иешуа увидел в ее больших глазах. Повинуясь этому взгляду, Иешуа сделал решительный шаг к столу, а



затем сильным, резким движением сдернул скатерть. Тишина была полной. Гости и жених — длина его пейсов могла смело соперничать с длиной волос его невесты — не двигались, прикованные к своим локам, слуги тоже испуганно прижались к стене поближе, ища защиту у больших амфор с вином, из которых торчали ручки черпаков. С сухим треском раскололась глиняная посуда, с дребезжанием повалилось набок, теряя кости и ухмыляющуюся баранью голову, медное блюдо. Покатившись, оно ударило ребром в надутый бок амфоры и раскололо ее — красная живая кровь вина залила пол. В этот миг голос Иешуа взвился:

— Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!

Его худое тело сломалось от удара в живот, и, повалившись на пол, он стал судорожно, выброшенной на берег рыбой, заглывать воздух и, сам того не желая, красную пряную жидкость вина. Его выволокли на двор и били долго и основательно, в живот и пах, ногами и палками, по спине и в лицо. Хотели спустить на него и лохматых сторожевых псов, которые, скаля желтые клыки и рыча, носились полукругом, струной натягивая цепь, но решили, что он и так получил достаточно — и, по всей видимости, должен будет вскоре издохнуть; в случае смерти Иешуа никто не опасался судебного преследования, ибо акт прямого нападения был налицо, а по закону каждый имеет право защищать свою собственность и жизнь всеми доступными ему средствами.

Иешуа выжил, но после этого случая все поняли, что он обречен, что смерть его — лишь вопрос времени.

Он окончательно потерял разум. Он уже почти ничего не говорил связного, только повторял прежнюю чепуху, что он сын бога живого, что те, кто поверит в него, не вкусят смерти. У него не было уже даже видимой власти над группой, ибо проповеди его уже больше не приносили ни еды, ни денег. Из лидера он превратился в самого униженного и жалкого члена группы, и превращение это произошло быстро, почти мгновенно. Просто в один вечер, когда они сидели у костра, кто-то вырвал у него кость, на которой еще было немного мяса, а когда Иешуа протянул руку, то его с силой оттолкнули. Падая, он обжег ладонь и жалобно вскрикнул. Все застыли, ожидая чего-то, но никто не вступился за него — Матвей сидел на корточках и продолжал молчаливо смотреть на огонь. Иешуа стрельнул глазами, а затем, по-собачьи скуля, отполз от костра в темноту.

После этого случая его стали бить и отбирать хлеб, так что ему приходилось съедать все быстро и жадно, пока не успели отнять. Не только Иешуа, но и все прочие уже не могли пророчествовать и читать молитвы, но могли только скулить побитыми шелудивыми псами. Когда их отгоняли прочь или бросали камни, они испуганно отбегали в сторону, после снова возвращаясь, продолжая скулить и просить хлеба. Когда их били, они не сопротивлялись, но, падая наземь, сворачивались калачиком и обхватывали голову руками, защищая ее от ударов. При этом они не щадили сил и кричали звонко и протяжно, так что бывший быстро утолял свое желание и уходил прочь. Они боялись только псов, загрызших уже одного из членов группы. Однажды несколько из них перелезли изгородь и стали с жадностью срывать и заглывать недозревший кислый виноград. Сторож вскоре заметил их и побежал, размахивая увесистой дубиной, но впереди него, захлебываясь от предчувствия крови, летел лохматый пес. Удар дубины сбросил одного из проголодавшихся вниз. А затем, притаившись в кустах, они услышали сдавленный хрип и злое, сладострастное урчание пса.

Кормили всех главным образом свалки больших городов. Самой большой свалкой была иерусалимская, прозванная Гиеном. Гиеном находился сразу за городской стеной. Находиться летом там было совершенно невозможно, ибо от свалки шел невыносимый смрад. Ветер иногда заносил его в город, и оттуда посылались специ-



альная команда, которая присыпала свалку землей и известью. К осени, когда спадала удушливая жара, процесс разложения немного замедлялся, запах переставал быть абсолютно непереносимым; тогда-то сюда и приползали нищие со всей округи. На днищах разбитых и треснувших амфор можно было найти немного прокислого, почти превратившегося в уксус вина и прогорклого масла. Кучами валялись гниющие фрукты. В дело могла пойти и рыба. Ее привозили в Иерусалим из Кинерета и Яффы. Чаще всего она была уже уснувшей, потрошеной и густо посыпанной солью. Такая рыба не портилась, но по простествии нескольких дней высыхала. Ее можно было хранить многие месяцы. Это была дешевая и доступная пища, которая вместе с оливками и сухими пресными лепешками становилась основной пищей бедняков. Но иногда рыбу везли в Иерусалим живой — в больших глиняных амфорах, наполненных водой, или деревянных корытах. Иногда почти уснувшую, но еще свежую рыбу перекладывали влажными листьями пальм и слоями травы. В процессе перевозки ее не солили, но поливали. Это была дорогая рыба, она шла она к столу наиболее состоятельных жителей города. Во время перевозки рыба часто засыпала. Перевозчики не успевали это вовремя заметить и отделить уснувшую рыбу от еще живой, потому порченую, но еще вполне съедобную рыбу тут же выбрасывали в Гиенном, и она становилась лакомством для нищих.

На свалку выбрасывались и трупы людей и животных, но есть их было опасно. Очень скоро от мяса начинал идти сладковатый приторный запах, а через несколько дней оно покрывалось белой копошащейся массой упругих личинок мух. Тот, кто, преодолевая отвращение, обезумев от голода, ел это мясо, умирал в страшных муčenjaх, крича и катаясь по земле.

Свалка кормила не только людей — стаи одичавших собак, кошек и крыс также были среди ее обитателей. Между ними, как и между людьми, шла отчаянная борьба за пищу и жизнь. Иногда поджарым, осторожным и быстрым кошкам с обвалившейся и выеденной лишаями шерстью и заплывшими глазами удавалось придушить небольшую крысу. Держа добычу за загривок — поникший хвост волочился по земле — кошка тащила ее к своему выводку, притаившемуся поблизости среди куч мусора или в траве, покрывающей весной Гиенном. Но крысы не сдавались, не желая оставлять поле боя без борьбы. Самки приносили в год несколько детенышей — маленьких серых комочков с розовыми хвостиками, слепых и беспомощных; большинство из них умирало или становилось добычей врагов. Но иногда, повинувшись неведомым законам, крысы начинали плодиться так, что, несмотря на то, что часть из них гибла, численность популяции вырастала в несколько раз. Им не хватало пищи, и голод превращал их в смелых и безжалостных врагов. Он шли в атаку с писком, ясно различимым даже издали — они выползали из своих нор, и этот писк был их боевым кличем, предупреждая других обитателей Гиеннома, чтобы они приготовились к отчаянной борьбе за еду и жизнь. Ужас охватывал жителей Гиеннома, ибо они знали, что из всех инстинктов и страстей, движущих живыми существами, голод есть наисильнейший. Крысы собирались в огромные многотысячные стада, черные в серебристом свете полной луны, квадраты и круги с подвижными рваными краями, и волной прокатывались по всему Гиенному. От них бежали все — шелудивые, со свалившейся шерстью, собаки, кошки, испуганно тащившие за шиворот своих детенышей, и люди. Большинство псов спасалось от беды. Они чуяли опасность первыми и убегали вверх, к Дамасским воротам, прижимаясь к ним, будто прося человека впустить их за стену. Кошки же при приближении опасности начинали жалобно мяукать и хватать попеременно то одного, то другого котенка. Решившись и выбрав одного, отбегали с ним на несколько метров, засовывали его между куч мусора или пучков травы, возвращаясь за остальными. Кошки не могли или не хотели понять, что им не удастся спасти всех их детей, но только одного, посему гибли вместе со своим пометом. Черная крысиная волна накрывала их, ее движение приостанавливалось на некоторое время, затем волна катилась вперед, оставляя белые скелеты. Крысы не боялись даже людей, множество больных нищих было загрызено ими.

Но и крысы не были оставлены без врагов. С пустыни, красно-желтым морем плескавшей у стен Иерусалима, слетались на легкий и сытый пир черные, будто выжженные на небе, коршуны, которые камнем падали на землю; сбегались шакалы и множество других хищных тварей. Крысы, размножившись и пожрав все, что можно было пожрать, дохли и устилали своими гниющими трупами Гиеном; и тогда, не выдержав одуряющего сладковатого запаха гор гниющего крысиного мяса, все уходило с Гиенома к другим, более чистым и спокойным свалкам. Одна из самых больших находилась в Кесарии — резиденции наместника.

Свалка Кесарии была чище и опрятней иерусалимской, как и сам город был чище и ухоженной Иерусалима. Прямые, мощенные мраморной плиткой улицы были щедро украшены портиками, под которыми можно было, прогуливаясь, переждать жару, длинными свечами кипарисов, дававших хоть какую-то тень, и олеандрами, каждую весну покрывавшимися пурпурными ядовито-яркими цветами, цветом своим напоминающими пурпурные каймы сенаторских тог. На площадях и людных местах стояли огромные многометровые статуи Августа, в честь которого Ирод и соорудил город. Большинство из статуй изображали прицепса сидящим в спокойной позе в кресле с жезлом в руке и спокойным, недвижимым холодным лицом. В этой покойной позе, в холодных, правильных и недвижимых чертах, во властной, спокойной силе плеч и, наконец, в огромных размерах статуй уже чудилось дыхание иного, не западного мира, предугадывалось будущее имперской власти — приобретение четких граненых восточных форм. В городе, защищенном высокими стенами не только от воров, но и от палящего солнца — они отбрасывали к концу дня длинные тени — журчали фонтаны и шумели заросли пурпурных олеандр, серебристых олив и разлапистых финиковых пальм, почти полностью закрывавших дома от палящих лучей солнца.

Кроме римлян и их рабов в городе почти никто не жил, и римляне заботились о своем здоровье, посему не позволяли выбрасывать на свалку трупы животных и людей. Нельзя было оставлять там и больных рабов, могущих умереть и отравить окрестности ядовитыми испарениями больного и разлагающегося мяса. Поэтому над свалкой Кесари никогда не стояла такая вонь, как над иерусалимской, а ветерок, почти всегда дующий с моря, освежал воздух.

Свалки Кесарии не были столь роскошными и обильными, как иерусалимские, но жить и кормиться можно было и здесь. Кесария была не только административным центром Иудеи, но и портом. Прибывали сюда не только военные триеры с шумными матросами — выпущенные на берег, они были буйно пьяны и часто устраивали драки с местными жителями, так что приходилось вызывать военные патрули, — но и торговые и рыболовецкие суда. Сюда привозились и сгружались на большой и выдающийся далеко в море мол всякие товары, включая съестное — соленое мясо, сушеную рыбу и пшеницу. Осторожно выносились большие амфоры, наполненные оливковым маслом и вином. Много портилось по дороге, будучи уже не годным для употребления, и иногда этот порченный, но часто еще вполне съедобный товар можно было получить тут же, на молу. Чаще всего его, особенно бочки с порченной рыбой, отвозили на свалку. Тут и ждали их, прослышав о прибытии рыболовецкого корабля, нищие, с жадностью выхватывающие из кучи еще съедобную рыбу и отбегавшие с ней в сторону. Часто группы нищих ссорились между собой за еду, тогда начиналась война.

Войны за кучку гнилой рыбы ничем не отличались от войн, введущихся за приобретение царства, престола или мирового владычества. Враждующие партии ненавидели друг друга до крайности и готовы были сделать все для истребления своих противников. Но войны на помойке Кесари не были кровавыми, тамошние «солдаты» были слишком слабы, чтобы убивать. Они обычно ограничивались тем, что набивали друг другу шишки, расцарапывали лица или вырывали друг у друга ключья волос. Иногда случалась удача: в стычке кому-нибудь удавалось острым осколком раковины, черепком или палкой выбить у противника глаз. Тогда над свалкой несся

пронзительный звериный крик, побежденная группа нищих немедленно признавала свое поражение и поспешно отступала. Как и у животных, у нищих давно исчезла гордость, они обращались в бегство, как только приходили к выводу, что таким образом могут спасти свою жизнь. Ослабевшие от голода и болезней, они не могли быстро бежать и часто падали. Некоторые из них, ослабев, падали и ползли на четвереньках, забавно подымая зады и оглядываясь, по собачьи щеря зубы и ожидая погони.

Победители обычно не преследовали побежденных, но не из жалости или иных соображений — они мечтали о том, чтобы окончательно истребить своих врагов и стать полноправными единственными властителями свалки... или, во всяком случае, части ее, но, как и их поверженные враги, победители были слабы. Победа слишком дорого доставалась им, слишком много сил было потрачено на победу, посему они не могли себе позволить преследовать врага. Они молча стояли вокруг одноглазого противника, тяжело и натужно дышали, сжимая в руках свое нехитрое оружие — черепок, камень, створку раковины или палку, и молча, даже с некоторым интересом, следили за своим, теперь уже одноглазым противником. Его дикий пронзительный крик вскоре переходил в тихое скулящее повизгивание, он медленно садился на кучу мусора и, продолжая по-собачьи скулить, прикладывал ладонь к багрово-красному пятну, с которого на щеку стекала такая же багровая жидкость. Затем он начал отползать в сторону — туда, куда убежало его стадо. Ползя на четвереньках, он продолжал жалобно скулить, но не потому что рассчитывал на жалость. Предсмертный крик животного, попавшего, например, в лапы хищнику — верещание зайца в совиных когтях, визжание свиньи или глухое мычание коровы, которых волокут к мяснику, есть не попытка вызвать жалость или призыв о помощи. Предсмертный хрип — лишь непроизвольное, естественное сокращение мышц, столь же бессмысленное, как сама жизнь.

Побежденных не преследовали и не делали попытку добить их еще и потому, что у животных нет мстительности, они обычно не преследуют врагов, если те уступают пищу или самку. Стадо же не только никогда не вступалось за своих раненых — оно нередко изгоняло их, а то и убивало. Это случалось чаще всего зимой, когда холод и голод были нестерпимы, а корабли почти не приплывали в Кесарию, боясь пересечь беспокойное штормящее море.

У нищих в Кесарии почти не было конкурентов. Здесь было мало крыс, собак и кошек, которых римляне истребляли как источник заразы. Со стороны, правда, прилетали на свалку большие белые чайки. Расправив крылья, приоткрыв клюв, они парили над кучами мусора; заметив что-нибудь съедобное, они быстро пикировали вниз. Там, где свалка почти вплотную подходила ко рву, опоясывающему город — в стоячей темной воде лениво, но ярко блестело живое солнце — паслись стада свиней, чего не было на свалке Иерусалима, поскольку римские власти не желали попусту раздражать евреев, запрещая пасти свиней вблизи от города. Но здесь, в Кесарии, евреев было мало, и римляне полагали, что им вовсе не нужно в чем-то ограничивать себя. Свиньи были огромны и отвратительны. Тупые огромные морды с маленькими лукавыми глазками ковыряли мусор своими пяточками диаметром в чашу средней величины. В жару они находили тень и заваливались отдыхать, подставляя дюющему с моря ветерку свои отвисшие розовые соски.

Нищие никогда не пытались напасть на свиней — те были огромны, сильны и всегда охранялись лохматыми псами. Псы не отступали от свиней ни на шаг, они даже ложились рядом с ними, высунув язык и тяжело дыша. Когда какой-нибудь из нищих подходил к свиньям слишком близко, псы немного приподнимались и щерили свои зубы, но затем, видя, что ничего не угрожает вверенным им животным, снова ложились в покойные позы.

Каждый день к свиньям приходил из города пастух-раб, проверяя, все ли в порядке. Смуглое от природы лицо, изъеденное оспой, было почти закрыто буйной растительностью — шапкой волос и длинной густой бородой; можно было предположить, что буйная растительность должна скрывать шрам или клеймо. На пастухе



был порванный в нескольких местах мешок. Мешок этот, особенно если от свалки шел одуряющий горячий воздух, он сбрасывал, расхаживая между свиньями абсолютно голым — тело его было сильным, мышцы ясно и отчетливо вырисовывались на нем, длинный, будто лошадиный фаллос болтался между ног. Когда он подходил к свиньям и похлопывал их по бокам, они сладко и довольно похрюкивали от удовольствия и водили своими пяточками. В руке он держал короткое копьё с отполированным грубыми руками древком, наконечник копья был широк и тщательно начищен. На поясе у него болтался большой нож в деревянных ножнах, с которым он никогда не расставался. Нож, привязанный на веревочке, болтался между ног, и казалось, что у него не один, а два фаллоса: один бессильный, другой — готовый к любви.

Собаки тоже любили его. Они замечали его появление издалека и наперегонки неслись к нему, прыгали на него, стараясь лизнуть лицо, плечи и руки. Сев на кучу мусора, прислонив к разбитой амфоре копьё, сбросив дерюгу и сняв с плеча сумку, он, прежде чем перейти к свиньям, начинал нежно гладить каждую из псин, почесывать за ухом и что-то бормотать. Поскольку он общался только с собаками и свиньями, то почти разучился говорить. Его речь состояла из какой-то мешанины греческих, латинских, арамейских слов и фраз вовсе неизвестных наречий — видимо, тех, на которых говорили на его родине. Но этот странный язык хорошо понимался собаками. От его ласковых гортанных слов они падали на спину, поджимали хвост и показывали ему свой живот. Он почесывал им пузо, чесал за ухом и продолжал мурлыкать. В это время зыбкие и неясные, как мираж пустыни, как предрассветная дымка в горах, проносились в его сознании образы, далекие воспоминания детства: палатка, утренняя прохлада, легкий дымок вьется от потухшего костра... Острый запах пота, кожи и молока... Огромная, надменно-удивленная верблюжья голова и чьи-то сильные руки, поднимающие его кверху...

Свиньи, которых он пас на свалке Кесари, были не его, они принадлежали хозяину, римлянину. Поэтому он ненавидел свиней. Он убивал их сам, хоть хозяин — его колбасу и ветчину ела вся римская Кесария, а лучшие сорта его колбасы отправлялись даже в Рим — и не требовал от него этого. Он открывал двери сарая, стоявшего в самом конце обширного двора хозяйской усадьбы — она была совсем недалеко от города — и слышал похрюкивание только что проснувшихся свиней, вызывая их во двор привычным для них гортанным звуком. Часто свиньи не желали выходить, но не потому что чувствовали недоброе, нет, просто из-за лени — они не любили, когда их гонят далеко на свалку, предпочитая, чтобы пищу им приносили сюда, в сарай, что иногда и случалось, особенно в зимнюю непогоду. Тогда он открывал дверь пошире и сам заходил в сарай. Свет, вырывающийся из дверного проема, и солнечные лучи, проходящие сквозь щели и рассекающие тьму остро отточенными клинками — мириады пылинок беспомощно и бездумно копошились в них — позволяли ему хорошо видеть свиней, вваливку спавших в сарае. Здесь были свиньи всех возрастов — маленькие розовые поросята с закрученными хвостиками (при его приближении они радостно вскакивали и с веселым хрюканьем тыкались своими мордочками ему в ноги), свинтусы побольше, которые были гораздо сдержанней. Огромные, величиной с небольшого бегемота, свиньи не поднимались при его появлении, даже не открывали глаза, а лишь подымали свои пяточки и с шумом втягивали воздух, пытаясь выяснить, сулит ли им появление человека пищу. Как только они выясняли, что человек не принес им никакой пищи, то сразу снова застывали неподвижными горами мяса на земляном, прохладном полу сарая.

Он довольно редко резал поросят. Их нежное мясо шло на приготовление дорогих сортов колбас и требовало большого мастерства, времени и денег. Спрос на них был неустойчив, посему поросят чаще всего щадили. Иначе обстояло дело со свинтусами побольше. Видя, что свиньи не собираются выходить, он уже без всяких церемоний начинал пинать их в бока своими босыми ногами, после чего свинья не без труда подымалась и с недовольным хрюканьем выходила во двор. Стоя в центре

тщательно выметенного двора (в нем находилась бочка со свежим морским песком, специально предназначенным для того, чтобы присыпать кровь; к бочке была при-слонена жесткая метла, которой только и можно было мести влажный от крови песок, и совок; тут же неподалеку находилось и небольшое ведерко, предназначенное для этого влажного от крови песка), свинья похрюкивала, но уже без особой злобы, и с некоторым любопытством осматривала двор, ставший столь чистым, непохожим на то, что она привыкла видеть.

Раб — на нем не было никакой одежды, кроме набедренной повязки и кожаного фартука, в котором он обычно совершал экзекуции — немного отходил от свиньи и окидывал взглядом зрителей, подобно тому, как это делали гладиаторы перед началом схватки. Зрителей было немного: несколько ребятишек — это были дети рабов, рожденные здесь, в усадьбе, и работавшие на кухне — кухарка, повар и хозяйская дочь, девушка лет двадцати пяти. Она была северных кровей. У нее были длинные золотистые волосы, голубые задумчивые глаза, тяжелые бедра и большие груди, их соски просвечивали сквозь легкую ткань платья. Она сидела на коврик прямо на земле, скрестив босые ноги, около нее стоял кувшин с легким, немного кислым вином и кисть винограда или каких-нибудь других фруктов, к которым она обычно не притрагивалась.

Окинув взглядом зрителей, раб медленно и даже несколько торжественно приближался к свинье. По мере того, как будущий убийца подходил к свинье все ближе и ближе, он начинал распевать странную, ему только понятную песню: вся она состояла из чередования булькающих и гортанных звуков. Затем он закатывал глаза и начинал медленно раскачиваться, при этом продолжая делать круги и приближаясь к свинье. Свинья между тем прекращала свое хрюканье и, казалось, смотрела на него с некоторым кокетством, полагая, наверное, что все эти действия есть подготовка к любовной игре или очередное чудачество их хозяина — свиньи считали хозяином только его, как и собаки, которые слушались только его слова. Они привыкли к его чудачествам: иногда он начинал подпрыгивать, потрясать своим копьём и метать его в кучу мусора. Так что и здесь, свинья полагала, было нечто схожее с прыжками на свалке.

Раб между тем приближался. Под фартуком, опустив руку, он сжимал специально для этого дня выданный ему хозяином тонкий и острый как бритва узкий стилет; холодная сталь клинка касалась фаллоса и щекотала его. Постепенно беспокойство начинало овладевать свиньей — странный и тревожный запах шел от их хозяина и защитника — вернее, не от него, но от странной одежды, которую он никогда не надевал, когда появлялся на свалке. Кожаный халат был пропитан кровью и выделениями сотен зарезанных свиней — хотя после каждой казни раб тщательно мыл и полоскал его, а затем сушил на солнце, он не мог полностью избавиться от запаха. Что-то страшное было в этом запахе, настолько страшное, что свинья сразу не могла понять, что же именно, но начинала выдавать свое беспокойство частым нервным похрюкиванием. В этот самый момент раб издавал какой-то радостный, сладострастный дикий вопль и, выхватив стилет из-под плаща, кидался на свинью. Его вопль тут же сплетался со сверлящим воздух пронзительным визгом — свинья начинала визжать еще до того, как стилет повисал над ее телом. Уже сам факт того, что ее хозяин и защитник оказывался убийцей, выманивая ее из прохладного сарая только для того, чтобы превратить ее в колбасу, ветчину и студень, был страшным и диким откровением; в этот момент свинья вспоминала все идиллические моменты ее жизни на свалке — аппетитные горы гнилых фруктов, собачьи трупы и гнилую рыбу, которую она ела с особым удовольствием — и не могла сдержаться от пронзительного, ее вовсе не свойственного крика. Но визг, продолжался лишь одно мгновение, ибо раб падал на свинью, прижимал ее и наносил удар своим стилетом точно в сердце. Он перерезал таким образом сотни свиней, не читая годовалых поросят, кур, кроликов и прочей мелочи для хозяйского стола, и его рука никогда не дрожала, нанося удар туда, куда была должна.



Он не сразу вставал после удара, поэтому в фартук и в лицо била струя горячей крови и выделений. После того как свинья переставала биться, застывая на земле с оскаленной мордой, он подымался и начинал трясти своим окровавленным стилетом, медленно ходить вокруг свиньи — подобно тому, как это делали гладиаторы на арене, ожидая похвал зрителей за исполнение. Но зрители почти всегда были равнодушны к его представлению и никак не реагировали ни на его танцы, ни на воинственные вопли, ни, наконец, на истошный смертный визг свиньи. Два мальчика сразу же после совершения казни утаскивали за ноги труп свиньи на кухню, где над огнем она должна была лишиться своей щетины; там же, в боковой комнате, свинье отрубали ее оскаленную и, как некоторым казалось, чему-то ухмыляющуюся морду — мясник производил эту акцию на большом чурбане, и топор часто входил в дерево от сильного удара. Он же вспарывал брюхо, освобождая его от перепутанного беспорядка кишок, а затем разделявал тушу на части своими длинными ножами. Мясо немного подсаживали, чтобы избежать его порчи — все прекрасно знали, что яд подтухшего свиного мяса смертоносен. После этого оно передавалось тем, кто и превращал его в длинные гилянды колбас и аппетитные окорока.

Другой мальчик с исполнительной и старательной миной на постном скужающем лице подбегал к ведерку с песком и начинал посыпать красные лужи. Когда песок основательно пропитывался кровью и набухал откормленным, насытившимся кровью комаром, он начинал сметать его в совочек и опорожнять его в порожнее ведерко, после чего с сознанием исполненного долга возвращался к своему месту в ожидании нового убийства.

Убийство свиньи, как это ни могло показаться странным, не производило на других свиней никакого впечатления, они никоим образом не реагировали на предсмертный визг ужаса одной из своих товаров; это полное равнодушие свиней к судьбе своих еще раз показывало рабу, как он прав в своем презрении к ним. Превращение в колбасу было в его сознании не печальной необходимостью, а высшей справедливостью, Немезидой, неотвратимо карающей себялюбие и эгоизм.

Свиней не пугал предсмертный визг их умирающих друзей — если все-таки предположить, что свиньи способны на дружбу, — но запах крови тревожил их. Как ни старался мальчик, как ни мел он тщательно двор, даже иногда, хотя это и не входило в его обязанности, брызгал двор водой, для чего ему приходилось отправляться к фонтану, что было совсем не близкой дорогой — запах крови, тревожный и дурманящий, нельзя было вытравить полностью, и обреченные свиньи начинали чувствовать его, как только выходили из сарая. У них уже не было игривой и слегка иронической улыбки первой жертвы. Они сразу понимали, что их готовят вовсе не к отправке на свалку, к разлагающимся яблокам и рыбе, но к чему-то страшному, что и осознать было нельзя. Мысль о смерти никогда не появлялась в мозгу свиней, и они полагали, что их бессмертие есть такая же неотъемлемая, сама собой разумеющаяся данность, как и солнце, под которым они грели свои бока, и свалка, где они кормились. Кроме того, появление смерти было стремительным и неожиданным, так что с этим феноменом не мог в столь короткое время справиться даже столь изощренный и изысканный мозг, как мозг свиньи. Но на помощь мозгу с его извилинами, серым веществом, узорами силлогизмов и затейливым сооружением логических конструкций приходил инстинкт — непритязательный, но сообразительный малый, который в ситуациях подобного рода чувствует себя гораздо увереннее разума. Он-то и пытался спасти вверенную ему природой свинью. Свинья начинала тревожно похрюкивать и наотрез отказывалась выходить на середину площади. Тогда раб пытался применить силу и, схватив ее за задние ноги, оттащить ее от дверцы сарая. Казнь у самых дверей была нежелательна, ибо кровь могла просочиться внутрь и испугать оставшихся свиней, что привело бы к ненужным хлопотам. Свинья начинала отчаянно и пронзительно визжать, стараясь высвободить свои задние ноги. Часто свинье это удавалось — и она начинала с отчаянным хрюканьем носиться по двору, иногда опрокидывая, к великому огорчению мальчика, вынужденного затем снова присту-

пить к уборке двора, ведро с песком, пропитанным свиной кровью. Как только влажный песок оказывался на земле, запах крови, сочный, густой, резко и неотвратимо ударял свинье в мозг. Он был настолько сильным, что чрезмерно раздражал чувствительные окончания и будто током бил по нервной системе.

Пытаясь избежать неизбежного, свинья с пронзительным криком неслась по двору, но недолго — раб достигал ее в два или три прыжка. Издав воинственно-сладоэротический вопль, он падал на нее, и через несколько секунд все было кончено — свинья билась в агонии, а мальчик спешил на место происшествия с метелкой и горсткой песка.

Раб ненавидел свиней, но больше — римлян, а римлянами были для него все, кто более или менее сносно говорил на латыни и не носил длинных косиц. Он знал, что римляне отличны от людей с косицами, знал также об их вражде. Больше всего он ненавидел женщин римлян, ненавидя лишь потому, что страстно желал их. И чем знатней и красивей были они, тем сильнее были его ненависть и желание.

В Кесари было не слишком много женщин. У солдат гарнизона не было семей, они пробавлялись местными потаскушками — сирийками, гречанками и еврейками, которые начинали толпиться на пристани, как только узнавали о прибытии корабля. Их можно было заполучить за сущий пустяк, если корабли, что случалось поздней осенью и зимой, не прибывали, и голод заставлял их быть не слишком разборчивыми. Но у него не было и тех медяков, за которые они уступали себя, поэтому он думал не о них, а о римлянках — дочерях и женах чиновников и офицеров, судьбою занесенных в Кесарию.

Они редко попадались ему на глаза. Чаще всего он видел лишь носилки, под тяжестью которых сгибались блестящие от пота спины рабов. Но иногда ему удавалось увидеть и самих женщин, обязательно в сопровождении мужчины, вооруженного коротким греческим мечом или тяжелым римским гладиусом, которым можно колоть и рубить врага. Еще он наблюдал за парочками, идущими вдоль берега у самой кромки — волна почти лизала их сандалии или тяжелые, подкованные солдатские калугулы. Он всматривался в прогуливающих внимательно, чтобы запомнить черты лица, все до мельчайшей детали, а затем закрывал глаза...

Все должно было начаться с убийства, ибо без крови все предприятие теряло для него привлекательность. Он спрыгнет с кучи мусора и помчится к парочке. Его нападение будет столь стремительным, что мужчина не успеет обнажить свой меч... Нет, он даст ему обнажить меч, ибо убийство безоружного не достойно его. Это будет честный бой. Враг замахнется и ударит его своим гладиусом, ударит сплеча, чтобы снести череп. Но он пригнется, и меч просвистит над его головой. Он позволит этому римлянину нанести ему еще несколько ударов и выпадов, всякий раз, конечно, с легкостью уворачиваясь от них. Пот ручьями будет литься со лба римлянина, он покажет ему свое полное превосходство, покажет, что у обороняющегося нет никаких шансов на победу, он обречен. И только тогда он нанесет удар своим копьём. Он будет благородным и не станет безобразить лицо, вонзит копьё в грудь или живот... в живот, наверное, лучше, ибо человек с раной в животе умирает не сразу, потому он сможет насладиться его смертью. Раб хорошо знал, что смерть римлянина, медленно умирающего на глазах у своей дочери или жены, опьянит его сильнее, чем вино — он иногда воровал отборные, приготовленные для отправки в Рим, вина у хозяина, зная их вкус — он будет пить эту смерть маленькими глотками.

Римлянин резко, отрывисто вскрикнет, а затем сделает несколько шагов с копьём в животе — пусть его противник будет сильным и мускулистым и не отдаст себя смерти сразу! — а затем упадет и будет кататься по земле от страшной боли и просить выдернуть копьё из его раны, чтобы быстро истечь кровью и умереть почти без мук. Но нападавший, конечно, не сделает этого. Он присядет на корточки и будет следить за судорогами лица, побелевшим, с выступившими капельками пота, лбом и тихими, беспомощными детскими стонами, пока римлянин будет харкать кровью и ходить под себя, а на белой тунике будут расплываться пятна от крови, мочи и блевотины.

Если его страдания будут слишком долгими, то, может быть, он пожалеет римлянина. Он знал, что боги — а он почитал всех богов, о которых слышал или храмы которых он видел — не любят злых и нечестивых, поэтому он будет милосердным и с этим римлянином. Он вытащит нож, тот самый, которым он резал свиней, и полоснет ему по горлу. Кровь польется широко и свободно, умирающий захрипит и вытянется. Очень даже возможно, что он увидит в глазах этого римлянина благодарность за этот добрый и благородный поступок.

А затем, как только глаза римлянина нальются недвижным застывшим стеклом, он приступит к ней, к его женщине. Она не будет пытаться убежать, ужас будет удерживать ее.

Он знал, что страх может придать человеку стремительность лани и силу льва, но может и приковать к земле, парализовать члены — это и произойдет с римлянкой, он был в этом уверен. Она будет молча следить за их поединком, и лишь когда он нанесет удар этому римлянину, из ее рта вырвется сдавленный крик. Она не убежит, когда римлянин будет кататься по земле, и будет молча следить за его агонией, только зрачки ее будут медленно расширяться. Когда все будет кончено с римлянином, он повернется к ней и пойдет на нее медленно, без спешки, как на запутавшегося в силках, посему бывшего во власти охотника (он иногда ловил силками мелких тварей, продавал их шкурки, а мясо жарил и съедал) зверя. Он будет совершенно голым, он даже специально напряжнит свои мышцы, чтобы показать этой римлянке свою силу. Он поиграет копьём, и с его наконечника будет стекать и тяжелыми каплями падать на песок кровь его врага, но волна быстро слижет ее. Волна также накроет тело римлянина и омоет рану, и она будет совсем не страшной — всего лишь розовый порез.

Когда он будет совсем близко, она попытается сделать несколько шагов в сторону... и упадет, и не посмеет подняться. Она будет лежать, ожидая его — ее нового господина. Он будет насиловать эту римлянку, унижать ее, бить. Он заставит делать ее то, что, быть может, она никогда не делала, а затем должен будет убить римлянку, потому что все римляне — враги, а врагов нельзя оставлять в живых. Но он не будет мучить ее — просто быстрым движением своего ножа, того самого, которым он резал свиней, полоснет ее по горлу. Кровь пойдет из раны легко и обильно. Она забьется, в горле что-то забулькает — и она затихнет. Затем он переждет день и прокрадется на ферму, когда чернильная ночь задернет небо. Он подожжет ее с нескольких концов, и никто не уйдет живым из гибких рук огня — ни хозяин, ни его дочь, ни свиньи. В пламени должны будут погибнуть и рабы, и он не жалел их в своих мечтах — он часто смеялся над ним, особенно те, кто родился на ферме и хорошо говорил на латыни.

Он уйдет в горы и будет собирать вокруг себя людей сильных, выносливых, отличных воинов и стрелков. Они будут проводить дни в горах, прячась в темно-зеленых кустарниках и лесах, а ночью станут нападать на римлян. Они будут убивать и людей с косицами, которые презирали его, поэтому люди с косицами недостойны жизни. Его отряд убьет множество римлян и людей с косицами, сожжет их поместья и изнасилует великое множество женщин, а затем его убьют.

Это будет славная, достойная жизнь воина и героя, а воины и герои не могут жить долго, они должны погибнуть молодыми. Его убьют в схватке. Метая копьё, он поразит многих — копьё, брошенное сильной рукой, опишет полукруг и пробьет буйволовоый щит, наконечник пройдет сквозь зазоры между металлическими пластинами, покрывающими щит, и вонзится в тело; древко копьё будет потом еще немного дрожать. Затем он обнажит меч, тяжелый и широкий, которым легко и удобно рубить. Он будет наносить удары направо и налево, рубить с плеча, с силой, так, чтобы лезвие дробило металлическую скорлупу шлема и кость черепа. Кровь и мозг будут брызгать ему в лицо, от этого он будет пьянеть, как от крепкого вина, все быстрее и быстрее кружась в пляске битвы. А когда он устанет, кто-то нанесет ему удар. Он не знал, кем будет этот *кто-то*. Он знал лишь одно — это будет не римлянин, ибо он, прекрасный и великий герой и воин, который убьет такое количество римлян

и людей с косицами, сожжет и разграбит тысячи поместий и изнасилует бесчисленное количество молодых девушек, не должен быть убит человеком, но героем или богом, специально для этого сошедшим с неба.

Да и смерти его не будет. Что такое смерть?.. Смерть не может быть одной у всех. Совершенно очевидно, что свиньи превращаются в ничто, в ничто переходит и большинство людей, но у немногих избранных иная судьба — после смерти боги их переносят на небо, где они пребывают вечно и живут, как подобает богам: едят до отвала, спят каждую ночь с красивейшими женщинами и ничего не делают...

Так мечтал раб, лежа на куче мусора и шурясь от солнца, следя за вверенными ему свиньями. Он знал, что мечты его сладостны, но никогда не сбудутся. И никогда он не совершит того, что ему так хотелось, ибо он знал, как жестоки и беспощадны римляне и как мучительно должна быть смерть на кресте — он несколько раз видел распятых разбойников. Их распухшие и почерневшие тела хорошо вырисовывались на фоне гор; челюсть безвольно отвисала, язык вываливался, выпученные, остекленевшие глаза недвижно смотрели в землю. Тучи мух облепляли лица, иногда сплошь покрывая их, и тогда казалось, что лица движутся. С гор на поживу слетались крупные и хищные птицы. Видел он на песке и следы шакалов, привлеченных запахом разлагающегося мяса, но шакалы уходили ни с чем, ибо не могли стащить труп со столба. Успешней всего дела шли у маленьких жучков и муравьев: для них труп разбойника был настоящим сокровищем, способным обеспечить прокорм не одному муравейнику...

Нежась на куче мусора и вспоминая сладковатый запах, идущий от трупа, раб думал, что смерть есть очень неприятное занятие. Он также вспомнил, что у трупа были длинные косицы; ему часто приходилось видеть распятых людей с косицами. Некоторые из них были еще живыми, тихо стоная под лучами солнца. Из всего этого было ясно, что люди с косицами вступили с римлянами в войну или, во всяком случае, замыслили что-то недоброе — они, должно быть, отчаянные храбрецы, если не боялись римлян. Это же могло свидетельствовать и об их глупости, ведь совершенно очевидно, что победить римлян людям с косицами было невозможно, посему, будь они такими же мудрыми, как он сам, им нужно было бы смириться с неизбежным и тяжким роком.

Он, конечно, понимал людей с косицами, даже сочувствовал их желанию освободиться от римлян, ибо римляне были не только их, но и его врагами, но ведь тем и отличается мудрый человек от глупца, что смиряется с судьбой и довольствуется малым. Мало ли что им хочется, этим людям с косицами... Мало ли что ему самому хочется... Ему, например, хочется быть римским цезарем и насиловать всех римлянок, но он, как мудрый человек, понимает, что это невозможно, продолжая пасти своих свиней...

Так думал раб, лежа на мусорной куче и периодически прополаскивая горло тепловатой водой из фляжки — он старался не пить воду, ибо сильно потел, и тело его размякало от жары.

Он видел на свалке группу людей с косицами, но не только не испытывал к ним зависти — а иногда он должен был признаться себе, что его предубеждение против людей с косицами есть во многом следствие зависти, ибо они, хотя и покоренные римлянами, все-таки были свободны — но даже некоторое сочувствие. Глядя на них, он испытывал радость, ибо видел людей еще более униженных и жалких, чем он. Они были свободны, но вполне могли бы позавидовать его участи. В отличие от них, он был всегда сыт, мог позабавиться со свиньями и даже получить несколько хороших кусков жареной свинины после массовой экзекуции; кроме того, он всегда мог что-то стащить из сада или кладовой — во всяком случае, всегда предоставлялся случай отхлебнуть оставленного на кухне вина. А если бы у него было немного денег на шлюх, приходящих к пристани, то его положение можно было бы считать совсем неплохим. Что, собственно, представляет собой свобода? Пустой звук, особенно если в животе и кошельке пусто...

Ошибается тот, кто думает, что рабом может стать всякий, что путь в рабство открыт для любого. Это не так, и нужно заслужить право быть рабом. Кому нужен слабый, старый, больной и глупый раб, который проест больше, чем заработает? Таких рабов сразу же освобождают от рабства и жизни и выбрасывают в Гиеном, где они и должны издохнуть среди гниющих груд мусора. Тем, кто утверждает, что лучше умереть свободным, чем жить рабом, он предлагает посмотреть на этих вольноотпущенников, когда они издыхают от голода на свалке вместе с прочим хламом. Он, этот певец свободы, должен увидеть лица, слезы, услышать стоны и просьбы вернуть их обратно в дом, в рабство, не дать умереть на этой вонючей свалке. Он слышал, как какой-то мудрец говорил, что ценность жизни постигается лишь к ее концу. То же вполне можно сказать и о рабстве — прелесть рабства может познать лишь тот, кто отведал ужасов свободы...

Так иногда думал раб о своей жизни, и она, когда после очередной казни свиней он получал в качестве поощрения несколько кусков жареной свинины, вовсе не казалась ему отвратительной. Но особенно приятным было ему знать, что есть кто-то еще более униженный и жалкий, чем он. Чтобы лучше почувствовать свое превосходство над нищими, он иногда одаривал их милостью — свиными костями, на которых еще оставалось немного жил и мяса.

— Иудим, иудим, иудим! — звал он их своим гортанным голосом; он знал, что так носители длинных косиц называют себя. — Иудим, иди сюда! Иудим... Ты получишь мясо, пищу.

Он говорил на арамейском еще хуже, чем на латыни, но голос его был сильный, и он видел, что нищие заметили и услышали его. Сначала звук его голоса пугал их, они испуганно шарахались в стороны, словно шелудивые псы, бродяги, опасаясь пинка или камня прохожего. Он снова начинал говорить, при этом стараясь придать своему голосу мягкость:

— Иудим, иудим... Не бойся, иудим... Мясо... Ты получишь мясо.

Он подымал кости над головой и начинал стучать ими, полагая, что стук должен будет привлечь их, но они снова шарахались в стороны. Тогда он менял тактику. Он оставлял кости на куче мусора, а затем уходил.

Нищие недоверчиво озирались и, ожидая подвоха и какой-то скрытой опасности, начинали медленно, крадучись подбираться к куче с костями. Когда же они понимали, что никакой опасности нет, что кости с обольстительно-аппетитным свиным мясом всецело принадлежат им, они стремительно кидались на них. Сильнейшие из них хватили кости, а затем, прижимая их к груди, бежали в сторону, спасаясь от товарищей, у которых обычно не было сил долго преследовать счастливых.

Петр и Матвей были сильнее других, потому чаще всего были победителями. Избавившись от своих преследователей, они направлялись в самый конец свалки, чтобы спокойно насладиться добычей. После гнилых фруктов и порченной рыбы свиные ребра с остатками мяса казались изысканными, тонкими яствами, и каждый нерв чувствовал сладкую томность свиного жира, стекающего по гортани.

— Иешуа умрет, он должен умереть, — сказал Матвей, по-собачьи хрустнув костью и с шумом втянув в себя костный мозг. Петр понял, что по какой-то странной причине судьба Иешуа, ничем не отличающегося от остальных обитателей свалки, продолжает интересовать Матвея. — Мне нужно было понять это давно, — кость еще раз жалобно хрустнула; его зубы, сильные, как клыки у гиены, без труда стали крошить ее, ибо он не желал, чтобы была потеряна хотя бы мельчайшая частица костного мозга, — как только больной нищий объявляет себя богом, да еще и единственным, то становится очевидным, что он не жилец на земле, дни его сочтены... Люди должны ставить перед собой достижимые цели. Я вовсе не считаю, что желание стать богом всегда свидетельствует о безумии. Вовсе нет! Будь я, например, римским кесарем или египетским фараоном, то я, конечно, стремился бы к тому, чтобы стать богом. Я бы пытался захватить весь мир, построил бы себе самую боль-

шую пирамиду и окружил бы себя чародеями и волхвами, обещающими мне изобрести эликсир бессмертия... Я бы, конечно, знал, что все, что они мне обещают — безумие, но безумие иногда так согревает сердце... да и вообще, полагаю, человек не мог бы жить, если бы безумие было полностью исключено из жизни... Ну и конечно, заставил бы приносить жертвы своей статуе... Будь я военачальником, думаю, ограничил бы себя мечтой о захвате трона... А будь я чиновником, то мечты мои были бы и того скромнее...

Хруст во рту Матвея прекратился. Он расправился со своей порцией слишком быстро и с тоской обвел глазами свалку, розовые контуры гор и ртутное зеркало моря. Затем он запустил руку под свои рваные лохмотья и стал с остервенением чесаться, закатывая глаза и мыча от удовольствия. Прюделав эту операцию, он пошарил глазами и, найдя сухой стебелек, начал старательно выковыривать им кусочки мяса, застрявшие между зубов, продолжая между тем спокойно и неторопливо вести начатую беседу.

— В желании стать богом нет, повторяю, ничего постыдного или безумного... Мало того, эта идея не может не зародиться в великом и истинно благородном уме, ибо великий человек не может согласиться с той простой и самоочевидной истиной, что он смертен, что по прошествии времени и от тела, и от имени его, сколь бы ни прославлено оно было при жизни, ничего не останется. Великий человек не может не желать стать богом. Я полагаю, что вся жизнь великих людей есть не что иное, как стремление стать богом. Чем цивилизованней народ, чем больше в нем величия — тем больше желающих стать богом. Римляне и греки тому пример: что ни император, полководец, политик или просто философ (а их-то у греков мириады), то бог или, во всяком случае, стремящийся стать богом. Как они, все эти боги, помещаются на Олимпе, понять нельзя...

Матвей рассмеялся над своей же собственной шуткой злым дребезжающим смешком. Злые искорки на мгновение вспыхнули в его глазах, но затем пропали, и его лицо снова стало тоскливым и ищущим.

— Но прежде чем стать богом, — Матвей опять зло хихикнул, и торжествующая злая искорка снова вспыхнула на мгновение в его глазах, — нужно обеспечить себе нечто более существенное, чем нектар, коим, если верить грекам, кормятся их небожители. Нужна хотя бы маленькая лавочка, клочок земли, что-нибудь, за что можно было бы уцепиться. Кроме того, нужно примириться с тем, что тебе не удастся быть единственным богом. Божественная исключительность, представление, что только один на земле может быть божественным, избранным, существует лишь у евреев, но мы народ провинциальный и наивный, посему принимать нас всерьез не следует, нужно смириться с конкуренцией мириадом богов: думаю я, что количество обоженных героев, владык, философов, брадобреев, императоров и конюхов императоров, не считая, конечно, их наложниц и наложников — а ведь так бывает приятно обеспечить бессмертие не только себе, но и своим близким — исчисляется мириадами. Большинство из них благополучно забыто, но это не имеет никакого значения... Но когда богом желает стать нищий, — с этими словами Матвей растянулся на куче мусора, прикрывая ладонью лицо от лучей уже начинающего заваливаться за горизонт солнца, — то это уже явно свидетельство конца. Это я давно заметил: как только начинаешь идти на дно, сразу в голове твоей появляются всякие заманчивые идеи. А когда уж нет никакого выхода, тогда и приходят мысли, что ты бог или кто-нибудь в этом роде, что ты одаришь их какой-то необычной, неслыханной мудростью, что, как какой-то волшебник, ты спасешь их от всех бед и — почему бы нет! — от самой смерти. Тогда-то тебе может показаться, что всю историю будут делить на два периода — от твоего рождения и до... до того, как ты стал богом.

Матвей продолжал говорить все это, продолжая лежать, расслабившись и, казалось, примирившись с тем, что ему в ближайшем будущем, видимо, не придется отвезать свиных костей.

— Ты можешь спросить меня, конечно, и, клянусь богами, имеешь на это право, почему я пошел с Иешуа, что привлекло меня к нему. Почему я оказался глупцом и потерял разум, кой, как справедливо утверждают греки, является, после самой жизни, наищеннейшим сокровищем смертных? И я скажу тебе: во всем повинны страсть и леность. Человек, идущий на дно, подобно кораблю с проломленным днищем, превращается в бога, когда он делает последний земной вдох, перед самым концом, когда оставлена последняя надежда — и он щедр на дары. Он раздает места у своего божественного трона, щедрым бисером мечет царства и власть над мирами. Но его безграничная щедрость — звезды раздаются им, как прибрежная галька — не есть следствие его доброты. Он никогда, понимаешь, никогда, — к великому удивлению Петра, Матвей быстро вскочил, затем быстро наклонился, лицо его исказила судорога, ненависть смяла складки на лбу, — не был добр... Я знаю, — Матвей наклонился совсем близко к лицу сидящего Петра, который безумным взглядом смотрел на него, — ты по-прежнему веришь в то, что он говорил в ту ночь... Но доброты нет. Есть трусость и слабость. Бог зол — и потому он бог. Великий цезарь не знает жалости, поэтому он цезарь.

Матвей выпрямился и стал быстро ходить вокруг куч с мусором, яростно отшвыривая битые черепки. Он теперь говорил с самим собой, быстро и бессвязно. Затем он вскрикнул тем злобным, визгливым фальцетом, с которым, в тот памятный для Петра вечер, обращался к невидимой толпе:

— О боги! Бессмертные боги! Почему они наказали меня? Я ничтожный червяк, я смердящий труп. Я подл и жалок, но не хуже других — почему же бессмертные боги наказали меня?! — произнеся эту фразу, Матвей снова подсел к Петру и перешел на доверительный шепот. Он говорил быстро, проглатывая слова. — Десять лет, десять лет моей жизни я потратил на него. Мы были молоды, очень молоды, мы бредили о многом. Я признаюсь тебе — я знаю, ты не выдашь гоям и не донесешь римлянам, да и было это давно — мы мечтали о бунте, восстании против римлян. На словах — а мы любили слова и чертили планы на песке — все выходило превосходно, и мы верили, что сможем поднять народ и освободить страну. Но тогда, когда надо было переходить от слов к делу, он струсил. Мне нужно было бросить его тогда. У меня была жена, семья, я уже тогда свободно говорил и писал на греческом и на латыни. Я мог бы открыть школу и учить — греческому, латинскому, арамейскому и немного философии, — лицо Матвея искривилось и стало жалким, он с ненавистью посмотрел на цветы олеандров, росших за его спиной, — я ведь знаю, ты должен был понять давно, не только Тору... Отец и мать, да будут благосклонны к ним боги, были у меня люди ученые, они учили меня не только нашему закону, но и всему, что, по их мнению, должен знать человек образованный. Так что Платон, Сократ и Диоген Киник не были мне чужими. И вот в этой школе — той, которую я намеревался открыть — я бы и учил этой греческой мудрости... Сейчас много евреев, до нее охочих. Но дело вовсе не в мудрости и не в правде, ибо нет никакой правды, а в хлебе, в том, что нужно как-то кормиться. Я мог пойти, может быть, в Грецию... или даже в Рим. Римляне, говорили мне, охочи до волхвов и прорицателей с востока. И ты пойдешь со мной, — Матвей криво усмехнулся, глядя на Петра, — потому... потому что тебе больше некуда идти.

Петр и Матвей решили, что они пробудут с Иешуа до Пасхи. В это время группа должна была направиться в Иерусалим в ожидании приезда паломников. По случаю великого праздника Пасхи люди становились особенно щедры, раздавая обильную милостыню. Петр с Матвеем решили, что после окончания праздника, когда снимут свои палатки и вновь отправятся в пустыню кочевники, на верблюдах прибывшие в Иерусалим по случаю праздника, они покинут Иешуа. Они также понимали, что учителя должны будут покинуть все, ибо он умрет от голода и лихорадки...

К весне их группа окончательно распалась. Этот распад, физическое разделение людей, уже внутренне ничем между собой не связанных, происходило не сразу.

Сначала по группе прошли трещины, и люди стали делиться на небольшие кучки, вместо того чтобы кормиться вместе, как это было в самом начале. Эти новые группы еще сохраняли видимость общности — они паслись недалеко друг от друга, иногда сходясь, чтобы обменять объедки или отдохнуть; им еще доставляло удовольствие лежать вместе на горах прелого мусора или на охапках высохшей травы. Иногда они собирались вместе, чтобы поссориться и подраться. Драки, возникающие по самому пустячному поводу, ни к чему не приводили — пара синяков или клочок вырванных волос были тем, чем расплачивался побежденный с победителем за поражение. Эти драки доставляли удовольствие вовсе не потому, что побежденный на какое-то время терял наиболее тучную часть свалки, но потому лишь, что напоминали им о прошлом, о тех странных, неправдоподобно далеких в их сознании временах, когда они были вместе. Иногда они испражнялись рядом, и эта стадная близость тоже доставляла им удовольствие. Но постепенно они начинали терять интерес друг к другу и разбредаться в разные концы свалки, встречаясь все реже и реже. Они еще бросали на встречных свои взгляды, но в них уже не было ничего, кроме усталости и равнодушия. Но постепенно и эти группы стали дробиться, от них отваливались группки в два-три человека, которые держались друг друга только потому, что вместе им было теплее по ночам. Почти никогда они не делили еду, лишь дрались за каждый кусок гнилой рыбы или яблоко. Почти всегда в этих маленьких группках появлялся сильнейший, подчиняя своей воле остальных. Они не уходили и продолжали держаться вожака, хотя, очевидно, его власть не приносила им никакой выгоды. Лидер бил их, насколько, конечно, у него хватало сил, и отбирал у них еду. Группы все больше враждовали друг с другом, и драки эти становились все злее. Драки были у них и раньше, но тогда они начинались из-за пищи или просто для того, чтобы развлечься. Теперь обитатели свалки полюбили кровь и войну... как ремесло. Они не могли убить друг друга, на это у них просто не хватало сил, но калечили — среди них появились слепые и хромые. Это многих радовало, ибо радовавшиеся видели тех, кто был еще более беспомощен и слаб, чем они сами. Большинство из них не могло конкурировать с остальными, посему они быстро слабели и умирали.

Иногда ослабевших от голода и уже совершенно беспомощных добивали. Они почти не сопротивлялись, только слабо вскрикивали и защищали лицо и горло руками. Убивавшие делали это из удовольствия — убийство было единственным развлечением, которое они знали, когда их мысли не были заняты поисками пищи. Убийство было трудным делом, ибо убийцы были тоже очень слабы, беспомощны и неопытны. Решившиеся на такое тяжело дышали, тело их покрывалось потом, а лоб испариной, когда они, пыхтя, били свою жертву палками или пытались перерезать ей горло куском черепка. Четверо помощников сидели на ногах и руках жертвы, но рука у палача дрожала от неумения и слабости, да и кровь неохотно и лениво текла из неглубоких ран.

Сначала убивали из удовольствия, внимательно следя за всхлипываниями и чмоканьем. Глаза убийц тогда принимали осмысленное выражение, даже какая-то странная улыбка появлялась на губах. Но затем некоторые из них отведали человеческой плоти. Ночью они страшно кричали и металась по земле... Лишь Петр и Матвей не принимали участия в людоедских войнах, отбиваясь от нападавших и ожидая, когда же закончится зима.

Местные власти были равнодушны к тому, что происходило на свалке, если это, конечно, не угрожало здоровью римских граждан. Лишь однажды на свалку прибыл местный эдил. Заметив обглоданные трупы, он приказал их убрать, дабы они, разлагаясь, не отравили ядовитыми испарениями жителей города. Затем пришли рабы из города. Они, затыкая носы воском и давясь от отвращения, затолкали расплзающиеся в руках трупы в мешки, погрузили их на телегу, запряженную мулом, и увезли куда-то. Более эдилы не тревожили свалку своим появлением. Исчез куда-то и раб со своими свиньями.

Большинство из оставшихся в живых обитателей свалки покинули ее, но Петр и Матвей остались, целыми днями размышляя о всякой всячине, лежа на песке у самого моря, подложив травяной жгут под голову и слушая тихий, неспешный шепот волн, лижущих песок. И именно тут, лежа на песке, они открыли для себя великую истину. Она была очень проста: все есть ложь.

Они прекрасно понимали, что не смогут это объяснить и доказать никому, даже самим себе. Они знали, что любой философ, набирающийся мудрости в какой-нибудь деревенской школе, легко поймает их на слове и безо всякого труда докажет им, что положение это неверно в силу хотя бы того, что если все лживо, то ложью является и само утверждение о лживости всего. Он мог бы сказать им, что идея о всеобщей лживости ничего серьезного не представляет и не объясняет, такие «идеи» он может за пару сестерций в день изрекать дюжинами, а если ему еще дадут пару вареных рыб и дюжину лепешек, то и сотнями. Не говоря уже о том, что никакого практического применения этой истине нет.

Матвей и Петр прекрасно понимали всю бесполезность подобных истин для окружающих, потому не пытались ее ни с кем обсудить, тем более что и учителя давно не было рядом. Они не знали, что делает Иешуа, вспомнив о нем только тогда, когда весной решили уйти из Кесарии к Иерусалиму, чтобы там просить милостыню у тех, кто пришел в город ради Пасхи. Направляясь в святой город Иерусалим по случаю великого праздника, они не испытывали никакой особой радости даже от того, что покинули свалку. И дело было вовсе не в том, что они знали, что в Иерусалиме им придется сменить свалку Кесарии на еще более отвратительный Гиеном, нет. В сознании их произошла какая-то перемена, и все в их душе притупилось, ослабло, слабость и равнодушие разлились по всему телу и завладели ими. Они стали равнодушны ко всему, даже к собственной жизни. Они не покончили с собой только потому, что самоубийство предполагает какое-то напряжение, усилие, наконец, чувство, стремление к чему-либо, к небытию, например. Но у них не было никакого ощущения цели, никакого желания самим прервать нить жизни, они верили, что она и так прервется скоро и безо всякой помощи. А к Иерусалиму они шли по той же причине, по которой птицы каждую весну летят на север, туда, к не слишком гостеприимным болотам и лесам, а не остаются на благословенном юге. Петр и Матвей вместе с другими нищими совершали паломничество в Иерусалим каждую весну, это стало для них столь естественным, что весной они уже не могли остаться на прежнем месте, им нужно было куда-то идти. А когда они выходили на дорогу, то она по странному стечению обстоятельств приводила их к Иерусалиму; хотя, быть может, в этом ничего не было странного, ибо в такой крошечной стране, какой является Иудея, людям некуда было идти, кроме как в Иерусалим...

И вот, когда весенним утром они вышли на дорогу, то с удивлением обнаружили позади полуголую фигуру человека. Человек был страшно худ, хотя Матвей с Петром выглядели не лучше. Кожа скитальца обтягивала частокोल выступающих ребер, живот был вздут, длинные рыжеватые волосы были спутаны и украшены колючими катышками репейника и сухими травинками. Щеки впали, черты лица заострились, глаза горели лихорадочным, безумным огнем, и было непонятно, откуда у этого тела берется энергия на этот сильный лихорадочный блеск. Человек шел медленно и, видимо, был еще слабее их, но когда замечал, что отстает, он делал страшные усилия и ускорял шаг.

Приглядевшись к этой странной фигуре, Петр понял, что перед ним Иешуа. Это удивило его. Это было слабое, холодно-безразличное удивление, оно никак не отразилось на его лице — он даже не посмотрел на своего спутника, чтобы поделиться своими впечатлениями: на свалке Гиенома он стал забывать язык, разговор требовал слишком много энергии.

Так они и шли дальше — медленно, часто останавливаясь и садясь на камни, не обращая на Иешуа никакого внимания, зная, что дорога должна вывести их к Иеруса-

лиму. Присев, они подносили ко рту флягу, кое-как привязанную к тряпью, и жадно пили. У каждого из них была своя фляга, никто из них не делился с другими водой. Они знали, что смерть одного из них не произведет на оставшихся ни малейшего впечатления, они даже не замедлят шаг. Будучи абсолютно равнодушными друг к другу, они продолжали идти вместе. Иешуа шел за ними, но это им не мешало — они знали, что он не сможет идти долго и очень скоро должен отстать, упасть, лечь в пыль и умереть, поскольку гораздо слабее их.

Они и сами не верили, что смогут прожить долго, но были так слабы, что не испытывали никакого страха смерти, даже ожидая ее. Только иногда они с интересом смотрели на красноватые холмы, представляя время, когда холмы эти еще будут, а их самих уже не будет. А вокруг наступала весна, и вместе с весной розовый цвет садов и сочной зелени оттеснял злые цвета.

Крестьяне, в ожидании великого праздника, стали давать им хлеб; это был свежий, недавно вынутый из печи хлеб, запах которого они уже успели забыть. Иногда им бросали соленую рыбу и фиги, почти не порченные. И вместе с запахом и вкусом хлеба и рыбы к ним вновь пришла воля к жизни. Теперь щедушный и тащившийся за бывшими учениками из последних сил Иешуа им только мешал.

Иешуа должен был давно умереть, это избавило бы его от многих мук. Но он не хотел умирать, противился смерти и продолжал идти за ними. Каждое движение стоило ему страшных усилий и трудов, грудь его тяжело подымалась, пот, даже в вечернюю прохладу, не сходил с его лба. Он хотел жить, а для этого ему нужно было есть. Крестьяне бросали хлеб издали, и Матвей и Петр всегда оказывались впереди Иешуа, поскольку были сильнее его. Вместе с желанием жизни в них проснулся голод, они толкали друг друга, стараясь собрать как можно больше кусков, а затем, отбежав в сторону, давясь, съедали выхваченное, озираясь по сторонам.

Иешуа почти ничего не доставалось. Ночью он подкрадывался к ним, стараясь стянуть оставшийся хлеб. Его ловили и били, надеясь, что на этот раз он отстанет от них и пойдет бродить и умирать сам. Но он так и не отстал.

Чем ближе они подходили к Иерусалиму, тем жизнь вокруг становилась ярче и полней. Поля густой темной зеленью занимали все пространство по обеим сторонам дороги. Злой воспаленный цвет пустыни отступил за горизонт; там, где горы сходились с пустыней, они становились прозрачными и невесомыми. Сочная, с серебристыми отблесками, зелень олив под вечер давала тень. В сладострастном упоении звенели в траве цикады, и черные коршуны уже застыли в небе, высматривая в траве мышей и птенцов — в этом году было особенно много мышей. Коршуны падали на мышей сверху и ударом клюва пробивали им голову. По весне все наполнялось жизнью и отнимало жизнь у других, потому что таков был закон всего живого. Все торопились, ибо знали, что наступит лето, солнце начнет отнимать жизнь у зеленой травы, которая пожухнет, у кустов, которые ошестинятся злыми темно-зелеными колочками, у полей, на которых зажелтеют хлеба. . . И сейчас люди, земля и все, что жило на ней, насыщалось жизнью, уставая отбирать жизнь у других, становясь от этого на время добрее. . .

По мере того как Петр, Матвей и Иешуа подходили к Иерусалиму, они получали все больше и больше кусков хлеба, и хлеб этот был свежий и сытный. И однажды Петр почувствовал то, чего не случалось уже долгие годы — он насытился. Мало того, они с Матвеем набрали почти полную сумку — ее нашли в мусорной куче одной из базарных площадей — хлебными корками и сухими лепешками. Именно после этого они стали снисходительными, как и природа вокруг, ощутив, что жизнь их наполнена, а заветные желания исполнились. И тогда они вновь обратили внимание на Иешуа.

Иешуа удивил их, потому что он не умер, хотя и должен был давно умереть. Он так и продолжал идти за ними, выпрашивая хлеб. И вот тогда, зная, что в следующем селении снова получат много корок, они решили бросить хлеб Иешуа.

Когда они в первый раз бросили корку, Иешуа не поверил им, решив, что в него в очередной раз бросили камень, попытавшись увернуться, чем рассмешил их. Смех этот удивил Иешуа, и он поднял свои воспаленные, слезящиеся глаза, посмотрев им в лицо. Тогда-то они сказали Иешуа, чтобы он не боялся, что это не камень, а хлеб, настоящая хлебная корка, даже не гнилая, что он может подойти к ней и убедиться сам. Он испуганно посмотрел на Петра и Матвея, на красные холмы, на синее глянцевое небо и раскаленное солнце над головой — и стал есть. Это получилось у него не сразу, поскольку хлеб был жесткий, а все зубы у него давно выпали. Он попытался откусить хотя бы немного хлеба деснами, но только расцарапал десна, заскулив от бессилия и голода. Затем ему в голову пришла идея: он положил хлеб на землю и стал бить по нему камнем, разломав корку на множество мелких кусочков; он брал их шепотью и вместе с землей отправлял в рот.

Теперь, когда у Матвея и Петра сумка была полна, они кормили Иешуа каждый вечер, вскоре излечив его от голода и слабости, но не от безумия: он вновь принялся за проповеди.

Дожевав порцию хлебных корок и сухой рыбы и запив все это не особенно чистой водой из соседнего фонтана, он вставал на середину рыночной площади, утопая по щиколотку в мягкой, пушистой и теплой от солнечного тепла пыли, рядом с греющимися в пыли собаками (собаки не обращали сейчас на него никакого внимания, как будто его и вовсе не было), и начинал кричать визгливым фальцетом куда-то в сторону, обращаясь к воображаемой толпе:

— Я есмь... кто войдет со Мною, тот спасется... и выйдет, и пажить найдет... Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступит время, и настало уже, когда мертвые услышат глас сына Божия и, услышавши, оживут...

Он говорил, что во веки веков не рождался еще никто подобный ему, что все цари по сравнению с ним не более, чем мелкие твари, мошки, живущие только миг. Он же имеет жизнь вечную, он волен давать и отнимать ее у кого пожелает. Он также говорил, что Бог создал и Адама, и всех праотцев, все царства, что были до Него, а нынешние только для того, чтобы породить Его, венчая Им дела творенья Своего. Он говорил, что все люди, до Него жившие, умерли, и те, кто будут жить после, умрут, но Он и те, кто уверует в Него, не умрут, обретя жизнь вечную.

Он говорил много странных слов, и слова его были озлобленными, как и голос его, хриплый и бессильный. А озлобленным он был потому, что никто не слушал его. Люди, слышавшие его слова о том, что он сын бога, что он не умрет, что даст тем, кто уверует в него, жизнь вечную, плевались в его сторону и отворачивались, шепча молитву. Никто даже не бросал в него камней. Крестьяне, идущие поутру на поле, смеялись над ним, иногда жалея и бросая ему хлеба. Женщины приносили ему воду и, следя, как он пьет из треснутой глиняной чашки, горестно качали головой, но и они не слушали его. Слушали его только дети, собаки и привязанные к колонам ослы с засиженными мухами грустными безжизненными глазами.

Слушали его и Петр с Матвеем. Они совсем уже окрепли, иногда нанимаясь батраками, так что даже скопили немного денег, на которые решили открыть в Иерусалиме школу грамоты, где будут учить всему понемногу — писанию, греческому, латинскому и философии. Они были вовсе не против того, чтобы Иешуа проповедовал разные глупости, обещая, что никогда не умрет. Эти заверения их весьма забавляли, ибо, глядя на его маленькую, усохшую безумную фигурку, они понимали, что как раз он и должен будет вскоре умереть, умереть гораздо раньше их самих.

По дороге в Иерусалим все чаще и чаще видели они, как, тяжело ступая коваными солдатскими калигулами на толстой подошве, шли им навстречу в полном вооружении римские когорты, шли глухо и тяжело, отчего путники испуганно сворачивали на обочину, хотя никто и не требовал, чтобы они сошли с дороги. Шли солдаты с

напряженными и усталыми лицами, проезжала арабская конница и вспомогательные отряды стрелков на верблюдах. Стрелки с колчанами стрел и дротиков у седла сидели между горбами верблюдов, и их остро пахнущие потом ноги оказывались на уровне лиц пехотинцев.

Несколько отрядов направлялись в Кесарию, один из них расположился лагерем у дороги. Они не заметили римлян в темноте и отпрянули, только услышав хриплый голос часового. Потом они увидели другой отряд, он шел в обратном направлении. Когда солдаты проходили мимо них, Матвей и Петр всматривались в их лица, не понимая, зачем происходит это странное передвижение солдат из Кесари в Иерусалим и наоборот, почему такие злые насупившиеся лица у офицеров и почему солдаты должны были идти по такой жаре в полном вооружении.

В одной из деревень, нанявшись побатрачить на день, они спросили у своего хозяина об этом странном передвижении войск. Он ответил им, что толком и сам не знает, но слышал, что дело здесь государственной важности, что-то произошло в самом Риме — и даже с самим цезарем, «да пусть хранит его всевышний»; на этих словах он запнулся и, посмотрев исподлобья, перестал говорить вовсе. Он отправил Петра и Матвея спать на крышу, там, где сушил зерно, постелив им несколько старых мешков и немного сена. К ним, крадучись, пробрался и Иешуа. Он был тих, молчалив и чем-то напуган, улегшись и свернувшись калачиком почти на самом краю крыши. Петр бросил ему мешок, чтобы тот укрылся. Ночь была теплая и ясная, и звезды, крупные и яркие, хорошо были видны на небе. Петр подложил руки под голову и, глядя на звезды, стал думать о том, что все-таки произошло в Риме, почему суетливо и тревожно гонят в Иудею солдат, зачем несутся в разные стороны всадники на взмыленных лошадях, и вскоре заснул.

Утром они поднялись еще засветло и, прошагав весь день, к вечеру добрались до придорожной харчевни. У них было немного денег, потому они решили, что на этот раз проведут ночь не во дворе, а на настоящих кроватях. Даже Иешуа хозяин по какой-то странной причине разрешил спать внутри, так что тот завалился на старую дерюгу, расположенную у очага, мгновенно уснув. Он спал на спине, широко разбросав руки, и тяжело дышал, иногда скрипя зубами и бормоча какие-то бессмысленные слова. Бормотание Иешуа не мешало его спутникам, заказавшим себе приличный ужин: зелень, мясо и даже немного кислого дешевого вина.

Солнце медленно заходило, это было заметно по окнам, затянутым бычьим пузырем: багровые, жаркие от солнечного тепла краски на них стали остывать. Петр и Матвей собрались было направиться на ночлег — хозяин отвел им комнату на самом чердаке, маленькую, но дешевую конурку — как вдруг в дверях послышалось бряцание, тяжелый и грузный топот множества ног, а затем и властный стук в дверь. Стучали не кольцом, прибитым к двери, как это делали все постояльцы, даже не кулаком, что случалось с пьяными пастухами, а каким-то тяжелым предметом, да так, что дверь заходила ходуном. Хозяин вскочил с колченогого стула, где до этого клевал носом, растопырив красные мозолистые ладони и посапывая, схватил стоявший у очага топор с лоснящейся рукояткой и зазубренным лезвием и опасно двинулся к двери.

— Открывай! Именем великого цезаря, открывай! — раздалось оттуда на ломаном греческом. По злому и решительному тону можно было понять, что человек за дверью очень нетерпелив.

Услышав слово «цезарь», хозяин отодвинул засов, продолжая держать в руке топор. Дверь сильно толкнули. Она широко распахнулась, и в зал ворвался центурион. Туго зашнурованные, доходящие почти до колен солдатские калигулы были покрыты пылью, толстый слой пыли лежал на кожаном панцире, на золоченой бляхе и металлическом круглом шлеме; пот и пыль разрисовали лицо центуриона странными узорами, так что оно было красным, с серыми кружочками и затейливыми полосками на щеках. С недовольным видом он оглядел хозяина таверны, как будто тот

был виновен в том, что центуриону пришлось со своими людьми в полном вооружении тащиться по страшной жаре неизвестно для чего. Так как его центурия была в передовом охранении, он должен был идти впереди основного ядра легиона. Он знал, что это еще не конец сегодняшнего дня, ибо, прежде чем остановиться на ночлег, они должны будут создать укрепленный лагерь: вырыть ров, насыпать вал, поставить частокол — все как полагается. А то, что на это потребуются еще несколько часов работы, что у его людей нет сил, что несколько человек потеряли сознание по дороге, что ему приходилось подбадривать солдат тычками (он не любил так поступать, ибо солдаты злопамятны, они могут вспомнить об этих затрещинах в бою, когда удар от своего меча не отличишь от чужого) — на это всем наплевать.

— Что нужно вам, господин? — спросил офицера испуганный хозяин, наклонившийся в почтительном поклоне.

— Что нужно? — центурион зыркнул глазами. — Ты разве не знаешь, что получена достоверная информация, — на этих словах центурион сделал ударение, — что в Иудее готовится мятеж, мятеж против цезаря?

— Цезаря?!.. — от страха и удивления хозяин даже немного присел.

— Да, цезаря, — продолжал центурион. — Поэтому мне приказано немедленно хватать всех подозрительных, кто шляется по дорогам.

— Подозрительных... — промямлил, запинаясь от страха, хозяин. — Но у меня нет никаких подозрительных... Я предоставил ночлег бродяге, но он, я в этом уверен, не может представлять опасности для цезаря.

— Бродяга?! — насмешливо гаркнул центурион. — Покажи-ка мне его!

Хозяин, руки которого тряслись от страха, показал на спящего Иешуа, после чего тот был немедленно схвачен, исчезнув в темноте вместе с центурионом и его отрядом.

По пути в Иерусалим Матвей и Петр долго размышляли о том, зачем римлянам понадобился Иешуа, но так и не пришли к какому-то осмысленному выводу, не находя рационального объяснения происходящему. Впоследствии они были крайне удивлены, когда узнали, что Иешуа кончил свои дни на кресте. Они полагали, что его наверняка отпустили бы, если бы он — а в этом они не сомневались — не объявил бы себя «царем Иудейским» или кем-то вроде этого. А тут, разумеется, прокуратор должен был действовать решительно, да и жители Иерусалима не желали никаких хлопот, предпочитая, чтобы прокуратор разделался с этим безумцем. Так что винить Иешуа должен был только самого себя.

Жалел ли Петр Иешуа? Конечно, в разговорах с Матвеем — а они расстались вскоре после вестей о смерти Иешуа — Петр говорил, что жалеет. Но на самом деле никакой жалости у него не было. Собственно, почему он должен жалеть кого-то? В этом мире никто не жалел его, никакой справедливости сам он никогда не видел. Ведь столько добрых людей вокруг умирало в нищете и муках, когда злые, нечестивые и глупые наслаждались полнотой жизни в почете и достатке.

Иов отметил все это уже давно. Только разница между ним и Иовом была в том, что Иов не мог понять и примириться с этим, все вопросы адресуя богу. Иов думал, что бог осознает свою ошибку — полагая, наверное, что бог может ошибиться — и благословит Иова. И благословение это будет вовсе не каким-то особенным — мудростью и божественным откровением, умиротворением души, но прозаическим: Иов получит многочисленные стада и иные богатства, будет у него красивая жена, дети здоровые, умные, почитающие родителей и тоже счастливые; и уйдет он из мира этого во сне столетним старцем.

Иов положительно был глуп, если надеялся на все это и на божественную справедливость. Он-то, Петр, прекрасно знает, что нет никакого бога; сначала он ужаснулся этой мысли, предполагающей, что надеяться ему решительно не на кого, но затем быстро примирился с ней — посему не может быть никакой надежды на справедливость. И нет никакой жалости в этом мире, и жалеть никого не следует;

может быть, не следует жалеть даже самого себя — жалость к себе мешает человеку спокойно ждать старости (если, конечно, ты доживешь до старости) и смерти. Да, несомненно, Иов был глуп, ожидая какого-то благословения и справедливости.

После смерти Иешуа, после того, как он сам расстался с Матвеем, Петр провел некоторое время в Иерусалиме, продолжая нищенствовать. Иногда он думал, что, может быть, ему следует возвратиться к своему старому занятию и ловить рыбу в Кинерете, но понял, что после стольких лет странствований он отвык от труда и не сможет заниматься ничем, кроме попрошайничества и, может быть, проповедования.

Однажды вечером он стоял на одном из холмов, окружающих Иерусалим, и думал о том, что ему делать. Он оказался скверным попрошайкой, потому что ему почти никто не подавал, и жилось ему еще хуже, чем при Иешуа; он, видимо, не выглядел сирым, да и канючил он тоже не слишком убедительно, потому его обходили стороной. Было ясно, что он должен зажечь их какой-нибудь проповедью, идеей, которая привлечет к нему людей. И тут он вспомнил о прежнем учителе, подумав, что тело его, наверное, давно уже сгнило, рассыпалось, превратилось в прах. Скорее всего, он долго висел на кресте; дикие птицы и звери не брезговали его мясом, а насекомые превратили его в белый скелет, который затем рассыпался и упал к подножию креста. Ведь римляне полагали, что смерть преступника — а они явно считали его опасным бунтовщиком, если распяли его — должна быть не только мучительной, но и назидательной для прохожих...

Затем он стал вспоминать то сокровенное, что пытался донести Иешуа до учеников — его мысли о смерти и жизни. Само желание жить ничем не объяснимо, оно противоречит разуму; недаром какой-то греческий философ или мудрец заметил, что «лучшее благо для смертных — вовсе на свет не рождаться». Петр вспомнил свою жизнь, жизнь Иешуа и множество других жизней: все они свидетельствовали, что мудрец был совершенно прав — жить не стоило. Об этом говорили и другие мудрецы. Они же, эти мудрецы, также указывали, что любая жизнь должна оканчиваться смертью. Но люди продолжали жить, они продолжают жить даже тогда, когда жить не стоит. Какая-то сила заставляла людей жить, мешая относиться к смерти, как к избавительнице; хотели жить вечно не только молодые, но даже древние старцы, которые давно насытились днями своими. И если не все, то значительное большинство людей мечтало о бессмертии, но все известные ему учения мало что могли предложить в утешение жаждущим. У греков добрые и злые, без разбора, отправлялись в Аид — царство мертвых. «В смерти мне Одиссей, утешение дать не надеюсь»... У египтян было бессмертие, можно даже утверждать, что египтяне относятся к тем народам, которые о бессмертии думали больше, чем кто-либо другой, ведь их фараоны начинали строить свои гробницы-усыпальницы сразу же после воцарения на престоле. Но с египетским бессмертием была масса проблем. Во-первых, это было крайне дорогостоящим предприятием: египтяне полагали, что душа человека не может жить без тела, потому тело необходимо было сохранять, мумифицировать. Превращение тела в мумию было не всем по карману, но еще более дорогими были саркофаг и сама пирамида, которую строила вся страна в течение десятилетий. Бессмертие при этом обещалось лишь одному владыке, кроме, может, еще дюжины его придворных и любимых жен. Во-вторых, бессмертие прямо увязывалось с сохранением мумии, а это создавало дополнительные проблемы. Известно, что ни могучие пирамиды, ни хитроумные захоронения в скалах не спасали мумии от разбойников и вандалов, так что большинство гробниц оказались разграбленными.

У евреев не было особой веры в бессмертие. О бессмертии праотцев ничего не сказано; в Писании говорится, что Авраам умер и «отошел к предкам своим», то же случилось с Исааком и Иаковом. И пророки ничего о бессмертии не писали. Было лишь одно исключение у пророка, находившегося в долине, которая была полна сухих костей. Бог был тут, спросив пророка:

— Есть ли надежда у этих костей?

И пророк ответил:

— Ты знаешь это, Господи.

Тут бог сказал, что соберет эти кости и оденет их в плоть, и они снова будут жить. Но нигде больше о воскрешении не сказано, да и свое обещание бог, похоже, не исполнил. Понятно, что всех воскрешать было бы ни к чему, но можно же было воскресить сотню-другую, да хотя бы десяток, но таких примеров не было, так что иудейская религия ничего в этом плане не обещала...

В связи со всем этим, решил Петр, идея Иешуа представляет особый интерес.

Во-первых, Иешуа обещал бессмертие всем — от императора до раба. Во-вторых, а это было главное, ничего это воскресение, в общем-то, для желающих не стоило, нужно было лишь верить в Иешуа, верить в то, что он — бог. И всю мировую историю нужно делить на два периода — то, что было до Иешуа, и то, что будет после. Это Петру показалось особенно забавным, но он подумал, что у него нет другого выхода, что ему нужно как-то кормиться, а на обычном попрошайничестве он долго не протянет. Подумав обо всем этом и решившись на будущие перемены в собственной судьбе, он завернулся в плащ и заснул на желтоватом, спекшемся прахе холма, на частичках мириадом истлевших до него живых существ...

Я открыл глаза. Была ночь, а я оказался очень недалеко от старого города с его арабским населением — тут можно было нарваться на большие неприятности. Никакие автобусы не ходили, лишь с большим трудом мне удалось поймать такси. Запрашиваемая цена была воистину фантастической, но у меня не было другого выхода. Я быстро залез в машину, ежась от холода, и машина нырнула в беспредельный, вечный океан ночи.



Вера ЗУБАРЕВА

ЛАМПА И ЛУНА

* * *

Холодный Christmas брезжит вдалеке.
Взрываются дыханья нараспашку,
И держит ветка в скрюченной руке
Нескапнувшую каплю, как стекляшку.
Застывший воздух, будто полимер,
Чьи звенья составляют зданья, люди,
Ползет на юг,
Проклюнувшись из сфер
Циклона.
Приготовившись к простуде,
Краснеют неба влажные белки,
И на стволах ажурные чулки
Натянуты насмешливо и гладко —
В ответ на выражение тоски
И мнительности
Высшего порядка.

* * *

...А в глубине — зима,
Дремучая, как елка,
Где на ветвях шары
Качает завируха,
И если не мигать,
Их делается столько,
Что всех пересчитать
Уже не хватит духа.

А на ветвях шары —
Крутящиеся земли,
Облитые стеклом
Лиловых океанов.
И кто на них живет,
И хорошо,
И всем ли —
Уже вопрос иных,
Второстепенных планов.



Дающее толчок возникновению вьюги
 Качание шаров —
 Вот это основное.
 Как образ бытия — полифония фуги
 С подвижных голосов
 Магической кривою.

* * *

Морозный день.
 Повален навзничь
 Жук, недоползший до тепла.
 Застыл хрусталь его крыла,
 И отодвинут только на ночь
 Год от последнего числа.
 Успеть всему сказать: «Прощай!»,
 Успеть заметить дальнозорко:
 Блестит исклеванная корка,
 Лоснится лужа, как лишай,
 На вмятом черепе пригорка.
 Как будто мир идет на спад —
 Так мелочи к нему припали.
 И посвящен до ночи взгляд
 Не целостности, но детали.

* * *

Эх, нет бумаги, нет бумаги...

Мультфильм «Снежная Королева»

Звонят или показалось? Снимаю трубку.
 Молчание. Снег посыпал из тучи.
 Это ты звонил? Подставляю руку.
 Тают обрывки. Письмо получено.
 Эх, нет бумаги, нет бумаги, Старая Финка!..
 Туча явно ошиблась адресом.
 Эта сказка зачитана уже до конфликта
 Между мной и Андерсеном.
 Намело. Ничего не видать от ветра.
 Я и снег в крошечном безлюдье.
 Мчится, мчится безумная Герда.
 В доме — как в юрте.
 Всё банально в этой нехитрой сказке.
 Кай от Герды с другой умчался.
 Эх, нет бумаги, нет бумаги для новой развязки!
 Ту, что сказочник подарил на счастье,
 Унесло метелью. И листает ветер
 Пустые страницы. И стекленеет
 Рыба с надписью: «Помоги Герде».
 Кто ей поможет! Кругом — метели.
 Книга покоится под вечною мерзлотою.
 Небо мечется в северных всполохах.
 Сны о вечности... Он ушёл за тою...
 Два осколка застряли в нём... Два осколка...



Завывает, как нескончаемые поминки.
Мчится Герда. Лучше ей не перечить.
Пусть уводит его, Старая Финка!
Всё равно он украдкою сложит «вечность».

* * *

Я гладила зверя лесного.
Смещалась луна с оси.
Ныл воздух на грани раскола.
Мы оба сбились с пути.
Край ночи был косо оторван
От освещенной черты.
Как с забинтованным горлом,
Стояли в снегу кусты.
Зверь нервно ходил полукругом,
И снег закипал, как пунш.
Я решила стать ему другом
И делить с ним дикость и глушь.
Я шепнула, будто к железу,
Примерзая к воздуху ртом:
«Покажи мне дорогу к лесу!»
Он взглянул сквозь зрачков завесу:
«Покажи мне дорогу в дом!»

* * *

Уже все звёзды снегом занесло.
Белеют строго памятники улиц.
В календаре последнее число
Так и осталось. Всё, что после — сдулось.
Не дышит больше время на часах,
И бьются облака в стеклянной сфере.
На половине день, застряв, иссяк,
И мысль застыла на полупотере.
Царит окоченевшее «почти».
Так обрывает смерть на полуслоге.
И ты замрешь ко мне на полпути.
И я замру к тебе на полдороге.

* * *

Это не ты,
Это я в твоём облике сама себе снюсь
Там у входа,
Где даты жизни скрестили копыя как стражи.
— Это — к снегу, — бормочет мне опыт,
И множится грусть,
И растут облака,
И становится небо многоэтажным.
В каждом слое
Скрываются чьи-то черты.
Я на блоки небес натыкаюсь в кромешном безлунье.



— Это — к снегу, — шепчу твоим голосом, будто бы ты
Мне и вправду явился, а не выплакан был накануне.
Снятся души в преддверье снегов,
Как актёру — игра
На зеркальных подмостках,
Где всё лишь его лицедейство.
Ночь *сегодня* — длиннее, чем солнце *вчера*.
Сны даны, чтоб во тьме удержать равновесье.
Что без них?
Ограниченной жизнь, безграничнее смерть,
Запределность — лишь химия облачной стужи.
В твердь земную врастает небесная твердь,
И чем дальше от мира бессмертных, тем глубже.
Бог ушёл со страницы...
Зачем ты Его опроверг?
Кто теперь надо мной и тобой в этом небе бумажном?
Кто с вершины грядёт? Только — снег. Только снег.
Надо мной и тобой.
И над каждым и каждым.

* * *

Там город за окном — обледеневший, чёрный,
Как пращур городов цветущих и живых.
Зачёркивает тьму
Над тяжкой снежной кроной
Искрящих проводов молниеносный штрих.
Я слушаю, как всё
Ломается и стонет,
Как будто стала смерть
Немыслимым трудом,
Как будто город — миф,
А ночь — рубеж историй,
А свитком буду я,
А манускриптом — дом.
Скрипит какой-то ствол,
Отторгнутый корнями.
Он пал — как человек,
Хотя и рос — как ствол.
И что за новый смысл
Открылся в этой драме?
И был ли в этом смысл,
Иль только — произвол?

* * *

Новый год подступает ко мне.
Словно к горлу колючий комок.
И со мною почти наравне
Опечален Рождественский Бог.
Никакого не нужно тепла.
Никакого не нужно стола.
Если б мне хоть немного свободы,

Я б в лесу эту ночь проспала
Среди белых гигантских ветвей
Или, может быть, возле корней,
Как медведица или как птица.
Это было бы лесу видней.
А на утро пришла бы к тебе —
Ничего б не случилось со мной.
И опять, как ни в чём не бывало,
Я бы стала твоею женой.

* * *

И взметнётся висок, и замрёт небосвод,
И закончится день и третий, и пятый,
И просыплется снег, и разгладится в лёд.
Ни следов от земли — только белые пятна.
Это зимней вселенной надлом-перелом,
Это выход тепла за его же пределы,
Это память о чём-то былом-небылом,
Что ушло, и стались одни лишь пробелы.
Это что-то ещё — замиранье, отбой,
Торжество средоточия вечных вопросов.
Это то, что не ты. Это то, что с тобой —
Переход в неподвижность
Из снежных заносов.

* * *

Людмиле Шарга

У нас метель...

Из переписки

Как я хочу в твою метель!
Там то ли вьётся, то ли снится
Разорванная в снег страница —
Раздумья облачных недель...
Здесь — только лампа и луна
Во всём большом квадрате ночи.
Я думаю, что я одна,
Ты думаешь, что ты одна,
И сумма наших одиночеств
Кому-то третьему видна.
А улица стремится вверх...
А может быть, мы просто смотрим
Туда. И скрытых звёзд акроним
Приходит к нам сквозь ночь и снег.
И сумма одиночеств — в нём,
И жизнь, что скачет по синкопам.
И думаем мы об одном,
И смотрит в вечность астроном
Несовершенным телескопом.

Алесь ПАШКЕВИЧ

СИМ ПОБЕДИШИ

Роман-парабола*

4.

Три дивизии воздушно-десантных войск в конце лета были спешно передислоцированы к границе Горно-Косовской автономной области. На усиление им перебрасывались одна танковая и две мотопехотные бригады. Время «Ч» было назначено на 04:00 1 сентября, а общее руководство сводной группировкой взял на себя президент, по конституции — главнокомандующий вооруженными силами страны. Словом, правитель, хоть какие-то недомерки и не хотят принять этого... Ничего, он заставит их слушать — и не только за столом!..

Это была уже третья боевая операция. Предыдущие не достигли нужного результата: сепаратисты и бандформирования обходили блокпосты и, нападая на армейские части и соединения, растворялись в горной «зеленке» по известным только им тропам — никакие «Грады» не могли их оттуда выбить. Вот и пришлось президенту отбросить все государственные заботы, покрыть на совещании генералов матами — и браться самому тушить горный пожар. Еще два года назад и в страшном сне он не мог представить подобного: автономная область, восемьдесят восемь процентов жителей которой на выборах проголосовали за него, а руководство на каждой встрече уверяло в верности, восстала против центра! Решила обособиться, поиграть в независимость!

Первый тревожный звонок прозвучал не от спецслужб. Позвонил сам руководитель Горно-Косовской области Гордынов и, между прочим, стал плакаться о внутренних трудностях, сепаратных и протестных настроениях, малочисленности силовых и правоохранительных структур и бедности их технического обеспечения.

Что ж, надо так надо. Выделили ему и дополнительные бюджетные средства, и новейшую спецаппаратуру, оружие подбросили, налоговыми послаблениями наделили... Успокоилось все почти на год, а затем — как гром с горы: депутаты-областники не без подачи Гордынова провозглашают суверенитет и независимость своего края! Отъелись, словом, и голову подняли! И как не поднять, коль у них на деньги центра были открыты и разработаны богатые нефтяные месторождения... Дальше ума не требовалось — бери да продавай готовое!

В тот же день президент вызвал Гордынова к себе на разговор. Крутился тот как уж, но все же выехал, опоздав на аудиенцию на два часа и заявившись в шортах и

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2013, № 7.



бейсболке. словно не только нутром, но и внешним видом твердил свою независимость, а то и пренебрежение к высшему лицу. Да и ко всему государству, некогда вытаскивавшему его из каменной глухомани, обучившему и одевшему в генеральскую форму. Он, видите ли, о национальной идентичности и чести предков вспомнил... Еще один мессия выискался!..

Президент, не пряча раздраженности, вместо приветствия кисло возмутился:

— Ты б еще ко мне в трусах приперся! Горный ветер из головы все понятия о субординации выдул? Я тебе президент или кто?!

Гордынов спокойно осмотрел собеседника — казалось, даже ироничные огоньки пробежали по зрачкам цвета венге — и заговорил однотонно, как по писаному:

— Со дня принятия Народным собранием Горно-Косовского края «Декларации о независимости» вы, Иван Владимирович, не являетесь для его граждан руководителем. Утратила для нас силу и прежняя конституция, навязанная вашим центром...

Он еще хотел что-то сказать, но крик перебил его:

— Во-о-он, сукин сын! Я с тебя не только труссы, но и кожу спущу!..

— Не забывайся, майор, что с генералом говоришь, — снова спокойно, но с грозной уверенностью ответил Гордынов. — В любое время готов встретиться с тобой на дуэли. Если, конечно, найдешь мужество...

— Во-о-он!!!

— Я так и думал, что не найдешь...

Гордынова арестовали еще в здании администрации, но, видно, такой сюжет был просчитан, и его сторонники, контролировавшие вооруженные и правоохранительные силы автономии, в тот же день захватили около сотни жителей соседнего района, потребовав обмена. Ради наведения порядка были брошены части внутренних войск, но попали под шквальный огонь уже подготовленной обороны и отошли.

Спешно был созван Совет безопасности, члены которого разошлись поздней ночью с каменными лицами. А утром столица содрогнулась от страшного взрыва. Информагентства возбужденно транслировали ужасающую новость: террорист-смертник на автомобиле с регистрационными номерами Горно-Косовской области протаранил ворота Министерства внутренних дел и взорвал первый подъезд здания. Среди служащих есть жертвы. Государственному строю брошен вызов коррумпированными террористическими кланами, рвущимися к власти...

Вскоре на повстанческую столицу было организовано новое наступление, но и оно стало безрезультатным: танковая армада разрезала линии обороны бандформирований, но на городских улицах оказалась неповоротливой и вынуждена была отступить. Шокировали потери «централов» — урон нападавшим был нанесен современным оружием, еще недавно вагонами перевозимым в автономию из того же центра ради «стабилизации обстановки в регионе».

— Достабилизировались, мать вашу... — Мороза разрывала злость. Он ежедневно устраивал нагоняи армейскому командованию, однако Гордынова вынужден был обменять на заложников, возглавив третью попытку восстановления конституционного строя в Горно-Косовской области.

— Бог любит троицу, — словно сам себе пробурчал он и приказал начинать передислокацию...

Как только солнце первого осеннего дня выглянуло за шапки гор, два гвардейских полка мотопехоты перешли границу автономии. Не встретив сопротивления, они по главной магистрали двинулись к областной столице, но назначенный начальником оперативного штаба временной группировки Керзон упрямил главнокомандующего их остановить.

— Не нравится мне это спокойствие... Как в ловушку затягивают! — Керзон выглядел напряженным и сосредоточенным. Казалось, близость пороха омолаживала и бодрила его. — Как бы не нарваться на засаду. Похожее в Афгане пережил — досель не забуду...



Главнокомандующий хмыкнул и поддержал Керзона. А тут и солнце словно передумало подниматься — с севера надвинулись тучи, полил дождь.

В авангард отправилась десантная разведрота, которая добралась до Черанского ущелья, где вынуждена была вступить в неравный бой с противником и погибла.

Дождь и пасмурная погода не способствовали спутниковой разведке, и наступательные действия остановились. «Централы» по всем возможным каналам распространили обращение президента к мирным гражданам Горно-Косовской области с предложением к десяти часам утра оставить регион боевых действий, ради чего на границе с автономией открыты четыре пропускных пункта. Местным исполнительным властям приказывалось способствовать в том детям, инвалидам, женщинам и больным. В противном случае центр не гарантировал безопасность населению и слагал с себя ответственность за возможные потери во время восстановления конституционного строя.

Сутки прошли в тревожном ожидании. Снова на горы выкатилось солнце — и уже не пряталось за тучи. Не обращая внимания на небольшое количество беженцев и немногочисленность на пропускных пунктах, был дан приказ на новое наступление. Небо вспороли десятки боевых самолетов — и за полчаса столица автономии превратилась в руины. Точечную бомбардировку перенесли на ущелье, где, по донесениям спутниковой разведки, находились повстанческие базы. В то же время прямым ракетным ударом был уничтожен Гордынов — вместе с БТР, в котором находился. Повстанцы остались без своего командира-вдохвителя и после длительных атак десантных подразделений вынуждены были или погибать, или отступать.

Шестое утро «централы» встретили в отвоеванной столице автономии. На площади готовилось общее построение. Разбитый Дом правительства шаг за шагом обсыпали саперы, после чего на его балконе в форме цвета хаки с несущестствующими в армейских уставах погонами появился сам президент и перед десятком телекамер объявил об окончательном установлении мира и порядка. В тот момент за его спиной возникла молчаливая тучная фигура премьер-министра Сысанкова с аккуратно сложенным государственным флагом.

— Владимирович, — тяжело дыша, прошептал он еле слышно, — как последний штрих... может, почетно водрузишь над домом?

Президент попробовал улыбнуться; поиграв желваками, провел пальцем по губам, словно освобождая их от жестких усов (так делал, когда волновался), и, довольный, кивнул головой. Премьер бодро указал ему на ступеньки к флагштоку.

Вскоре на возвышении зареяло голубое полотнище с красной звездой посреди — с год тому утвержденная государственная символика. Прежняя, голубая, с солнечным кругом, после всенародного референдума была объявлена националистической и запрещена.

«Вот она, звезда нашей победы... — пафосом наполнялась душа президента. — Как и в прошедших войнах, она — сверху. И пусть теперь роликовы и их подпевалы долдонят о какой-то там символической абсурдности — мол, на небесной синеве должно быть солнце, а звезды видны только на фоне ночной темени... Побеждали и будем побеждать!..» — он взглянул на панораму разрушенного города и почувствовал какую-то предательскую тоску. Тревожные муравьи пробежали по телу, терпкая волна подкатила к груди, и он, проникновенно взглянув на Сысанкова, с дрожью в голосе промолвил:

— Тут соорудим музей! Музей национального траура и примирения. Иobelisk — в память о погибших...

Через три часа вертолет доставил президента в Воронику, где он, отходя от пережитого напряжения, долго, до изнеможения, плавал в бассейне, а потом во время легкого ужина включил телевизор. Главный заграничный информационный канал NBC надрывно освещал события в Горно-Косовской области. Мелькали кадры с ранеными, панорама руин, бронетехника, самолеты, взрывы... И голос диктора по-английски с синхронным переводом в титрах:



— Диктаторский режим Мороза, для которого чуждыми остаются принципы свободного общественного обустройства, демонстративно проявил свое деспотическое лицо. Прикрываясь демагогическими лозунгами о восстановлении конституционного порядка в стране, он начал новую войну и ради сохранения и усиления своей железной власти пошел на убийство тысяч людей, — и в экране замелькали кадры с окровавленными стариками и детьми.

Президент скрежетнул зубами и раздраженно бросил пульт на стол. Вдруг включился столичный телеканал, на экране щебетал молодежавый желтоволосый журналист с кривым перебитым носом:

— «Век живи — век учись», — гласит народная мудрость. Учись жить и воевать. Раньше это давалось проще: обидел кто-то кого-то — кулаками или мечами постучали, разошлись. Теперь все страшнее. После войны обычной начинается война информационная. Она превращается в мировую и диктует, навязывает обществу свои принципы и своих победителей...

Президент сморщил лоб, прикусив вместе с усами губу, и откинулся на спинку кресла, чтобы послушать отечественного телекомментатора; артистично играя паузами и ударами, тот уверенно жестикулировал тонкой ладонью с зажатой в ней ручкой, возвышая голос и вещая дальше:

— Все вы, уважаемые зрители, вчера-сегодня сами стали невольными участниками той очередной мировой информационной войны, войны без правил и человеческой логики. Нараспев голоса купленные газетенки, радиостанции и телеканалы (как, скажем, тот же NBC) о спецоперации наших войск в Горно-Косовской области. И войной против своих граждан, и геноцидом, и кровавой резней, и бешенством деспотического режима они называют все происходящее... Послушаешь — и остается только затянуть удавку да повеситься! И такие все правильные, гуманные, все такие сахарные человеколюбцы... Но о правде там некому заботиться. Главное — не зная справедливости установить, а белое посыпать грязью и черное назвать белым... — Несколько секунд мигала нарезка с заграничных информсообщений, после чего снова продолжился комментарий. — Вот они, настоящие бомбовые удары по нашей психике и нервам! И те, кто давал команду на ту «бомбардировку», не видят бревен в глазах своих начальников и работодателей, не замечают настоящих захватнических войн, которые разожгли и разжигают в мире за сферы влияния их правительства! Недавно войска евроальянса разбомбили бывшую Югославию. Уничтожили тысячи мирных жителей, тысячи домов... — Пошли кадры из хроники: разрушенные города и деревни, искалеченные дети, довольные толстолицые иностранные военнослужащие... — Так и не терпится спросить: что бы сделали руководители заграничных правдуробов на месте нашего правительства?.. Годами дотационная область монолитной страны, только и знающая, что сосать наши бюджетные средства, взяла и объявила себя самостоятельной! А ее князьки самоназвались царями! В каком заграничном свободном штате такое возможно?! Да им бы сразу головы скрутили! Спросим, что бы делали наши горе-учителя?.. Спросить можно, но вот услышат ли они правдивый голос? Разрешат ли им открыть глаза и уши правде, правде святой и страдальческой? Ответ, разумеется, отрицательный. Но главное, чтобы это услышали все мы — и объединились под общими знаменами! Думайте и анализируйте! Мира вам и спокойствия!

Президент довольно хмыкнул.

— Кто такой? — кивнув на экран, спросил он у Жокея.

— Иван Федоренкин, сын министра спорта.

— А нос кривой чего? Боксом занимался?

— Не знаю... — заморгал помощник. — Он недавно на ТВ. Кажется, неплохо получается... — Помощник насторожился и не отводил от президента глаз.

— Что значит «неплохо»?.. — Большие ладони хлопнули по кожаным подлокотникам пухлого кресла. — Отлично! — Президент встал, выпил бокал красного вина, помолчал и выпалил: — Поддержать этого Федоренкина! Поддержать от моего име-



ни! Ну и денег ему, сценаристов лучших, операторов... Пусть срочно сделает несколько спецфильмов. Сам понимаешь, о чем именно.

— Понял! — Все тело помощника враз налилось бодростью и решимостью. — Вы правильно чувствуете — в телевизоре заключена громадная сила, превосходящая и бомбы, и танки! И если все грамотно обставить...

— Иди работай, стратег... — прервал его властный голос. — Все вы задним местом умны... И к торжествам по случаю победы над сепаратистами и террористами готовьтесь! А то снова уснете на лаврах...

В то время в кабинете Николая Заяца, где тоже мигали телекадры, зазвонил телефон (секретарша давно ушла домой).

— Алло... Алло! — тревожно послышалось в трубке. — Господар Заяц?

— Да... Слушаю вас.

— Янкович, Богдан Янкович. Помните, когда-то на конференции в Подгорице встречались?

— Да-да... — машинально ответил Заяц, скрывая удивление.

— Уже третьи сутки пытаюсь до вас дозвониться... Узнал, что занимаете высокую должность...

В ответ — недоуменное молчание.

— Так вот, как вы знаете, целый месяц мою страну бомбили новые волки евроальянса. И опять, как и во времена святого Петра Цетиньского, ваши цари позабыли о своих единоверных братьях. А вместо поддержки — сами влезли в войну с согражданами... Но я не о том... Нас истребляют современные визири, но мы с Божьим словом и верой выдержим! Я... — в трубке защелкало, и несколько фраз было не разобрать. — ...Интересовались Евангелием от Иоанна. Его сберег народу своему святой Петар... Не продал купцу из Боки, как наговаривали... — Снова щелчки-помехи. — ...Постановили книгу вам передать. Такое решение приняли братья-иоанниты... Отец мой, царство ему небесное, был их другом... Верим, что книга поддержит вашу страну и отведет от бездны... Словом, а не бомбами победим!.. — Что-то хрустнуло, и послышались краткие мерцающие гудки — словно озвученный медицинским аппаратом тревожный пульс хозяина кабинета.

V.

30 августа 1553 года он праздновал именины — в небольшой, еще отцом заложеной резиденции в Коломенском.

Не любил царь Москву, не любил ни стен белокаменных, ни бояр твердолобых. А здесь было все спокойно, даже по-детски забавно. Тут он успокаивался телом, чувствовал себя беззаботно и возвышенно.

Приглашенных на обед отвели вначале в царский гардероб и заменили их разноцветные кафтаны на белые мантии с горностаевой опушкой. Затем гости собрались в прохладной трапезной, перешептываясь и улыбаясь.

Царь вошел медленно, косолапо загребая ногами пестрый ковер, перекрестился, взял кусок вареного мяса и передал его круглолицему Адашеву, второй — долгового Курбскому; покачался с ноги на ногу и раздал пахучие куски еще некоторым воеводам. Затем дал знак нарезавшему мясо кравчему, дабы тот угощал дальше — и смиренно наблюдал, как помощники произносят:

— Царь жалует тебе это.

В ответ гости вставали и кланялись.

Затем в серебряные чаши наливались романья, аликанте, мальвазия — любимые царские вина, в деревянных ковшах разносилась свежая медовуха — и начинался пир. К мясу подавали шафран, кислое молоко, огурцы в укусе. Снова и снова поднимали чаши, а на стол выплывали жареные лебеди, журавли со специями. Пили — и появлялись тетерева, глухари и рябчики в сметане, зайцы с рисом, лосиные мозги, пироги с мясом, подслащенные орехи.



И стучали чаша о чашу, и не смолкали тосты и речи, пока хмель не вязал руки и не сушил языки...

А в Москве на Ивана навалилась болезнь. Вечером, после службы в Благовещенском соборе, стоявшем поближе к царскому дворцу, царь еле поднялся по ступенькам в опочивальню и упал около кровати. С полчаса его трясла падающая, глаза набухли кровью и выкатились над острым носом. Испуганный Матей бросился за врачом, но первой на крики отозвалась Анастасия. Она положила беспокойную голову Ивана себе на колени и, что-то проникновенно нашептывая, нежно гладила его мокрые от пота волосы. И царь успокоился, обмяк, но на перине опять встревожился, задышал часто и хрипло; вознамерился встать, но руки сделались ватными. Горючка накрыла его забвением, жутким и долгим.

Приходя в сознание, он недоуменно прилипал слезливыми глазами к ближнему углу с лампадами, к каменной стене с цветным изображением Соломонова суда, а из глубины, словно из-под туч, выскакивали призраки кроваво-красных коней и неслись по травной зелени к кровати... Царь вздрагивал, хватался руками за голову, снова смотрел на картину — и бешеная лавина пряталась за углом арки.

На несколько минут он успокаивался, и ему давали попить, а затем голову опять терзала тревога, красная бешеная лошадь вновь появлялась из-под дрожащих лампад и неслась на кровать. Иван шатнулся вбок, увидел искры под громадными копытами, ржавую пряжку подседлака, мускулистый круп, огненный хвост — и неосознанно схватился за него, чтобы хоть так выбраться из своего холодного гроба-кроватьи. И услышал крик над собой. И очнулся...

Кричала жена, за косу которой в беспамятстве схватился Иван. Снова начала гладить и шептать что-то ласковое, услышав спокойное, выразительное:

— Что там, снизу?

Она поняла, но не ответила.

Снизу под опочивальней был тронный зал, в котором уже третий день собирали бояр, дабы те целовали крест царевичу Димитрию. Ощущая смертельное изнеможение, Иван назначил своего преемника — сына-младенца. И призвал подданных к присяге ему. Но неожиданно оповестил о своем праве на московский престол двоюродный брат Ивана Владимир Андреевич, поддержанный большинством бояр.

Молчание царицы не придало спокойствия Ивану.

— Позови Висковатого, — попросил он.

Глава посольского приказа и царский летописец отвечал путано и встревоженно:

— Измена, государь! Многие не целуют креста, иные поразъехались... Сильвестр и Адашевы отказались, лукавят-выжидают... Брата твоего по московским хоромам возят, шепчутся...

— А Курбский?

— Да не видать его как-то...

У Ивана гневом вспыхнули глаза. Он, горланно простонав, поднялся с кровати и показал пальцем на скипетр. Опираясь на него, медленно поплелся из опочивальни. На ступенях постельник Матей набросил на его плечи кафтан и хотел было поддержать за локоть, но царь оттолкнул слугу. Висковатый следил за обоими в приоткрытые двери, но пойти следом не решился.

С десяток бояр в тронном зале утихли. А Иван, собравшись с силами, улыбнулся, неспешно осмотрел всех и начал с вопроса:

— Что замолчали? Вижу, трон царский еще пустует... — уверенно подошел к нему, погладил золоченого византийского двуглавого орла над изголовьем спинки, постучал по широким костяным подлокотникам. — Оглохли, что ли? Спрашиваю, чего трон пустует?! Где Владимир, брат мой? — Царский голос насыщался злостью. — Что, руки свои алчные погреть решили?! Сыновья мои единокровные вам не по сердцу?! Как псы поганые рвать тело мое собрались?! — Он опять ехидно-плутовато улыбнулся и, хоть и уставший, с видом победителя сел на трон, продолжив уже спо-



койнее: — Сами запомните и стае своей передайте — великий царь Иван Васильевич умирать передумал и всех вас еще переживет. И в честь своего выздоровления приказывает в следующее воскресенье собрать царский обоз в богомолье к Белому озеру, в Кириллов монастырь. А теперь... — Иван встал и еще раз строго осмотрел присутствующих, — вон с глаз моих! А ты, Матей, — сказал, уже возвращаясь в опочивальню, — разыщи дружков моих, Адашева с Курбским, да о выправе поведай. Да караул в Кремле усили, из самых преданных.

— Усилил, государь, третьего дня без приказа усилил.

По разным причинам царь уезжал из Москвы. В своих горьких молитвах он обещал в случае выздоровления пожертвовать монастырям земли и золота да податься в богомолье. Но было и другое, то, что поело бессонными ночами и беспокойными днями: неверные бояре, измена близких друзей (потому и взял с собой Адашева с Курбским, к которым уже доверия не имел — хотел держать перед глазами). И змеями жалили невеселые известия гонцов: взбунтовалась Казань, погибла тысяча сторожевого полка, а непокорные казанцы начали даже возводить в сутках перехода от города новую крепость... Зашевелился Крым, Ливония нарушает границы...

В дороге, истомленный горькими думами, он проваливался в сон, и за ним, хрипя и пыхтя горячей пеной, неслись вскачь красные кони. И он уже всюю гарцевал на них, и спросонья шептал молитвы, но слова их были тяжелыми, они не могли, как молвил при встрече седой как лунь Максим Грек, подняться к богу.

— Вижу, — произнес старый монах, — как злость и гнев тебя гложут. Всякий человек, учил еще апостол Иаков, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией...

Однако могучий красный конь нес Ивана вперед — туда, где беспокойный горизонт утопал в дымах и неизвестности. А богомолье закончилось трагедией: погиб-утопул малыш-наследник Димитрий... И царь впал в новое предчувствие — предчувствие проклятия на его род. За грехи, возможно, отца, бросившего свою венчанную жену, «бесплодную смоковницу» Соломону, в монастырь и с новой родившего его, Ивана.

Но царь гнал прочь тучи тревожных дум и яростно сеял семя свое в лоне Анастасином, однако всходы были редкими и слабыми — рос неказистый сын Иван, третий, Федор, имел помутненный разум, а три дочери умерли младенцами.

И на ратном поле зрела гроза: казна обеднела, даже ливонцы не спешили пополнять ее своим серебром. Новое посольство от дерптского епископа приехало в морозную Москву просить об отсрочке выплаты, но Иван не принял его. Он приказал выгнать протестантских собак из города и поручил Адашеву готовить поход.

Опять полилась кровь. В этот раз ливонских христиан истребляли нанятые в царское войско татары под предводительством казанского хана Шах-Али. И снова застонали небеса, и жгли веси, и вырезали детей из лон материнских, и насильовали насмерть женщин, а на тех, кто еще силился убежать, охотились, как на волчиц...

И сдалась Нарва, и пал Дерпт, и было перемирие, и в глазах нового Александра Невского заплескались балтийские волны, к которым вот-вот выйдет его царство — но пробудились соседние Великое Княжество и Польша. Не прошло и года, как рыжий лис гроссмейстер Кетлер сговорился с королем Сигизмундом и был по-братски принят в Вильно. И в августе 1560 года виленский воевода Николай Радзивилл Черный с войском вошел в Ригу. Адашевские шпиги доносили Ивану, что Кетлер намеревается соединить Ливонию с Великим Княжеством и передать Радзивиллу крест и орденскую мантию, однако московским полатам было не до них...

В жаркий август того же 1560 года от Рождества Христова умирала в тяжелых муках царская жена. Его единственная человеческая радость и утешение. И на его потухших глазах отошла она к Господу.

— Вы все ответите за это! За все ответите... — шептал царь над мертвой Анастасией и гладил еще теплую чернявую прядь волос. Стонал и шептал: — Все-все...



5.

Очередное лето выдалось жарким и дымным. Горели леса, дома, хлеб. Адская удушливая паутина затягивала города, и он отчаянно носился по стране, проводил оперативки и совещания, раздавал нагоняи всем — от лесничих и губернаторов до премьера, сам работал с пожарными, а когда поднимался на вертолете — в глазах плыли красные круги.

— По сведениям спецслужб, красных петухов нам *подбрасывают*... — сказал уставший и постаревший Керзон, вытирая со штанов сажу. — Если не будет других установок, проведем показательные суды.

— Кого подбрасывают? — не понял президент.

— Поджоги, говорю, по донесениям — спланированы.

— А... Петухи красные... Да это уже кони, а не петухи! Тысячи домов ляснули! А леса сколько! Кто компенсирует, откуда деньги брать? Что людям... — он не смог договорить. Трап неожиданно прыгнул в сторону, перед глазами проплыл красный живот вертолета, стало тяжело дышать. Президент упал на руки испуганного председателя Службы госбезопасности и уже не помнил, как его обступили врачи и как вертолет направился к столице...

И вот он перед выбором, к которому шел не один месяц. Шутка ли — оставить страну на девять месяцев без своего присмотра! К медикам он тоже особого доверия не имел — не задавят ли пуповиной... Но *сеанс*, как окрестили ту процедуру-операцию, призван был придать ему силы и омолодить организм.

Начиналось же все казенно. Когда врачи поставили президента на ноги, утром в его кабинет, размерами похожий на хоккейное поле, только вместо льда лежал канадский паркет, постучал помощник Жокей, мягко приоткрыл дверь и нежно выговорил:

— Приветствую вас, господин президент... Разрешите зайти?..

— Что у тебя? — Мороз неохотно оторвался от чтива. — Ты что бумагу изводишь? Завалил меня этими записками... Глаза мои хоть пожалел бы!

— Простите, я бы не беспокоил, но тут без предупреждения Керзон просится...

— А ему чего?

— Не могу знать. Сказал, что по номеру ноль...

Так кодифицировали сверхсекретные переговоры, которые без свидетелей вели чиновники с президентом. Разумеется, те, кто имел доступ.

— Запускай.

Помятый жизнью, службой и природными катаклизмами, но в сияющей оправе из нескольких рядов орденов и в новеньком генеральском мундире, Керзон бросил на помощника ревнивый взгляд и, сам закрыв массивную дверь, процокал к столу, там выпалив:

— Здравия-желаю-товарищ-главно-командующий!

— Да потише ты!.. Садись.

Керзон напряженно смотрел на президента и не шевелился, пока тот не отложил распечатанную страницу и не вздохнул:

— Глаза скоро вылезут... Давай, что у тебя?

Председатель Службы государственной безопасности вскочил и залепетал:

— Товарищ главнокомандующий! Я имею радость доложить вам, что в результате проведенной нами работы и соответствующих мероприятий... имеем в результате... хотим предложить вам... поскольку проверка проведена многопланово, прошла операция в сверхсекретном режиме... — он неожиданно для себя сбился и окаменел.

— Да не трюнди ты, — снова вздохнул Мороз. — Толком можешь сказать?

— Так точно... — Керзон вытер о лампы вспотевшие ладони. — В нашем секретном центре добились неслыханного! Имею в виду операцию «Плацента»... Проведена операция, после которой пациент помолодел на тридцать лет!

Он набрал воздуха и замолчал.



— Ну-у... — президент недоуменно сложил на животе длинные руки. — И что — Госпремию тебе за это дать?

— Я не о том, не так поняли... Я с предложением... Только правильно меня поймите... Операция сверхсекретная. Помимо проверенного медперсонала о том знаем только я и мой зам. Я лично курировал... А потому имею честь предложить... Только правильно поймите...

— Да не тяни ты резину, чего хочешь?!

— Хочу, только правильно... ведь от всей преданности... Лишние ваши годы никому не помешают... Хочу предложить... омолодиться!

Президента как ошпарили:

— Что?! Ты это... Думаешь, что я уже не могу со своими старыми костями тут сидеть?! Да?!

— Никак нет... Я совсем не о том... Я просто как лучше... Денег же на это пошло... Потому как лучше хотел... — Керзон неожиданно обмяк и затих.

— Как лучше, говоришь? А что там за операция? Не подтяжку же ты мне предложишь сделать, а?

— Что-о вы... — оживился Керзон. — Медики это *сеансом* зовут... Там пуповину наращивают, а пациента, так сказать, в бароплаценту...

— В баро — чего?

— Плаценту... О том лучше сами медики пусть... Мы же в первую очередь за безопасность и секретность... Ну а результаты, я скажу-у-у! — Керзон невольно облизнулся. — Деда одного... полуслепой был, болезней букет... еле таскался... а через девять месяцев, прошу прощения, бабу попросил! И вот уже полгода джигитует...

— Бабу, говоришь?.. — президент впервые со дня неожиданной болезни улыбнулся. — Что ж, будем думать. Продолжайте работу...

Керзон вышел с видом победителя, чем насторожил помощника.

— Ты... это... галопом-по-европам, мне ничего не хочешь сказать?

— Не имею права, товарищ Жокей, номер ноль, сам понимаешь.

А через несколько минут помощника позвал к себе президент.

— Значит так... Надоел он мне. Пусть отдохнет. Сделай так, чтобы Керзона я не видел. И срочно ко мне его зама. Как его там?

— Бадакин.

— Да хоть Сракин...

Ночью он снова не смог уснуть. Замучили воспоминания, а ко всему — разболелась голова, ломило суставы, измучила одышка... От таблеток да порошков уже на рвоту тянет...

Утром вызвал помощника. Тот, как и хозяин, тоже не спал, чашками глотал кофе, но выглядел бодрым.

— Готовь встречу. Поехали, хочу посмотреть, что там...

О визите президента в секретную лабораторию помимо его самого и охранников знали только два человека — Бадакин и Жокей. Вначале высоким посетителям показали две видеозаписи: скрюченный старик, до *сеанса*, и оживший мужчина лет под сорок — после.

— И что, это один и тот же хрен?! — не поверил увиденному Мороз.

— Да. Процесс сеанса контролировал лично я. Если честно, и сам до сих пор удивляюсь, — вскочил Бадакин.

— Расскажи, как такая байда получилась...

— К сеансу готовились девять лет. За медобеспечение отвечает профессор Скоркин. У него в подчинении три ассистентки. Все, как понимаете, проверенные и изолированные. Пациент был отобран в Лукском районе. 75 лет. По легенде — пропал без вести. Доставлен в лабораторию. С того времени — под нашим наблюдением. Самочувствие отличное, медпоказатели в норме, только... — Бадакин затих.

— Ну?



— Только женщин требует. Новых. А тут же секретный объект... Профессор жаловался, что его медичек дед уже заюзгал...

— Это не болезнь! — улыбнулся Мороз, разгладил усы и спросил серьезно: — А есть какие-то осложнения?

— Нет, товарищ президент, не выявлено.

— Так что же вы ему тут сделали? Не на клизмах же он помолодел?!

— Нет... Тут целая программа. Ему... это... пуповину восстановили... и в плаценту, как в материнский живот...

— Иван Владимирович, — мягко промурлыкал Жокей (любил в присутствии высоких лиц так назвать президента, подчеркивая свою близость к нему и козыряя тем), — я сильно извиняюсь, что перебиваю, но, может, стоит позвать самого профессора? Он бы поведал обо всем более детально...

— Да, правильно, давай!..

Старый профессор вначале чуть ни обмер от неожиданности, но потом оклемался и выглядел уверенно:

— Опыты базируются на основе медикофизических, невропсихологических и биометральных факторов...

— Стоп-стоп, — замахал руками президент. — Не гони свою пургу! Ты можешь просто и по-человечески объяснить, как деда омолодил?

— Да-да, простите, сейчас... — профессор достал носовой платок, вытер вспотевший лоб и продолжил: — Человек начинает стареть с того времени, как рождается. Мир — это данная Всевышним и испорченная человечеством плацента... Вот мы и попробовали возвратиться к первичности, к материнскому, так сказать, лону. Создали искусственную плаценту и поместили в нее пожилого пациента. Все термальные и прочие жизненно необходимые процессы контролировали автоматически. Пациент спал, а за период *сеанса* тело очищалось и аккумулировало запасенную энергию. Омолаживалось...

— А как он дышал?

— Так же, как и в животе матери, только, разумеется, искусственно...

— А что ел в том вашем пузыре?

— Необходимые витамины и питание подавались в плаценту... или, по-вашему, пузырь, через...

— Да знаю я эту плаценту не меньше вашего! — перебил президент профессора. — Мы с ветеринарами их последями называли...

Все уставились на профессора, но тот был сбит сравнением. Он помолчал, собрался с духом и продолжил:

— Человеческий пуп есть тайна, своеобразное соединение с миром. Через него, после специальных операций, мы и подводим необходимые пути питания и отбора отходов. Повторюсь, метод очень простой и естественный. Он повторяет то же, что делается в материнском лоне с ребенком. И термин, как понимаете, мы запрограммировали тот же...

— Ну а потом, через девять месяцев... что? — президент оживился.

— Все... — не понял профессор. — Останавливаем сеанс.

— И пуповину режете?

— Ну да, можно и так сказать. Соответствующие пути хирургически удаляются...

Вопросов больше не было. Почмокав, Мороз неожиданно предложил:

— А давай, профессор, мы и тебя омолодим. Голова, вижу, умная, а то еще кевкнешься, и медицина наша обеднеет!

Профессор неловко улыбнулся, а Бадакин вскочил и залепетал:

— Товарищ президент, ваша воля — закон, но прошу простить и понять... Сеанс чрезвычайно затратный в плане финансирования... Я бы сказал — мегазатратный...

— Понял... — вздохнул Мороз, снова чмокнул и приказал: — Покажите мне уже своего деда!



Пациента привел сам Бадакин. Дедом назвать его мог разве что младенец: выглядел он подтянуто и бодро. Увидев президента, обрадовался и чуть не бросился обниматься:

— Ива-ан Влади-имирыч, здрасте, ты ли это?

— Ну-ну, остынь! — буркнул на него Бадакин, но Мороз только улыбнулся:

— Ничего-ничего... Так как, мужик, ты себя чувствуешь?

— Жаловаться не на что...

— А мне доложили, что к девкам не пускают.

— Ну... енто можно и поправить.

Президент приблизился к пациенту, заглянул в глаза, похлопал по плечу и подытожил:

— Хорош, мать твою! — И через паузу: — Мне сказали, что ты мой земля.

И правда, из-под Лук?

— Ну а откуда ж?..

— А чем занимаешься?

— Теперя ничем... В энтой санатории отдыхаю. Спасибо вам и дохторам — и накормлен, и одет, и заботы нет!

— А до «санатории»?

— Так это... конюхоом. Пасу, кормлю, а летом за бабу на весовой сижу...

— А не тяжело в таких годах за лошадыми бегать?

— Что вы, Владимирыч! До санатории, не сбрешу, не мог уже, думал бросать. А теперя вылюднел так, что и галопом совладаю!..

— Слышал, Жокей? — Мороз повернулся к помощнику. — Еще один наездник в нашем эскадроне! — довольно улыбнулся и хлопнул в ладоши, что означало — кончай базар, айда домой...

И снова он ночь не спал. А может, и спал, но вместо снов в голове крутились лабораторные ролики: плацента с мутной жидкостью, человек в ней... Точь-в-точь малое дитя в утробе роженицы. Только наружу какие-то шланги тянутся, а над ними десятки аппаратов, мониторов, ламп...

Только на третий день, изможденный размышлениями и нездоровьем, президент решил:

— Ну что, конюхи мои верные, готовьте свои плаценты. Была не была — буду омолаживаться! — Он оглядел выгнанных Жокея и Бадакина, повернулся к последнему и, прибавляя в голос грозности, спросил:

— А ты что это ко мне без лампасов приперся?!

Бадакин тихо выдавил:

— Товарищ президент, полковнику лампасы... не положены.

— А почему — *полковнику*? Жокей, галопом тебя по европам! Готовь мой указ о присвоении ему генерала! И назначаю Бадакина председателем Службы государственной безопасности. Смотрите только, чтобы за девять месяцев тут херни какой не напорол, а то шкуру спущу!.. — Помолчал, снова придирчиво осмотрел подчиненных и окончил уже более ласково: — Подумайте, чтобы за это время я из телевизора не вылезал... Монтаж там какой сделайте, ну... как я принимаю одного, второго, документы подписываю, вас, лентяев, гоняю. Подключите Федоренкина, он знает, что и как. Ясно?

— Так точно! — в один голос гаркнули помощник и службист.

— Ну вот и славно... Не побейтесь только, кто моей повитухой будет, плаценташмацента...

Народ затушил пожары, отстраивал сожженные лачуги, пил водку и смотрел телевизор.

Администрацию президента начал доставать премьер Сысанков, он рвался к президенту с какими-то неотложными заботами, пока его семизатжно не обложил и не выгнал Жокей. Премьер надломился, засел на даче и тоже запил.



И вот — звонок председателя Службы госбезопасности:

— Товарищ Жокей, срок сеанса закончен. Будем останавливать?

— А какие другие предложения?

— Не понял...

— Понимаешь ты все не меньше моего, — обрезал его Жокей. Сладким было для него — по сути, руководителя государства — это время; разные кошунственные мысли в голову лезли, но боялся он их, отгонял: кто знает, чем они аукнутся... Да и, зная норы хозяина, не мог не думать о том, что без чьей-то подстраховки не полез бы тот в плаценту... — Конечно, заканчивай!

Жокей покосился на портрет президента, заказал себе кофе, выпил без удовольствия и заспешил в лабораторию.

Перед входом уже стоял лимузин, и Жокей испугался, что опоздал первым поприветствовать хозяина. Возле лифта его ждал окаменевший Бадакин, нервно схватил за рукав и потянул в глубь вестибюля.

— Слушай... вышел казус. Не знаю, как объяснить...

— Президент живой? — оборвал его Жокей.

— Да, да... Что ты! Все получилось, только...

— Что «только»?! Не тяни!

— Помолодевший, здоровый, только... в *своем* времени.

— Как это... в своем?

— Да пойдём, сам увидишь!

В ярко освещенной палате сидел выбритый и вымытый Мороз. Помолодевший... чуть ли не на половину возраста. Если бы не растиражированные фото времен молодости, его тяжело было бы узнать: ни мешков под глазами, ни морщин, ни обвислой челюсти...

— Господин президент, разрешите приветствовать вас! — начал Жокей, вобрав голову в плечи, но хозяин зло сплюнул и закричал:

— Еще одного придурка привели! Сам ты господин зачуханный, выфрантился тут мне. Что, с бодуна не просох?! — он помолчал и неожиданно кивнул на окно: — Чего машины простаивают? Где бригады и звеньевые?! Не посеете вовремя — будете экспериментальное поле своими слезами поливать!

— Сейчас, сейчас, все сделаем... — сам не зная, что обещает, Жокей потянул за лампас Бадакина и подался к выходу. Притворив дверь, он ослабил галстук и пробормотал: — Это, галопом-по-европам, что такое?!

— Президент...

— Да сам вижу! О каком поле кричит?!

— Профессор утверждает, что это синдром возвращения...

— А с коннохом что?.. Что с тем твоим синдромом?! Дед же — нормальный... —

Жокей вздрогнул и поправился: — В смысле... нормально из того синдрома вышел.

— Ну да...

— Ты мне не давай! Что делать будем? — Жокей покрутил жилистой шеей, еще больше ослабил галстук, и верхняя пуговица на сорочке не выдержала — оторвалась, поскакала по гранитному полу.

Вдруг что-то словно прояснилось в глазах помощника:

— Дай-ка мне личное дело того деда!

— Этажом ниже, в архивной...

Жокей смотрел на биографию первого пациента секретной лаборатории, мотал головой и не мог выговорить ни слова. В горле страшно пересохло.

— Может, кофе?

— Что?

— Может, кофе? — повторил председатель Службы госбезопасности.

— Нет, давай водку... и побольше... Как вы могли так с дедом лопухнуться?



— Никакого лопушения... Выход, как и профессор подтвердил, из сеанса был беспроблемным, без временной деформации.

— Да что ты бред несешь, генерал! У тебя мозги-то есть?!

— Я па-а-прошу! — надулся тот, вмиг покраснел, но успокоился и снова затараторил: — Ты же сам слышал, как тот рассказывал о своем последнем месте работы, о конях что-то там и весовой...

И помощник не выдержал:

— Я и говорю, что ты дурак! Да конюх этот и двадцать, и тридцать лет тому, как и перед сеансом вашим ляцким, коней пас! — Он поднял папку с личным делом деда и хлопнул по столу. — Зови своего профессора!..

На полную адаптацию президента понадобилось несколько недель. Все должно было пойти привычными кругами, однако помолодевшего руководителя отказался признать народ, досрочно выбиравший его, веривший и любивший. И стареющий. Вместе с народом старели и вера с любовью.

На остановках, в курилках и в соцсетях начались настороженные перешепты-намеки, вылившиеся в стихийные митинги. И с каждым публичным выходом правителя на люди народное недоумение и негодование росли и угрожали вылиться во что-то большее.

— Нашего убили, а вместо него подсовывают двойника!

— Посмотрите, он нашему в сыновья годится...

Ничего не могли сделать ни телепропаганда, ни Служба безопасности. А тут поднял голову премьер:

— Правильно, народ, нас всех дурят! О-о-обман!

Президент был вынужден сам спасать ситуацию. Он выступил по всем телеканалам с чрезвычайным обращением к народу, подробно поведал о ранее спланированных врагами поджогах и своей болезни, во время которой зарвавшиеся высокопоставленные чиновники пытались захватить власть.

— Их уже вывели на чистую воду! — вещал руководитель государства. — Этих роликовых, керзанов и сысанковых... Они мечтали дорваться к власти еще с тех пор, как я возглавил страну. Обещаю вам — все получают по заслугам! Все! А к следующему году мы справимся с экономическими потерями и сможем повысить зарплаты и пенсии. Как и раньше, государство не оставит без помощи никого... — Президент еще долго говорил о распродавшихся ворах и продажной оппозиции, золотовалютных запасах и международном положении — и народ находил в тех словах прежнюю простоту и сердечность, открытость и преданность, узнавал своего президента до каждой, хотя и разгладившейся, морщинки под просветленными глазами, до каждого жеста.

Вечером президент приехал на правительственную дачу, где обосновался впавший в горячечную оппозиционность Сысанков.

— Ты?.. — недоуменно поднялся из-за длинного стола премьер и, хмельно покачиваясь, пошел навстречу.

Мороз хмыкнул, схватил пустую бутылку — и двинул по нетрезвой голове премьера. Тот хватанул воздуха, лизнул пухлые губы — и обмяк.

Когда назавтра после телеобращения хозяина Жокей принес составленные спецслужбами и льющие бальзам на душу результаты общественных опросов, президент спокойно отодвинул бумаги на край стола и огорошил помощника:

— Помнишь, когда метро бастовало... я тогда в университете выступал. Там девка одна, чернявая такая, — он покрутил пальцами, — мне бумажки подносила. Я приказывал разузнать о ней...

— Да, Екатерина Александровна Белявская, студентка филфака нашего университета. Я докладывал...

— Ты заработался или прикидываешься?! — вскипел президент. — Что мне с тех докладов? Давай ее сюда! Ясно?..

VI.

— Что ж, фами-илия твоя соотве-етствует нутру-у, — словно чужим голосом едва не пропел царь окольникову Федору Сукину, своему посланцу. Глаза того не могли остановиться на одной точке, зрачки суетились в глазницах испуганными жуками. Царь перебросил с одной руки в другую скипетр и кивнул верному Матею: — Отправь его делать гроб!

Когда стрельцы уже дотянули невысокое тело испуганного посланца к дверям, царь уточнил:

— Хороший, большой гроб! Чтобы издали виден был. — Посмотрел на перестень-печать, покрутил его туда-сюда и добавил: — А этому сукиному сыну и обычной ямы хватит...

В конце 1560 года, когда Радзивилл Черный укреплялся в землях Ливонии, а образ покойницы царицы Анастасии поглотили успокоительные оргии, Иван Грозный направил к Сигизмунду-Августу громадное санное посольство, которое и приказано было возглавить Федору Сукину. Царь не поспешил на подарки, взамен надеясь получить не только дружбу короля-соседа, но и одну из его сестер в жены.

Сигизмунд же воспринял предложение сдержанно, а краковский сойм едва ли не единогласно решил выслать назад московское посольство. Однако Федор Сукин не сдался. Он подкупил королевскую горничную, тайно показавшую в костеле во время воскресной службы двух принцесс. Младшая, Екатерина, на миг поправила над бархатным чепцом кружевную вуаль — и царскому посланцу запали в душу ее черные брови, нежный носик, искушающие, налитые вишневой свежестью губы. Он незаметно понаблюдал за ее лебедино-грациозной походкой и вкусно расписал обо всем своему хозяину. И не позабыл добавить, что Сигизмунд-Август не имеет потомка, потому с помощью его сестры-красавицы Московия может снова соединиться со своей вотчиной — полоцкими и смоленскими землями.

Расписал — и на некоторое время успокоился.

А в беспокойные сны Ивана впервые пришла не Анастасия, а таинственная полька Екатерина. Он шагал за ней, пытался схватить за нежно-белесую руку... и уже срывал с нее розовый италийский хитон, и блеснули в улыбках свечей атласные исподние надраги, как та вдруг превратилась в белую лебедку и выпорхнула в раскрытое окно.

— Порви меня, мой государь, как эту сорочку... — неожиданно простонала под ним горячая дочь какого-то боярина, и он испуганно вскочил.

— Иди вон, шлюха подзаборная! — Царь сбросил женщину с кровати и позвал Висковатого.

— Пошли в Краков Сукину еще от меня подарков. Пускай поторапливает!

Но пока исполнялось новое царское поручение, принцессу Екатерину сосватали с братом шведского короля Эрика XIV, герцогом Финляндским Юханом...

Иван по-прежнему пил и утопал в блуде с молодой дочерью хана Кабарды черноокой княжной Кученей, которую, чтобы хоть этим успокоить царскую одурь, взялся окрестить сам митрополит Макарий и обвенчать с Иваном, уже как Марию. И угасли властные гульбища — пока до Москвы не докатилось известие о свадьбе Екатерины и Юхана. Тогда Иван послал Курбского жечь пограничные западные земли и позвал своего посланца Федора Сукина, приказав тому своими руками сбить огромный гроб...

— В него положу Катькиного брата Сигизмунда... или сам лягу! — молвил он в начале января 1562 года, во главе 60-тысячного войска отправившись на древнюю крепость Великого Княжества Полоцк.

Митрополит Макарий попытался унять воинственный пыл царя, но не смог, предложив тогда взять с собой святыню, которая, как он надеялся, должна отвести несчастья и ненужные смерти.



— Некогда еще отец твой из Смоленска привез его — крест полоцкой игуменьи Евфросинии. Война его вывезла, а ты назад возврати. И пусть защитит он все войско Христово.

— В походы со своими крестами ходить надобно! — недоуменно бросил Иван постаревшему митрополиту.

А тот глубоко вздохнул, тревожно посмотрел в суженные царские глаза и спокойно уточнил:

— Кресты, Иван, не бывают свои или чужие. Все они — Божьи, все — Христовы. Ибо он, Иисус, один за нас, грешных, страдания принял.

Иван подозрительно глянул на Макария:

— Ты что, митрополит, мой поход праведный не благословляешь?!

Макарий напряженно помолчал и ответил вопросом:

— А ты как думаешь, государь: разве благословляет наш Создатель убийства?

— Ясно... — проскрежетал Иван и направился к дверям.

— Крест полоцкий в твоей казне. Возврати святыню в родной град, — уже в царскую сторбленную спину молвил Макарий и перекрестил раскрытые двери. Ему неожиданно увиделось, как Ивану удалось прочесть строки Евангелия, привезенного от Палеологов. И он с тревогой вспомнил о рассказах Максима Грека о богатой Полоцкой библиотеке...

Полки велено было формировать под Луками. Затем ежедневно, «дабы воинским людем истомы и затору не быть», они поочередно вместе с фуражными обозами отправлялись в поход.

Как ни стереглись, литовская разведка дозналась о московской выправе и доложила гетману Николаю Радзивиллу. Тот спешно собрал войско и из Менска двинулся на подмогу Полоцку.

Однако первым к городу дошел московский царь. Он долго с поймы Двины осматривал древние стены, что-то неслышно шептал сам себе, а затем спрятался в шатре, позвал к себе Висковатого и приказал тому писать Макарию письмо, в котором уверял митрополита, что войну начинает «токмо ради бдения о святыхъ храмехъ да иконахъ священныхъ, иже безбожная Литва поклонение святымъ иконамъ отвергше, пощипаше ихъ да многая ругания учинише, а церкви православные разориша, веру христьянскую оставльше и лютеранство восприаша...»

Царские полководцы намеревались начать наступление с Задвинья — по льду, с той стороны, где Окольный город не имел оборонительных стен. Там разместились Передовой, Царский и полк Правой руки. Однако лед на Двине начал таять и трещать, и полки перешли в междуречье к опустевшему монастырю святого Георгия. От берегов Полоты москвиты вынуждены были наступать уже на полоцкие укрепления.

И христианский город с древней Софией над Двиной, константинопольской сестрой, захлебнулся в огне и дыму. Дневные осады нападавших перемежались с ночными вылазками защитников. Потекла по заснеженным берегам на лед неукротимая кровь, а по высокому замку почти непрестанно лупили стенобитные пушки.

И выгорел Острог с посадами, и на крыльях сажного дыма с привкусом человечины ворвались в город стрельцы, вкатили пушки поближе к замковым стенам — и обвалили их.

После седьмого приступа полоцкий воевода с епископом вышли к царскому войску просить милости.

— Сдавайтесь, пожалую вам свободу да имущество, — обещал обессиленным воинам Иван, а когда вошел в замок, приказал казнить всех, крестьян от Дисны до Дрисы полонил и бесконечными человеческими клиньями наказал гнать в Московию — в снег и мороз. Туда же санными обозами повезли и городскую казну, и сундуки купцов да зажиточной знати. А их прежних владельцев еще несколько дней секли сабли царских татар, топили подо льдом Двины и Воловьего озера.

И не было спасения ни иудею, ни католику, ни монаху-бернардинцу, никому, кто не покорился да не принял веру и волю московскую.



В первое победное утро Иван со своей свитой присутствовал на богослужении в Спасовом монастыре. Затем долго ходил по почерневшему от сажи и дыма снегу, косолапо кривя ноги, отчего носы сапог его, хоть и закрученных вверх, были стертыми и грязными.

Успокоившись прогулкой, Иван призвал к себе полоцкого епископа и, словно между прочим, спросил:

— А где ваша хваленая библиотека?

Священник проявил удивление и начал неуверенно:

— В этом пепле и людей не найти, не то что книги...

Но царь прервал:

— Не хитри, владыка. Мне донесли, что во время осады игумен с монахами книги через подземный ход к Двине перенесли, а затем в лодках сплавил. — Втянув шею, он криво посмотрел на исхудавшего епископа и подобрел: — А я тебе подарок подготовил... — поднял руку и шевельнул пальцем.

Матей бросился к царю, склонил голову и, разворачивая белый бархат, протянул крест.

— Вот, возвращаю на круги своя древнюю реликвию, еще отцом моим Василием спасенную...

— Господь всемогущий! — не удержался священник и упал на колени. — Святая Евфросиния! Спаси и сохрани!

— Ну вот, а вы от меня библиотеку прячете, — довольно вздохнул царь и уже вскочил в седло, но увидел, что епископ с двумя монахами не решаются приблизиться к нему, и остановился: — Что еще?

Епископ осторожно передал крест монаху и стал на колени возле покрытых ином конских копыт.

— Вставай, владыка, не надо благодарности. Я сегодня добрый, — мягко бросил сверху Иван, а священник поднял на него соленые глаза и выговорил:

— Великий князь, давеча воины твои наших писцов полонили. Смилуйся и отпусти их!

Царь напрягся, скрежетнул зубами и взглянул на Матея. Тот преданно пожал плечами и застыл.

— Забери-ка ты и этого стратотерпца к тем писцам! — царь ткнул кнутом в епископа и больно ударил шпорами лошадь.

На том окончилась книгописная школа полоцких братьев-иоаннитов, заложенная с полвека тому афонским игуменом Нилом и его сподвижниками. Только одному из них было суждено дойти пленником до Москвы и в новой волоколамской монастырской келье несколько раз переписать «Псалтырь», на каждом экземпляре оставляя следующее свидетельство: «Написана сия книга рукою многогрешного и недостойного раба Божова Ивана, полоняника полоцкого, в заключении и во двоих путахъ связаного. Слава Богу, совершившему сию книгу. Аминь»...

Узнав о захвате Полоцка, гетман Радзивилл повернул свое войско на Вильно — готовить новую оборону. А в московский лагерь прибыло посольство от Сигизмунда.

— Замерз я тут и подустал, — вместо приветствия сказал Иван. — Пускай король шлет назначенных людей в мою столицу, там объясняться будем! Так и сообщите своему хозяину... — Он помолчал, неподвижно глядя под ноги, и добавил: — А дабы вам не с пустыми руками возвращаться, от меня Сигизмунду подарок доставьте — гроб, нами для него приготовленный!

Он нервно поиграл желваками, хотел было упомянуть о королевской сестрице Екатерине Ягелонке, недавно обвенчавшейся в Вильно с финляндским герцогом Юханом Третьим, но почувствовал близкую трясучку и выгнал всех из шатра.

Оставив в разрушенном Полоцке три полка, Иван вскоре возвратился в Москву.



* * *

Весеннее солнце уже высоко выкатывалось над городом, но снегу было еще полно. Грязные ручейки стекали в ложбины, дороги размякли и превратились под лошадиными копытами в густую жижу.

Иоанн Федорович хотел ехать один, но Гринь, его молодой помощник по типографии, не отходил от саней, где наместил соломы, поверх вскинул дерюгу, а возвышение покрыл старой шубой. Он отказался передать вожжи, вскочил на запряженную лошадь и сказал как о давно решенном:

— Не подобает вам, как простому смерду, самому разъезжать. Что люди скажут?

— «Имейте веру в славу Господа нашего без оглядки на личности», — учил нас в своем соборном письме святой Яков. Сколько раз тебе повторять: «Не выбрал ли Бог бедных этого мира как богатых верою и как наследников Царствия обетованного?.. Когда же оглядываетесь на личности, то учиняете грех и будете осуждены».

— Оно-то так, но не принято тут самому за вожжи... — неловко потупился Гринь, и Иоанн вздохнул, махнул рукой и смиренно сел в подготовленные для него сани.

— Если бы не такая грязь, я бы лучше пехом пошел, — буркнул он и ласково посмотрел на повеселевшего Гриня: раскрасневшийся, рослый, русые волосы выбились из-под шапки и шевелятся на ветру.

Иоанн долго не мог свыкнуться со здешними порядками, когда на санях приходилось ездить и летом, а кучер при этом должен был сидеть верхом. «Хорошо, что хоть от этих дикарских перьев и лисьих хвостов, которыми, как скоморохи, обвязываются лейчие, его отговорил», — подумал он про Гриня, а вслух напомнил:

— Не забудь, что к Силуану-кузнецу едем.

Силуан, бывший слуга Зои Палеолог, пережил в Московии все властные перемены и сам преобразался с ними. Жил он теперь в Ремесленной слободе, верстах в пятнадцати от Кремля, занимал должность царского пушечного мастера. Возле обитых железом ворот его нововозведенного дома и *трыкнул* Гринь на лошадь. Хотел въехать на подворье, но Иоанн остановил:

— Дойду, тут подожди.

На крыльце старательно обил сапоги, зашел в горницу, перекрестился на иконы, поклонился, коснувшись правой рукой пола, и заговорил с хозяином по здешнему обычаю:

— Бью челом моему благодетелю! Прости слабый ум мой... Жив-здоров ли, Силуан?

— Спасибо, с Божьей помощью, — ответил хозяин и предложил гостю присесть к печи. — Третий раз за сутки протапливаю вот... Старым, наверно, стал, мерзну... — На его морщинистом лице засветились огненные отблески. — Угостишься, чем бог послал?

— Спасибо, сыт. Я проведать тебя приехал. Мой парень сказал, что уже несколько дней тебя в кузнице не видел. А тут формы новые нужны...

Кипела работа в московской типографии. Еще не успели возвести стены печатни, а Иоанн думал о верстаке да обученных работников. Через литовского посла Михала Галабурду, ходившего на службы в Гостуньскую церковь, где дьяконом был Иоанн, пригласили к работе мастера Петра из Мстиславля. Затем приехал новгородский литейщик букв Василий Никифоров. И работа пошла. Местные дровяры сделали дубовую основу верстака — скрип. Выдвижная доска была мраморной. На нее ложились железные формы, куда строчками и выкладывали шрифты. Отдельные соты с буквами по алфавиту занимали левую от верстака стену. Форму надлежало смазать краской — бережно, чтобы не перестараться и не зачернить оттиск; дальше оставалось подкладывать бумагу и тискальщику (его звали *медведем*) крутить винт. Затем к делу приступал младший служник — он выхватывал готовую страницу, клал

на форму чистую, а «отжатую» нес на полки правой стены. Когда все они заполнялись, наступала очередь переплетчиков.

Но вначале что-то не заладилось. Как ни устанавливали формы, оттиск получался неровным: сверху глубокий и зачерненный, а низ — недожатый, «слепой». Переворачивали форму — и слабочитаемым становился верх страницы.

День ворожил над верстаком Петр Мстиславец — мрамор на ровность выверял, глубину шрифтов; затем понял и, спокойно обтерев от краски свои широкие ладони, поведаль:

— Формы неровные вылили. Разница в ноготь, а итог — сами видите.

Наилучшим литейщиком в округе был Силуан. К нему и направился Иоанн, благо давно были знакомы — через Максима Грека. Правда, Силуан выливал пушки, но, рассудил дьякон-печатник, в пушечном деле нужна не меньшая точность, потому вылить ровные формы под шрифты для пушкаря будет простым занятием.

— Что-то, Иоанн, надорвалось во мне после похода на Полоцк... — страдальчески взглянул на гостя Силуан, постаревший, с бороздками-морщинами на переносице, еще глубже спрятавшими его небольшой нос; с неожиданной плешью, какой-то высохший — и куда только девалась прежняя мощь... — Руки перед работою опускаются, а в душе, — он показал пальцем на огонь, — как в той печи... — Помолчал и продолжил: — Не буду я боле пушки царю лить! Это же из них стены полоцкого замка разбили. И столько крови единоверной пролилось — не доведи Господи кому еще повидать. А скольких животов пленников истреблено... Их сюда, повязанных, по морозу гуськом гнали. Тысячи навечно на дороге остались. Представляешь: везем мы на санях пушки назад, а замерзшие покойники под полозьями — ш-шырх, ш-шырх! Досель то в ушах стоит...

Оба перекрестились, и Силуан словно очнулся:

— Хотел в богомолье к Максиму Греку податься, в его монастырь, да разузнал, что забрал Господь душу его праведную к себе. Ты же знаешь, что когда-то мы с ним в эту землю с младшей княжной Зоей Палеолог приехали... Царство им всем небесное.

Они снова перекрестились, и Иоанн стал прощаться. Повторно, как и перед входом, поклонился иконам, поблагодарил хозяина за заботу и пожелал здоровья.

Силуан пожелал проводить гостя. Наспех набросил кафтан, покрутил в руках белую мантию с горностаевой опушкой — но не надел, а пренебрежительно бросил на лаву. И уже за дверями, загадочно нахмурив лоб, прошептал Иоанну:

— Христотерпивец Максим, отходя, просил поведомить мне, чтоб опеку возложил я на книгу Евангелия от Иоанна. Некогда в дороге сюда она спасла самого Грека. А затем и в огне не горела, и людей целила, и царю пожалована была, и глаза ему открывала. В письме, переданном через надежного монаха, старец просил ту книгу на остров Патмос доставить, куда апостол Иоанн был выслан Трояном за провозглашение слова Господнего и где продиктовал свое Евангелие. «Очернили книгу чудодейственную грехи царские, — писал монах Максим. — Пусть очистится она вновь на месте страданий и подвига составителя своего».

Подошли к саням, обнялись-расцеловались. Силуан осторожно посмотрел на Гриня и добавил:

— Так как мне к той книге приблизиться? Может, у тебя как получится? — И уже громче: — А формы я тебе вью. Будут ровные, не беспокойся...

И минуло подготовительное время, и настала пора московского печатания слова Божьего. Как и было заказано, готовили «Деяния святых Апостолов». Спозаранку отслужив молебен, трудились без остановки до полудня, оттиснув и разложив сохнуть на полки двенадцать первых страниц. А потом на действие приехал посмотреть царь, которому Иван Висковатый после полоцкого похода докладывал о делах типографии чуть ли не ежедневно.

Дверь испуганно раскрылась, в заполненную работниками печатню вбежало несколько служников и вооруженных саблями и топорами стрельцов, вошел царь-



кий охранник Матей, а за ним и сам Иван. В длинной, окаймленной мехом накидке, скрывавшей легкие кожаные сапожки и неуклюжую косолапость, он, казалось, проплыл к верстаку, взял с него несколько свежееотиснутых страниц, склонил набок голову и ласково осмотрел окаменевших печатников; узнал Иоанна и, уже приближаясь к внесенному трону, пальцем позвал к себе. Взял еще страницу с полки — и протянул Матею:

— Читай.

— Прошу простить, ваше царское величество... — пал на колени оторопевший охранник. — Не обучен сему...

— Хм, — сощурил глаза царь. — Думаешь, токмо деньги, мечи да пушки царскую власть умножают? — И, оторвавшись от Матея, обратился к Иоанну: — И доселе, дьякон, веришь в то, что книга великую силу имеет?

— Да, государь! — Иоанн уверенно склонил перед царем голову, сделался неподвижным.

— Более великую, чем у денег и оружия? — переспросил царь.

— Истинно так. — Печатник словно очнулся; не отрываясь от царских глаз, искрящихся, покрасневших, договорил: — Наступит время, когда книга завладеет всем миром Божиим, ведь через Его слово призвано победить и деньги, и мечи, и пушки.

Царь довольно покивал головой; забрав у Матея книжную страницу, потрогал ее пальцами, осмотрел с обеих сторон, даже понюхал — и протянул Иоанну:

— Тогда ты читай!

— «Первое убо слово, — начал запевно дьякон-печатник, — сътворихъ о всехъ, Феофил. О нихъ же нача Иисусъ творити же и учити, до него же дне заповедавъ апостоломъ духомъ святымъ. Ихже избра, възнесеса предъ ними и постави себе жива пострадании своемъ въ многихъ истинныхъ знамениихъ»...

— А кто этот Феофил, к которому вначале обращение идет? — прервал царь и, подняв покрытую монаршей шапкой голову, зачарованно посмотрел на печатника.

— Как свидетельствуют ученые отцы церкви, — печатник перевел взгляд на иконостас и перекрестился, — Феофил был синклитиком и князем. Его называли властвующим среди правителей. Сам апостол Павел обращался к нему через евангелиста Луку из Антиохии: «Пришла мысль и мне... последовательно описать тебе, высокоуважаемый Феофил, дабы ты изведал твердую основу того учения, в котором был наставлен...» — Иоанн заметил, что царь слушал его, словно очарованный школяр, и продолжил: — И каждый человек, кому неподвластны страсти греховные, есть высокоуважаемый Феофил, по-нашему — боголюбец, достойный слушать Святое Евангелие.

Царь вздрогнул, мотнул одобрительно головой, вскочил и резко подался к двери, там задержался и снова спросил:

— А почему у тебя, дьякон, крест на груди деревянный, а не железный или серебряный, как у других церковников?

— Крест Христов одинаковую силу имеет — золотой ли, деревянный... А Господа нашего на деревянном и распяли... — Иоанн хотел еще о чем-то договорить, но царь прервал его:

— Вспомнил я похожий, деревянный... В Полоцк его по просьбе митрополита Макария возвратил. Кстати, иду теперь принимать полоцких посланцев. Посмотрим, что там надумали...

Как внезапно царь со свитой заявили, так вмиг и исчезли. А печатники продолжили свою работу аж до глубокого вечера, под сенью слеповатых свечей и светочей слов Божьих.

В тот же поздний вечер из московского Кремля выгнали посольство Великого Княжества. На переговорах бояре озвучили царское условие: Рига, Вильно и Киев должны признать его волю. Литвины же затребовали не только дать покой Ливонии-



Инфляндии, но и вернуть Смоленск, Брянск и Псков, во времена Витовта Великого зависимые от Княжества.

— Гнать щенков Сигизмундовых собаками моей псарни двадцать верст от Москвы! — Иван не мог сдержать своего гнева. Он до хруста сжимал в кулаки длинные пальцы и дико кричал: — Гнать! Гнать!

Слуги долго боялись приближаться к царю, а когда отпоили-успокоили его хмельным взваром, услышали тихий шепот:

— Приказываю быть походу...

Он начался в январе нового 1564 года от Рождества Христова. Минувшей осенью отошел в вечность митрополит Макарий, и что-то тревожно-неопределенное затаилось в царском сердце. Всеми фибрами телесными он ждал новой беды — намного большей, чем смерть своего опекуна и покровителя Макария... или даже чем недавнее поражение Курбского в Ливонии. Дворовые чернокнижники и ворожеи советовали до следующей осени не начинать значительных дел, но царя не уговорили. Он был люто оскорблен Литвой, потому, ощущая свою во много раз превосходящую силу, загорелся мстостью.

Однако сердце тревожно ныло, и царь решил остаться в столице, а военную кампанию доверил возглавить полоцкому наместнику Шуйскому и опытному князю Петру Серебряному. Первому приказывалось выступить из завоеванного Полоцка с полками в двадцать тысяч, второму — из Смоленска, где соберутся около пятидесяти тысяч ратников. Войско должно соединиться под Оршей и дальше идти на Менск, Наваградок и Вильно.

Оскорбление за прошлое поражение жгло сердце и гетману Николаю Радзивиллу. Его воины, закаленные не одной кровавой баталией, шли с ним либо за смертью, либо за победой. У многих из них московиты забрали-убили родных.

Однако силы были неравны, и Николай Радзивилл, имея от разведки достоверные сведения о количестве и перемещении противника, решил не позволить слиться его двум отрядам. С небольшим загонном в несколько сотен лучших всадников он атаковал авангард Шуйского, но после напряженной сечи отступил. Одержимые успехом и желанием пленить литовского гетмана, получившего прозвище Рыжий, московиты бросились в погоню, оголив тем основную колонну. На реке Улла у Чашников на нее и обрушилась лавина литовского войска.

Сначала на стрельцов, не успевших выстроиться в боевые порядки, налетели крылатые гусары. Как небесные карающие ангелы, они срывались с противоположного берега и разрезали длинную колонну неприятеля. Затем из засады загрохотали пушки, в бой вступили пищальщики и другие пехотинцы. Московиты потеряли полководца и отступали в большой панике, спаслись только сдавшиеся в плен.

Но из-под Смоленска вышло еще большее войско, и Николай Радзивилл не полнился победной радостью.

— Не гоже лить кровь христианскую! — сказал он своим гетманам и тысячникам. И те предложили новую хитрость: послали по смоленскому пути своих гонцов, якобы в Вильно и Менск, с письмами о быстрой победе над Шуйским и решении войска Радзивилла немедленно идти на полки князя Серебряного. Гонцов пленили московиты и нашли у них гетманские эпистолы. «Основные полки Сигизмундовы пусть тоже встречают неприятеля под Оршей, ибо с армией полоцкого наместника Шуйского навсегда покончено», — приказывалось в них, хоть под началом Радзивила уже не было ни основных полков, ни даже запасных.

Однако эпистолы сделали больше, чем пушки и мечи — они охладили боевой пыл врага. Князю Серебряному уже не с кем было соединиться под Оршей, потому он, чтобы сохранить силы и не оголять западные границы, вознамерился возвращаться назад. А тут — ночная атака, пушки, всадники с огненными пиками и крыльями-ветрилами за спиной... Наспех укрепляя оборону, основная часть московитов, бросив обозы, отступила в Смоленск.



Вильно приветствовало победителей и их гетмана Николая Радзивилла, который въехал в Острую Брамму на белом коне князя Шуйского, снял узду — и бросил под ноги горожанам.

Москва же встретила горькое известие о поражении своих полков. Царь в тот вечерний час пировал с приближенными боярами в главной трапезной. Гонца выслушал спокойно, даже и бровью не повел — только лицо побелело. Выпил «Петерси-моны», обошел вокруг стола и налил с большого кувшина каждому, поломал хлеб и разложил на серебряную мису, долго смотрел на нее, а потом, диковато улыбнувшись, однотонно заговорил:

— Отдают иуды тело мое на закляние. Измена сквозь стены сочится. А посему, друзи мои немногие позванные, пейте кровь мою, ешьте тело мое, — он показал рукой на вино и хлеб. — И пусть сбудется, что суждено...

Присутствующие молчали, а в Ивановой груди начинала разгораться ярость. Он попытался притушить ее, заходил, мотая головой, вдоль стены, но глаз выхватил блеск копья в руках одного из стражников — и царь с минуту зачарованно гладил прохладное острие, а затем вырвал копье, поднял над столом и прошептал:

— А пока наша кровь на Голгофу потечет, посмотрим, какого цвета она у наших супостатов! На охоту!

Бояре вскочили и заспешили за царем — через тронный зал и колоннадный коридор, ко входу в подземелье, в подвалах которого уже год гнили десятки литовцев.

— Режь отступников! — закричал царь и вогнал копье в чье-то почти безжизненное тело. Глянул на пособников, скривился: — Слышите, какое зловоние от них исходит?!

Пока бояре добивали пленников, царь через ржавую решетку смотрел в наполненные диким ужасом глаза очередной жертвы. Он покрутил копье, погладил — и бросил в узника, но тот неожиданно метнулся в сторону и перехватил копье. Бедолага настолько исхудал, что некогда тесные веревки легко сползли с костей, обтянутых кожей. Его сил еще хватило, чтобы направить острие в царя, но неотступный Матей выпрыгнул вперед — и копье пробило ему ладонь, войдя в сердце.

Узника посекали на куски и немного успокоились.

— А сейчас — наверх! Выпьем за будущие победы да оплачем друга нашего! — с дрожью в голосе молвил царь и, поцеловав еще теплый лоб Матея, сунулся к выходу.

6.

Ясным весенним утром она спешила в метро.

Из припаркованного возле подземного перехода черного джипа навстречу ей вышел улыбающийся Жокей:

— Екатерина Александровна?..

— Я... — удивилась девушка.

— Здравствуйте. Имено честь и радость сообщить, что вы выбраны лицом нашей столицы и приглашены... в центр красоты при Министерстве культуры, — Жокей снова нежно улыбнулся и, мягко взяв Екатерину под локоток, повел ее к машине, но она отвела его руку:

— Подождите... Я же никуда не подавала заявлений.

Лицо Жокея стало серьезным и ответственным:

— На то оно и государство, чтобы заботиться о самом дорогом, что в нем есть.

Этот пафос еще больше встревожил Екатерину.

— И что я должна делать в этом... центре красоты? — с недоверием, часто моргая, спросила она.

— Ну... Чисто представительские функции... Модельное агентство, телевидение, церемониальные торжества. Скажем, первым лицам страны подать кофе. Встретить кого с хлебом-солью... — Жокей напустил на лицо игривость. — Да что мы обо всем



на улице говорим? Приглашаю в гости! — Он кивнул на машину. — Подъедем, сами увидите...

Екатерина внимательно изучила глаза Жокея и озорно ответила:

— Знаете, Центр Красотович... Простите, не представились... Не хочу показаться банальной, но с незнакомыми мужчинами на чужих машинах я не езжу.

— Простите, заговорился на радостях... Я — Виктор Викторович. Вот моя визитка. Там телефон и адрес. Ждем вас в любое удобное время. Только непременно сегодня или завтра! Договорились?

Екатерина пожала плечами.

— Не забудьте, пожалуйста. Жде-ем! — Жокей интеллигентно склонил голову и, еще раз улыбнувшись, быстро пошел к машине. Проследив, как Екатерина спряталась в подземном переходе, он сильно прикусил губу и завел двигатель.

Через два дня он сам позвонил девушке на мобильный:

— Екатерина Александровна, приветствую вас! Это Виктор Викторович... Что случилось? Почему не приехали?! У вас все хорошо?

— Спасибо, хорошо...

— И...

— Как бы попроще выразиться... Не заинтересовало меня ваше предложение.

Жокей отодвинул трубку, проглотил терпкий комок, вздохнул и заговорил как можно мягче:

— Я вас понимаю. Подобное предлагают не каждый год и не каждому... Но подумайте хорошо! Вот-вот окончите университет, и что — ехать в глухомань по распределению? А тут — столичная прописка, жилье, неплохой заработок... Популярность, влияние, слава... — в голос с каждым словом прибавлялось медового еля. — Повторяю, работа около первого лица страны. Тысячи тысяч на вашем месте не задумывались бы.

— Виктор Викторович, задумалась не только я, но и мой жених. В июне у меня свадьба.

Жокея как ошпарили. Он ощутил, как по спине побежал пот.

— Алло, вы меня слышите?

— Да-да... — с силой выдавил помощник.

— Скажите, а под первым лицом вы... имеете в виду президента? — было заметно, что Екатерина тоже волнуется.

— Вы правильно поняли.

Еще через несколько долгих секунд молчания в трубке послышался дрожащий девичий голос:

— Так вот... Простите, конечно, но этот человек мне очень... неприятен. И мне тяжело с ним даже в одной стране находиться... Прощайте!

К вечеру у него было полное досье на Екатерину Беловскую. Спецслужбы постарались, и Жокей не без интереса узнал, что ее воспитывала мать — учительница языка и литературы. Аттестаты, отметки... Характеристики, университет... Круг интересов... Поэзия, классическая музыка... Полмесяца тому подала в загс заявление с... Юхансоном, первым секретарем посольства Финляндии, известным своими симпатиями к оппозиционным структурам. По оперативным сведениям, через его руки ведется финансирование многих антигосударственных проектов. Разумеется, все прикрыто заботами о правах человека и свободном обществе.

Жокей глотнул давно остывший кофе и набрал номер Бадакина:

— На месте?

— Да, а что? — зевнул тот.

— Будь готов подскочить к хозяину. Тут попадалово на наши головы...

Терпеливо, как сквозь дремоту, президент выслушал доклад помощника и гневно треснул кулаком по столу — так, что даже ночная лампа дрогнула и погасла.

— Я их научу! Я им покажу и загсы, и права, и свободы! — скрежетнул он сильными зубами и приказал: — Утром с председателем госбезопасности — ко мне! С планом оперативных мероприятий! По полной программе!



Помощник понятливо кивнул и, предчувствуя нехорошее, медленно попятился к двери. Президент нервно пощелкал выключателем, а затем схватил лампу и, выдрав из розетки, швырнул в оторопевшего Жокея: — Долиберальничались! Теперь ноги о нас вытирают!..

К следующему вечеру были задержаны все активисты оппозиционной Народной лиги, в ее центральном и региональных офисах прошли обыски. На десятки партийцев, включая председателя Роликова, возбудили криминальные дела. Столичный изолятор заполнили «политическими». Указом правительства были лишены лицензий все частные типографии, конфискованы тиражи независимых газет — их и так было только две. Юхансона же обвинили в шпионской деятельности и попытке организовать в стране антиконституционный переворот. Дипломату вручили соответствующую ноту и обязали в течение суток покинуть страну.

Срочно отозвали из заграничного отпуска Ивана Федоренкина, и лично председатель Службы госбезопасности Бадакин проинструктировал его о необходимости создания серии телефильмов о вражеской деятельности западных разведок и их дружбе с местными коллаборантами-оппозиционерами.

— Должен постараться! В твоём распоряжении вся компра, записи и средства. Ясно?

Лицо Федоренкина перекошилось. Телевизионщик нахмурился и задумчиво потер ладонью ребро стола, заваленного папками, дисками и видеопленками.

— Что?.. — насторожился Бадакин.

— Все понятно, — голос Федоренкина терял былую звонкость и уверенность. — Только этого недостаточно...

— Что?!

— Необходима поездка за границу, чтобы на месте доснять материал. Да и соответствующие сюжеты с нашими тамошними сторонниками записать...

— А-а... — успокоился Бадакин. — Так чего тяготишься? Вперед! Времени, сам понимаешь, с комариный язык!

Есть ли тот орган у комара, нет ли — службист не имел представления, но если б знал в ту минуту, что приближенный и обласканный хозяином тележурналист спешно полетит за границу и там попросит политического убежища, плюнув на все... если б знал, то лучше бы перед той встречей свой язык проглотил!

VII.

У дьяка Висковатого были для царя две новости. Одна скверная, вторая тоже неизвестно чем грозила вылиться. И обе надобно было довести до царских ушей. Но как, если царь уже неделю никого не подпускает к себе, а через своего нового постельного десятками раздает указы о высылках и казнях?

— Бросают иуды тело мое на заклятие... Измена сквозь стены сочтется, — монотонно повторял Иван и велел схватить нового воеводу. — Не пошел сам я в поход на Литву, так они меня Сигизмунду за тридцать сребреников заложили...

Дождавшись царя в трапезной, Висковатый, превозмогая одышку, выговорил долгую тираду во славу хозяина, а когда тот указал на стол, с трудом поднял с колен свое отекавшее тело и поведал о прибытии в ливонский Дерпт послов от шведского короля Эрика.

Царь уронил жареное гусиное крыло и, перестав жевать, внимательно уставился в глубокие, как у дикого кабана, глаза руководителя своего посольского приказа.

— Да, государь, приехали искать с великим московским царем согласия и мира, — затараторил Висковатый. — Стало известно, что Дания и Польша приложили печати свои к мирному соглашению, вот шведы и всполошились...

— И чего хочет Эрик? — царь жадно запил мясо вином и сжал худые челюсти.

Висковатый отклонился к спинке, и кресло жалостно проскрипело под его тяжестью.



— Он отказывается от Ливонии, за исключением Ревеля.

— И что взамен?

— Насколько я знаю, ничего. Помимо, разумеется, дружбы с тобой, великий государь.

Иван хмыкнул, подтянул к себе жбан с вином — и вдруг словно просветлел.

— Ты... это... Немедля ответь, что московский царь зла не держит и желает принять шведское посольство, но перед тем напоминает королю Эрику... — в зрачках блеснули озорные огоньки, и голос царя смягчился, — напоминает о выдаче непокорной польской королевны Екатерины.

— Будет сделано, — Висковатый поднялся и, склонив голову, задом попятился к выходу, но царь остановил:

— Смотри, снова дело с Екатериной какому-нибудь Сукину не доверь! А то в другой раз я вас обоя в один гроб положу...

Висковатый застыл с открытым ртом, а Иван склонился над столом, подпер лоб рукой и завершил:

— Там, в Дерпте, Ванька Курбский от гнева моего киснет. Поведоми ему, что высохла обида моя — и доверь ему Екатериной заниматься.

Висковатый едва не обмер, в глазах проплыли красные круги... Вот она — новость вторая, которую вынужден он был сообщить, но так и не осмелился!

— Государь... — выдал он, почувствовав, как на спине выступил холодный пот. — Доложили мне сего дня, что Курбский исчез...

— Что?!

— Нет его в замке... И еще двенадцать бояр с ним...

Ивана как обдали кипятком. Недоуменно мигая, он заговорил словно сам с собой:

— Может, на охоту подался? Как это — нет?..

— Говорят, что переодетым через стену цитадели перелез. Золото и деньги забрал... — Висковатый с трудом находил слова. — Жена с сыном остались...

Иван отрешенно встал из-за стола. Продолговатая голова затряслась, ее жирные пряди вдруг показались Висковатому змеями.

— Надо было его вместе со щенком Адашевым на кол посадить! Еще когда сыну моему крест целовать отказался... — Иван качнулся, схватил жбан с вином и швырнул в Висковатого. Попал в живот; красная жидкость плеснула на лицо и бороду, взорвалась на каменном полу липкой пеной и стекала по черному кафтану. — Вон, иуды! И я из Москвы съезжаю! Подавитесь моей короной! — Царь сорвал с себя шапку и снова бросил в онемевшего Висковатого.

В конце 1564 года Москва неожиданно осталась без хозяина. Иван IV, сложив свой скарб и царскую казну, отобрал сотню бояр и тысячу стрельцов и отправился в Коломенское, где свирепая буря и пьяные оргии задержали его на две недели. Затем были остановки в подмосковных Тайнинском и Троице, лишь после обоз добрался до невеликого Александровска, с северной стороны Владимира. Там, приказав расстраивать Александровскую слободу, царь решил зимовать и послал в Москву к новому митрополиту Афанасию гонца с письмом. Висковатый еле успевал записывать холодной рукой:

— Отяжелела душа моя от множества злодеяний, совершенных воеводами и людом служивым. Опалился я на всем и на всех в государстве своем — от первого до последнего человека. Провозглашая опалу свою, сообщаю тебе, владыка, что решил я сложить венец, оставить царство свое и поселиться там, где Бог покажет...

Назавтра в Москву повезли и второе послание — к купцам и всему православному люду — о том, что царь на них не гневается и никакой обиды не держит.

Москва неожиданно погрузилась в непонимание и неопределенность. Взволновался народ, всполошилось боярство. Купцы просили сообщить царю, что готовы пожертвовать своими пожитками ради общего спокойствия.



И начали искать виновных, а над некоторыми — и вершить самосуды. Уже не первый месяц настраивал московских священников против царских печатников Иван Висковатый, с первого знакомства с дьяконом Иоанном почувствовавший от того угрозу — чем же тогда он, глава царского летописного дела, будет со своими писцами заниматься? Висковатый распускал по Москве и окольным монастырям слухи о множестве ошибок в недавно выданном «Апостоле» (словно их было меньше в книгах рукописных), а самих печатников называл чернорукими еретиками.

Начинало вечереть, когда к типографии пришли священники с несколькими десятками простолодинов. Петр Мстиславец с Гринем только успели разобрать формы и мыли их на задворках. По ручью сбегала на снег, покрываясь легким паром, черная от краски вода.

— Смотри, народ православный — в их книгах черт руки умыл! — показал на воду кто-то из сухощавых людей в рясе. — Нечистивцы! И дела нечистые совершают! Гони вон изузитов!

Часть толпы ворвалась в типографию и в кровь избил ошеломленного Иоанна. Тот же сухощавик схватил кипсей и, крикнув: «Вот эта черная дьявольская кровь, которой они мажут святые слова!» — стукнул им об верстак. Пособники уже воротили наборные соты и разбрасывали оттиснутые страницы. А у дверей слышалось:

— Жги волхвов-бесов!

— Смерть лютым еретикам!..

И вмиг, как заранее подготовленный, вспыхнул огонь. Толпа спешно выбила несколько окон и высыпала наружу. С бумаг пламя вскочило на смольные стены, застывая двор дымом. Пока Мстиславец с Гринем вытягивали бесчувственное тело Иоанна, пламя добралось к потолку и начало лизать крышу...

Через несколько дней к Иоанну — печатник только-только стал на ноги — пожаловал Силуан. С его уставшего большого лица не сходила тревога, хотя глаза сияли одержимостью и тайной.

— Сочувствую тебе, брат, и хвалю Бога человеколюбного, жизнь тебе сохранившего, — он присел у кровати и попросил хозяйку, жену Иоанна, принести воды. Когда дверь притворилась, прошептал: — Все, что ты мог тут сделать, сделано. Собирай, что осталось, да съезжай отсель. Отправляйся в Литву — там такие как ты нужны. Благо — снег, дорога санная есть, — Силуан понизил голос и заговорил возвышенно: — А с собой, попрошу любезно, вывези вот эту книгу... — он вынул из-под полы длинного кожуха переплетенный желтой кожей манускрипт и, проведя ладонью по сияющим камням инкрустации, словно прощаясь, положил его на подушку. — Думаю, до Киева вначале довезти надобно... — Вошла хозяйка с корцом в руках; Силуан без охоты глотнул воды, поблагодарил и добавил: — Там при Святой Софии еще от Максима Грека должны остаться ученики-монахи. Может, они еще не перестали называться иоаннитами — так им и молю передать книгу. И наказ Максима, дабы на Патмос доставили...

— Это византийское Евангелие?! — удивился Иоанн. Показалось, даже вспыхнули глаза под долгими веками-мотыльями, а синяки на лице прояснились. — Как раздобыл?!

— Царь, сам знаешь, уехал. Собирался спехом. А его холопам деньги не лишними показались...

— Молодец!.. — Иоанну не хватало слов. — Только... А почему бы тебе самому с нами не податься?

— А найдется место?

— Как тебе не стыдно говорить такое?!

— Ну, спасибо, ну и хорошо, — улыбнулся успокоенный Силуан, и его куцый нос словно растянулся. — А то я, знаешь, все равно тут не имею крова. — Подмигнул и пояснил: — Много денег запросили за книгу, так довелось свой дом продать...

В безвластной Москве множились покражи и поджоги, и богатейшие из бояр упростили митрополита поехать в Александровскую слободу, дабы умолить царя сменить гнев на милость и возвратить его на трон. А когда понадобится, наказывали, пускай судит тех, на кого опалился.

Это была новая победа Ивана — не над врагом-супостатом, а над своим народом. Самовластно он ввел опричнину, разделив страну на две части. Там, где сохранялся старый порядок, где управляли воеводы, наместники, судьи, кормленщики с вотчинниками, над всем Иван поставил своих бояр. Другой частью он наделил себя. У бывших хозяев-наследников отбирались земли и люди, а самих — если оставались верными царю — переселяли в другие вотчины.

Изменялись судьбы народа и страны.

Изменялись и судьбы слов. Слово «опричнина» происходило от старомосковского «опричь» (помимо). В прежние времена так называлось имущество, отошедшее после смерти мужа вдовам. На пирах так называли угощения, которыми хозяин хотел полакомить избранных гостей. Опричниками звались крестьяне, поселившиеся на монастырских землях. При Иване Грозном же это слово и однокоренные с ним приобрели совсем иное значение...

Первые дни после возвращения в столицу царь выглядел спокойным. Не новые ли сны были тому причиной — соблазнительные сны о таинственной королевне Екатерине? Чудесным образом меняя лики, она улыбалась и летала над царем. А он снова и снова пытался схватить за нежно-белесую руку... и уже ощущал ладонью ее перстень и дрожащие пальцы, как Екатерина вдруг превращалась в белую лебедку.

Назавтра Иван запретил подавать на стол жареных лебедей и приказал Висковатому лично отправиться к шведскому королю Эрику XIV с вопросом о польской королевне.

Она, Екатерина Ягелонка, после венчания с братом Эрика Юханом была уже герцогиней финской, но ничто — ни женитьба, ни святость чужих обвенчанных уз, ни желание самой женщины — не могло охладить распаленного новыми снами и грезами похотливого царя. И Иван не жалел Эрику ни щедрых подарков, ни богатого обещания обменять Ливонию на Екатерину.

Некогда король Эрик и сам противился связи своего брата Юхана с сестрой Сигизмунда, усматривая в том опасность в виде самостоятельной Финляндии. Но как теперь шведскому монарху выдать свояченицу?!

— Остерегайся! Юхан с Польшей плетут сговор! — нашептывал шведским придворным посланец Висковатый. Те пересказывали все у трона, и нервы короля Эрика не выдержали — с небольшим войском он пленил Юхана и направил его с женой в замок Грипсхольм.

Передать царю эту новость приехал сам Висковатый, а с ним — и шведский посол. В феврале 1567 года в Александровской слободе было подписано союзное соглашение между Стокгольмом и Москвой.

— Вы будете иметь от меня и помощь в примирении с Данией, а когда понадобится, и военную поддержку, — обещал повеселевший царь. — Только вышлите мне герцогиню Екатерину. И помните, — предостерег он посла, — если с ней по дороге что-либо случится, я разорву соглашение.

Но заносчивая Ягелонка восхотела разделить судьбу своего узника-мужа!

— Я не буду более ни чьей женой, даже если вы сделаете меня вдовой! — твердо отвечала она.

Юхан за «измену интересам монархии» был приговорен к смерти и с лета 1563 года вместе с женой находился под стражей. Однако шведский король Эрик никак не решался дать последний приказ — убить своего брата. Герцогиню же Екатерину не сломали ни леденящие угрозы, ни медовые обещания. А тут еще император Максимилиан в своем манифесте осудил шведов как нарушителей мира и союзников варварского московского государства. И последние предупреждения высказал Сигизмунд, собираясь объявить войну за свою поруганную свояченицу и ее детей: в зак-



лючении Екатерина родила двух дочерей и сына, названного в честь дяди-короля Сигизмундом...

Иван был опьянен казнями и кровью, но мысли о недоступной Екатерине трезвили его. Он переступал через трупы и жертвы, а ее образ представлялся светлым ангелом-спасителем. Во имя его он не пожалел бы и своей жизни!

— Этот коронованный купеческий сын может испугаться, — сказал Иван об Эрике. — Прижмите его и без Екатерины не возвращайтесь! — и отправил в Упсалу новых посланцев. Прибыв на место, они уже готовились даже выкрасть-выкупить непокорную полонянку, как случилось непредвиденное — «коронованный купеческий сын» предстал пред ними в помутневшем рассудке! Более того — он приказал освободить Юхана!

Несколько дней менялись у королевской кровати врачи, все они констатировали: король утратил рассудок.

Двор охватило оцепенение, а Эрик совался по длинным коридорам и, осознавая себя узником, молил брата о прощении...

В сентябре 1568 года новым шведским королем был объявлен Юхан, а его верная жена Екатерина из Ягелонов надела на себя корону северной империи.

И сотнями полетели на московской земле холопские, боярские и княжеские головы. Царь возвратился из Александровской слободы — и начались на Красной площади прилюдные пытки. Жгли и грызли человеческую плоть жаровни и клещи, ждали жертв котлы с кипятком и виселицы. Народ московский за несколько дней насытился страшными зрелищами и прятался по своим закуткам, и царские глашатаи вынуждены были созывать их: «Не бойся, люд православный! Справедливый царь токмо предателей своих казнит!»

И понемногу опять стягивались на площадь зрители, и царь приказывал начинать казнь новых изменников — посланца-дьяка Висковатого, казначея Фуникова и прежнего любимца Басманова. Первого повесили за ноги и порубили долгими ножами. Второго обливали то кипятком, то ледяной водой, пока мясо само не начало отставать от костей. Басманова же царь приказал собственноручно убить своему сыну — царевичу Федору, наследнику московского престола.

Иван отстранил от себя все старое окружение, приблизив безродного мужика, за которым наблюдал еще во время отъезда из Москвы — Ваську Грязного.

— Бояре привыкли предавать своего хозяина, — сказал ему царь, позвав к столу. — И не только бояре... Вот был при дворе моем круглоголовый собака Адашев. Каким-то образом поднялся до служивых... Мы же взяли его из гноя и сравняли с вельможами... — царь вздохнул и завершил: — Смотри же! На вас, простых православных мужиков, у меня последняя надежда осталась — на верность вашу и преданность.

— Ты, царь, как Бог для нас, ведь из малого человека большого можешь сделать! — потрясенно выкрикнул Васька Грязный и бросился целовать царю ноги.

Сложил свой белый клобук митрополит Афанасий, спустил дух в руках приближенного Иваном служника Малюты Скуратова митрополит Филипп — а гнев царский никак не остывал. Его вновь воспаляли слова доносчиков — и тогда истреблялись уже целые города. Выгнали из Новгорода вора и бродягу Волынца, а он, захваченный разъездом опричников, поведал о страшном сговоре своих обидчиков, новгородских жителей, с королем Сигизмундом. Якобы, божился, и соглашение то с подписью новгородского митрополита Пимена видел, и знает, что ту грамоту за иконой Божьей Матери в храме Софии прячут.

Так было или нет, но Иван сам возглавил опричное войско — и дорогу от Клина до Новгорода превратил в пустыню. Передовые сотни ворвались в Новгород и к приезду царя выстроили всех священников и дьяконов на правех.

В город в сопровождении полутысячи стрельцов прибыл царь с сыном. Он возжелал смерти изменникам и приказал митрополиту Пимену служить обедню в



Святой Софии. Затем весело пообедал у владыки — и митрополита с челядью, сорвав одежды, бросили в подвал. На второй день волна пыток настигла и горожан. Их сотнями мучили огнем и железом на рыночной площади, а затем гнали к Волховой круче, не замерзающей зимой, и топили. Детей привязывали к матерям, мужчинам, дабы не сопротивлялись, скручивали за спины руки. До вечера по реке в лодках совались — будто страшные хароны — опричники и копьями добивали живых.

Грабильсь монастыри, и осатаневшие царские всадники в черных монашеских рясах преданно присягали своему благодетелю:

— Мы соорудим в твоей, царь, слободе монастырь праведный! Ты — наш игумен! Скуратов — пономарь при тебе!

Привязав к седлам собачьи головы и метлы, они еще день гойсали по опустевшим селеньям — и вместе с царем направились к Пскову, где встретили на заснеженной дороге босого юродивого, закутанного в вонючее тряпье.

— Хочешь? — тот достал из-за пазухи кусок мяса и протянул Ивану.

— Пост! — крикнул царь.

— Пост?! — выторочил глаза юродивый. — А мясо человеческое тебе кто решил жрать?

Проворный Скуратов уже поднял над беднягой саблю, но царь крутанул головой:

— Пусть идет Божий человек своей дорогой.

И приказал возвращаться в Москву.

7.

Надорвалось в нем что-то — и сам понимал, но связывать ни сил, ни желания не было. Сколько ж можно: ни дня без хлопот, доносов, разборок! И чем дальше, тем больше. А тут еще крысами с корабля побежали те, кому более всех доверял, кого учителями или учениками считал.

Защ... Видите ли, не угодил ему, не послушал! То символика ему не та, то газету не ту прикрыл. Сиди, казалось, на старости... как у бога за пазухой, отдыхай, лечись, радуйся своим последним райским годам! Нет же! Невтерпеж ему учить-поучать, будто за жизнь не научил... Нашел вечного студента! Угрожать он еще будет... Вот и копайся теперь, помидоры на лоджии выращивай!

Или взять еще этого змееныша-тележурналистика... И то ему, и это! С рук же кормился... Хрюкай спокойно, казалось бы, у корыта...

Но не это главное... Доложили об итогах последних засекреченных опросов — рейтинг его до плитуса опустился. Этому электорату, хоть в паркет разбеяся, начали импонировать песни роликовых и их подпевал! А ситуация такова, что хватит и одной искры... Рабочие с касками на мостах уселись. Пенсионеры-мухоморы памятки старым вождям облепили. А эти сонные свиньи из Думы импичмент готовят! Взять бы — да шилом в бок...

Спецслужбы хорохорятся: то один вариант, то другой предложат — а у него неожиданно руки опустились. Сколько ж можно! Какой это пуп выдержит... Даже после той чертовой операции...

Окончательно сорвался он после истории с той чернявой студенткой Екатериной. Раньше выпивал только символически, а тут пошло-потекло — коньяк, виски, текила... Всю осень в Воронихе гулянки. И долгоножки-манекенщицы, и грудастые певицы, и продвинутые институтки... Жокей ежедневно совался с неотложными проблемами, а когда попал на более-менее протрезвевшего президента, услышал безапелляционное:

— Да пошло все на хрен! Устал я — и ухожу. Государственное содержание мне до смерти гарантировано, а вы все, коль не нравлюсь, ищите лучшего! Посмотрю, что получится...

И пока что не получалось ничего. За президентом, почуяв что-то неладное, подались двое наиболее ушлых нефтегазовиков, а затем и все правительство. Понят-

но, не оставили свои делянки специалисты в штатском, которые бывшими, как известно, существовать не могут.

Власть перешла к Думе, но ведь законодатели — не исполнители! Захромала вся государственная система. Начались перебои в добыче и поставках нефти и газа, которые привели к громадному недобору налогов в бюджет. Акции упали. На рынках — обвал. Подскочила инфляция. Снова задержки с выплатами заработков и пенсий, неразбериха и пустые полки.

Экономисты Народной лиги *трибунили*, что во всем виноват прежний режим, добивший страну, что-то плели о банкротстве Центробанка, о предыдущих безмерных кредитах и отсутствии золотовалютных запасов. Но от тех признаний в людских ртах слаще не становилось. Народ все чаще вспоминал Мороза, и под Новый год тот... возвратился — на белом коне-олене и с декретом о восстановлении своих полномочий, во имя спасения нации и вывода страны из экономического коллапса.

В тот же день президента поддержали и спецслужбы, и полиция, и армия, которых без него начали уже сокращать. В целях наведения надлежащего порядка была распущена Дума, а несколько десятков несговорчивых депутатов поучили коваными сапогами и выбросили из здания.

— Никто из них не должен избраться в состав нового парламента... — как уже о решенном бросил президент во время ночного совещания с силовиками. — Помимо тех, кто оставил Думу сразу после моего ухода... По столице и регионам — тотальный контроль! В особенности — за неблагонадежными... Задействовать все силы и средства! И еще... Утром разблокируйте секретный стабфонд. Надо срочно выдать народом пенсии и зарплаты. Лично проверю! Все.

Каменная ночь поглощала город. Высокие стены, которыми руководители столетиями отгораживались от своего народа и которые новые власти каждый раз раскрашивали в свой цвет (как, впрочем, и резиденцию), — те стены неумоимо отбрасывали на пустые заснеженные улицы длинные тени. Апельсиновая луна зацепилась за колокольню Архангельского собора и дрожала на морозе. Словно рапортуя ей, робко мигали желтыми зрачками светофоры. Завоет там-сям сирена, протарахтит, взбивая снежную пыль, БТР или пронесется затемненный автобус с военнослужащими — и снова тишина, снова только промерзшие тени.

После совещания президент прошел через комнату отдыха к личному лифту.

— Иван Владимирович, может, что еще прикажете? — послышался за его спиной мягкий голос вездесущего Жокея.

Президент медленно повернулся, блеснул утомленным, но, чего не было давно, довольным взглядом, уголки губ поднялись в неожиданной улыбке. От бывшего омоложения — ни следа: снова мешки под глазами, морщины на затылке. Кожа пожелтела, а глаза — как желчью налитые. Кивнул-подозвал пальцем — и, вытянув шею, медленно прошептал помощнику в ухо:

— Лично, сказал, проверю... Все.

Затем спокойно шагнул в лифт и нажал кнопку «Х», которой в других лифтовых кабинках администрации не было. Только эта шахта могла поднять своего пассажира напрямую к вертолетной площадке и бронированному секретному залу.

Свет в прямоугольной зеркальной комнате с выходом к двум коридорам включился автоматически — как только остановился лифт.

Цифровой код, приставленный к экрану значок — и толстые двери сдвигаются. От ног до возвышения по всему большому залу поочередно вспыхивают электрические факелы. Пока президент шагал вперед, в центре на потолке загорелась пятиугольная люстра, высветив старый белый трон.

Новый хозяин очарованно погладил вырезанные из слоновой кости подлокотники, спинку, фигуру золоченого византийского орла, но не сел, а подался вглубь, где — словно в заалтаре — на черном мраморном пьедестале лежала черная рака-гроб с останками царя Ивана Грозного. Лежала уже шесть месяцев — с того дня,



когда он решил было уйти. Уйти — чтобы возвратиться. Возвратиться — как утреннее солнце, как птица Феникс, как и эта мумия прежнего царя, некогда эксгумированная перед реставрацией Архангельского собора по нецерковному советскому приказу.

О той эксгумации ему, еще зеленому студенту, рассказывал в колоритных деталях профессор Заяц. Тогда он, комсомолец, воспринимал все как потешные басни. Да и позже не до спиритизма было, пока что-то не загорелось, не переключилось в его голове.

Он прокосолапил к пьедесталу и, ощущая во всем теле пьянящую дрожь, прилип помутневшими зрачками к пустым глазницам серо-пепельного черепа...

VIII.

Нет худшего наказания, нежели видеть крах совершенного тобой. Видеть, как за несколько лет прахом идут жизненные потуги, испепеляя оставшиеся силы и нервы.

Об этом еще не догадывались даже лукавые бояре, не говоря о войске и служивых; еще державными заботами ежедневно наполнялся тронный зал в Александровской слободе и грозно опирались на каменные колонны тяжелые потолочные своды; еще роскошь ползла по громадным коврам от низких входных дверей — и каждый, какого бы рода-племени ни был, вынужден был в них кланяться царскому престолу; еще по-прежнему властно удерживали белый трон фантазмагорические фигуры античных зверей и с левой стороны, как в приемной римского папы, гех сасогит, величественно возвышался образ Богородицы, а справа — образ Спасителя; и еще не остыло храдное впечатление от нарисованных на стенах библейских сюжетов; еще переполнялись преданностью молодые телохранители в белых бархатных накидках с верными топорами на плечах. И по-прежнему во время его появления в длинном долматике с тиарой на голове и державным посохом присутствующими (то ли воинами, то ли монахами в высоких белых шапках-куколях и с золотыми цепями на груди) овладевало рабское молчание, а он, властитель в самой силе и опыте, он уже предчувствовал, что всему этому настает конец.

И первыми оповестили о том — как страшные всадники Апокалипсиса — татарские гизалы, в один день захватившие Москву, оставив нетронутым один Кремль. Иван вынужден был прятаться в своей слободе, пока православная кровь лилась на улицах охваченной огнем столицы, а митрополит с духовенством ждали смерти, закрывшись в Успенском соборе.

Стены Александровской слободы были слабыми, и царь со своими опричниками-боярами перебрался в Новгород, недавно им свирепо разграбленный. Там летом 1571 года окаменевшему Ивану зачитали ханское послание: «Я разграбил землю твою и сжег столицу. Ты же не пришел защитить людей своих. А еще хвалишься, что царь московский! Знай: я не хочу богатств и земель твоих. Я, видевший дороги государства твоего, заберу назад Казань и Астрахань...»

Не подсластило царского отчаяния даже известие о смерти ненавистного Сигизмунда — только по-новому разожгло его думы о королевской сестрице. И приказал Иван привезти к нему в Новгород шведских послов, и опять заговорил с ними о Екатерине.

Ошеломленные потомки викингов напомнили, что Екатерина теперь — их королева, а шведское войско под предводительством ее мужа, короля Юхана, теснит московское в Финляндии, однако Иван сделал искреннюю мину: дескать, не слышал о том, и вообще, то безумные наговоры. А на завтра приказал передать королю Юхану следующую эпистолу: «Скажи нам, кто был твой отец... и как звали деда твоего?! Были ли они королями? Нам же брат — римский император! Твой отец Густав чей был сын? Разве не бывало в его правление, что наши купцы придут в его страну с салом да воском, а он наденет рукавицы и пойдет до самого Выборга шупать товары да торговаться?.. А Екатерину у тебя отбирать я не собирался, был уверен, что муж



ее мертвый, хотел освободить ее и передать брату Сигизмунду, дабы обменять на Ливонию...»

После отъезда шведских послов царь велел привезти крестьянских девок, которых раздели догола и заставили ловить кур, озорно припугнув:

— А ту, которая не управится, будет ловить уже наш медведь!

Затем царь служил всенощную. Уставший и умиротворенный, отправился в опочивальню, где трое слепых старцев поочередно усыпляли его сказками.

Но сон не брал его возбужденный мозг, и снова из затемненного лампадного угла на полном галопе вылетали красные кони, били копытами пол и холодную кровать, крошили царское тело и исчезали в противоположной стене — чтобы через миг адского круга явиться вновь. На самом огненном и лихом скакуне сидела голая Екатерина и норовила бросить на Ивана не то узду, не то петлю. Он и сам намеревался прыгнуть к ней на теплый конский круп, да ноги обламывались, а за кроватью открылась черная яма...

Врач приносил Ивану успокоительный отвар, и кони больше не возвращались, а пол в опочивальне выравнивался.

— Я — царь-игумен, мне не подобает жену иметь... — уговаривал себя в снах Иван. — Я со всей державой заручен...

Екатерина становилась символом несбыточности и муки. Во всех женщинах, начиная со второй жены Марии, он видел ее — норовистую Ягелонку, и искал ее, и мстил за нее, не нашедши, миловал-любил — и в одночасье карал за свои обиды. Марфу Собакину нашли мертвой через несколько дней после разгульной свадьбы. Анну Колтовскую приказал отвезти в монастырь. Марию Долгорукую выгнал из опочивальни после первой брачной ночи — ее в санях бросили в реку. И зажил с двумя — Анной Васильчиковой и Василисой Мелентьевой, которых привез откуда-то Малюта Скуратов; эти двое свирепо возненавидели друг дружку, чем, вначале повеселив хозяина, ускорили свои кончины.

«После них я подарю тебе, правитель, и целомудренную Литву, и гонорливую Польшу», — вспомнились слова Скуратова, коим так и не суждено было сбыться: верный пес Малюта сложил свою голову в Ливонии. В ответ Иван приказал сжечь живыми всех пленников — ливонцев, немцев, шведов, и снова задумался над обещанием слуги-покойника.

После Люблинской унии Литва с Польшей стали одним государством, Речью Посполитой, и ее трон-кровать по Сигизмундовой смерти был свободным.

— Лис не оставил потомства и не добился моей смерти, — рассуждал Иван. — А посему... не сделать ли мне жену его, державу его, своей наложницей?

Все чаще западные шпиги и посланцы доносили ему: Польша с Литвой рассматривают возможность приглашения к себе королем московского царя. В первую очередь шептались о том простые ремесленники да мелкая знать:

— Приелися нам перемены да неразберихи. Пусть придет царь-батюхна и разберется. Порядок своей строгой рукой наведет...

И новая мечта полонила Ивана: отходят Ливония и Казань — а я соберу земли славянские, и от мощи такого государства ослепнут враги!

В Москву приехал уполномоченный польско-литовского государства Воропай и, сообщив о смерти своего короля, поведал о предложении сенаторов искать его преемника в соседних землях.

— Многие желали бы видеть на том месте московского царевича, — загадочно подытожил он.

А Иван словно уже был к тому готов — спокойно пригладил сухонькую бороду, поднял свой острый нос и, под руку проведши длинноногого Воропая в трапезную, где устраивалось богатое угощение, заговорил довольным, любезным шепотом:

— А что... Некогда ж еще отец мой выступал претендентом на польский престол. Знаю, что в Польше и Литве обо мне распускают слухи, как о человеке злом и жестоком. Но на кого я зол? Супротив измен боярских, коих в твоём государстве нет,



зол. Посему буду обходиться с вашими людьми иначе. И не токмо сохраню там старые привилегии, но и новые дарую. Для добрых людей — и я хороший! Им готов последнюю одежду отдать. — И царь неожиданно начал расстегивать расшитую золотом долматику, чтобы набросить ее на гостя.

Воропай, испугавшись, задержал царскую руку и неловко уточнил:

— Наш сенат разослал таких посланцев в несколько стран. И кандидатов будут выбирать принародно сенаторы и делегаты... Мне же поручено было разузнать о московских царевичах — Федоре или Иване.

Однако царь словно не понимал:

— Да, я имею двух сыновей, и они для меня — как глаза. Зачем же вы хотите сделать царя слепым? Да и вообразите, какое славное государство сотворится — как Рим с Константинополем, как новый Иерусалим! — И его глаза одержимо загорелись под поредевшими бровями. — А когда меня выберут польским государем, я готов подарить Полоцк.

Воропай вынужден был срочно раскланяться и уехать — сообщить об услышанном в Краков. А через месяц в Москву возвратился посол Великого Княжества Михал Галабурда и передал Ивану новые условия: возврат не только Полоцка, но и Смоленска, а также принятие московским царем католической веры. Если это оговаривается, царю немедля надобно выслать в Варшаву своих доверенных лиц в составе нового московского посольства, чтобы встречаться с сенаторами и избирателями и популяризировать перед выборами своего патрона.

— Что?! Я тебя правильно понял? — грозно глянул на посла Иван. — Я должен еще кому-то что-то доказывать? Если Речь Посполитая хочет себе королем московского царя — а я убежден, что большинство народу хочет того — пусть идет и челом бьет! Я же не бедная девка на выданье! — Он хотел еще сказать нечто возвышенное и торжественное, но неожиданно в голове блеснула Екатерина, загорелась обида на нее с покойником-братом Сигизмундом и на всех иезуитов-католиков... — В мире нет государей, которые могли бы похвастаться своим монаршим родом в два столетия. Я же — потомок римских кесарей! Посему выпрашивать лавры в свой венец не собираюсь, как некоторые немцы или французы, возьму подобающее сам. И короновать меня будет наш митрополит! — Царь с недоверием осмотрел Галабурду и, хоть опытное в дипломатии лицо того не отображало ни единого чувства, набросился гневно и свирепо: — А ты что улыбаешься? Что такой довольный?! Умнее всех?! Думаешь, не знаю, как ты, в Москве живя, письма от Сигизмунда врагам моим передавал да к измене их подталкивал? И отравой иуд-курбских услаждался? Может, и печатников моих подговорил убежать? Слышал, они давече Ходкевичем да Радзивиллом пригреты... В людвигарнях вражеских пушки начали лить... — и царь замолчал.

Галабурде не было чего говорить. Посольство начало прощаться, а Иван, уже добродушно мотая головой, довершал свой монолог:

— Никому нельзя верить: ни другу, ни жене, ни державе.

...Нет худшего наказания в этом мире, как видеть крах совершенного тобой. Видеть, как прахом идут жизненные потуги, испепеля оставшиеся силы и нервы. И надежды...

В декабре 1575 года королем Речи Посполитой был избран неизвестный в Московии Батура, и вновь оскорбленный и разгневанный Иван решил вначале отомстить шведам да ихнему Юхану. Царь сам возглавил поход на занятые шведами эстонские земли, осадил важный стратегический город Пернау, некогда занятый Сигизмундом, захватил Леаль, Лодэ, Фикель, Гапсаль, разорил Эзель... И немного успокоился.

Однако после шестимесячной осады Ревеля под шведским напором отступило войско Шереметьева, а сам князь погиб. Спешно собрав под Новгородом новые полки, Иван снова повел их в поход — но уже не на Ревель, а на польские и литовские земли Ливонии. Мстя за свои обиды, он приказывал яростно пытаться пленников — выкалывать глаза, сечь и жечь.



Под неожиданным нашествием не устояло несколько городов-крепостей; начали доходить известия о том, что супротив москвичей собирается большое войско Речи Посполитой во главе с самим королем Батурой. Но Иван еще не мог успокоиться: оставив полк стрельцов грабить Амераден, он с тысячей своих опричников подался в Венден и занял город. Гарнизон крепости не возжелал сдаться и взорвал себя. Тогда Иван велел посадить на кол одного из самых титулованных пленников — немца Вика. Улыбнулся, услышав его стоны — и отправился в Дерпт, где встретился с полком стрельцов, присутствовал на казни жены и детей беглеца Курбского, а затем уехал в Москву.

Но и дома он не мог уняться. После долгого застолья среди ночи привел царь конный отряд опричников в Немецкую слободу, и сыновья Иван с Федором были с ним. Из сонных изб начали вытязывать и насиловать девок, а тех, кто кричал и сопротивлялся, убивали на месте. Богатые иностранцы предлагали выкуп — деньги брали, но все равно били. Когда же бедолаги начинали молиться — им отрезали еретичные языки. Трупы складывали в кучи и поджигали. Младший царевич, не выдержав кровавого зрелища, сбежал — и только тогда отец приказал возвращаться в Кремль. И уже оттуда смотрел, как прахом идут жизненные потуги, как исчезает оплаченное десятками тысяч жизней, как разваливается собранное его царской рукой. Смотрел на осажденный королем Батурой Полоцк, как до того — на военные сборы западной соседки, и не мог освободиться от холодно-ядовитого предчувствия. И спасения не находил.

А Батура, неизвестный трансильванский князь, мадьярский самозванец и выскочка, коренастый недоросток, недоделанный рыцарь с низким лбом и большими скулами, совал длинный нос в его отвоеванную вотчину. И откуда на то сил да казны набрал? Вражье войско, как доносили шпиги, насчитывало более двадцати тысяч — и все хорошо вооружены саблями, топорами, копьями и мушкетами. И не только поляки и литовцы, но и тысячи немцев и его единокровных венгров шли под флагами «Орла» и «Погони». И сотни пушек успел вылить, и громадный передвижной мост на челнах умудрился сложить, по которому летом через Двину как по толстому льду перешел...

Сильно болела голова, не хватало воздуха, а черные мысли не отступали от Ивана. «Не токмо враги внутренние державы моей, коих опричниной выжигал, погубили моей желяют. Восстали и звери внешние — от татарского ханства до королевей немецких, французских да императора Максимилиана. Не они ли Батуру на меня и натравили? И не они ли на то денег не пожалели? Как бельмо им всем царство наше, как занозы им успехи наши. Оскалились, как некогда на Византию, царство Константиново. Бесчестят меня по всему миру...» — Иван еще раз посмотрел на оттиснутые в Батуровой походной типографии на польском, русском и немецком языках книжицы, в которых, как доложили ему, оправдывался поход на Московию и рассказывалось о лютом царе-кровососе.

— Не наш ли беглый дьякон-печатник Иоанн Батуре страницы эти тиснуть посябляет? — царь нахмурил лоб и осмотрел присутствующих бояр.

— Сказывают, что так и есть... А еще он литвинам придумал новые пушки-мортиры. Многоствольные, что под Полоцком били!.. Надо было самого добить, собаку! — в разные голоса прозвучал ответ.

В конце августа 1579 года Полоцк перестал быть московским. Войско Батуры заняло Сокол и ближайšie к нему крепости, князь Константин Острожский дошел с верными ему полками по Северной земле к Стародубу, оршанский староста Кмита своевал Смоленщину, а Иван с непослушным бедным войском, лишенным в опальные годы талантливых воевод, не имел сил на сопротивление.

Царь сбежал. Сначала в Новгород, затем в Псков. И послал литовскому канцлеру Воловичу и воеводе Радзивиллу письма о том, что отказался от защиты Полоцка, дабы не лить попусту братскую кровь. «Верую, что в свой черед и вы сделаете все,



дабы на наших христианских землях восстановился мир», — мягко намекал Иван. И лютел до эпилептического припадка, прослышав, что за взятие Полоцка римский папа выслал Батуру освещенные на Рождественской мессе меч и копье, и тот безродный король снова сел на коня и выступил на Великие Луки.

Иван вынужден был послать Батуру в Вильно мирную эпистола, в которой назвал короля братом. За мир предлагалась вся Ливония; если необходимо, Иван соглашался даже отказаться от своего титула, поскольку, как завершалось письмо, он — государь не со вчерашнего дня, а Богом помазанный царь — выше державы.

Но Батура рассчитал Иваново ехидство — и затребовал от Московии вместе с Ливонией Новгород со Псковом и Смоленском. И, получив ответ с оскорблениями, направился в Полоцк — готовить новую кампанию. А чтобы не проиграть войны словесной, королевская канцелярия подготовила Ивану ответ на сорока печатных страницах, ставший известным во многих европейских дворах. «Напоминаем тебе, кто повсюду хвалится своим Божиим избранием и родством с римскими императорами, что мать твоя была дочерью простого литовского предателя, а предки твои слизывали молоко с хвостов татарских кобыл. Кровь же свою ты навечно испакостил в поганых оргиях... И кура спасает цыплят своих, а ты, орел двуглавый, боязливо прячешься!»

А что ему, загнанному в ловушку между западом и югом, было делать — с пустой казной да без единого союзника? Отправил все полки на защиту Пскова, а сам с несколькими сотнями верных опричников спрятался в пьянках и загулах. И вымаливал хоть временного перемирия. И скрежетал зубами, когда витебский воевода захватил его крепости под Смоленском и Луками — и приказывал лучше отдать всю область, а не противиться врагу.

И всеми своими жилами и венами чувствовал он, что нет человеку на земле худшей кары, как пережить взлет свой поднебесный, издевав крах сотворенного! Сосед-король, о существовании которого он, царь и властелин большого земного пространства, еще несколько лет назад и не догадывался, способен отобрать у него не только добытое, но и затеянное — Батура жаждет доказать, что путь из Константинополя в Москву шел через Киев и Полоцк, что третьим Римом, как и новым Константинополем, является его, а не Московское государство!

Ивана добивали снаружи и изнутри, и страшные предчувствия уже не покидали царскую голову. Он разослал по всем монастырям грамоты с просьбой молиться за свои грехи — и сам возжелал монашеского пострига.

Царь искривился и стал меньше ростом. Некогда широкая грудь его ссохлась и выявляла тяжелое дыхание мученика. Нос изогнулся и заострился, глаза втянулись под потемневшие скулы. Он уже не брил голову, и на уши опали тонкие седоватые пряди, сливаясь со скомканной бородой. Тело его распухло и покрылось незаживающими язвами. Ноги не держали, и царя вынуждены были носить.

Подобная слабость случалась еще несколько лет тому, но лекарь Бомелий снимал ее какой-то белой золой. Теперь же он сам — зола, поскольку был обвинен в крамольных связях с Батурой и сожжен. Новые же врачи ничем помочь не могли. Да и не доверял им царь, ел и пил только с рук нового выдвигенца Бельского, проверенного опричниной. Этот курчавый и не по времени растолстевший боярин с нервной краснотой на щеках и пухло-влажными губами в последние месяцы был с царем неотлучно...

Перед сном Иван восхотел посетить сокровищницу. Он долго рассматривал ценные камни и подарки, рассказывал, кто и когда их подарил или прислал.

— Этот алмаз — самый большой в мире. Он укрощает гнев и помогает человеку совладать с собой. Но я не дотрагивался к нему... Теперь только... — Царь покрутил камень перед огнем светильни и положил назад в шкатулку. — А вот этот скипетр из слоновьего бивня, называемый «Единорог», отжалел мне некогда император Максимилиан. Послы говорили, что он лечит от тяжелых болезней, даже мор отгоняет.



— Так, может, государь прикажет его в опочивальню перенести? — предложил Бельский, и в его выпученных, как у рака, глазах блеснула надежда.

— Поздно... — царь облизнул губы и тяжело вздохнул. — Призывают отцы к себе. Да и Отец небесный вопросы готовит... Помнишь? — он поднял длинную голову и прошептал: — «Разошлось тогда известие меж братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему: “Не умрет”, а только: “Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того?”... Многие и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». — Вдруг царь востропнулся, насторожился и, срывая до хрипоты голос, закричал: — Где книга?! Где книга?! По которой я перед Макарием читал, которая в Адашеву смуту у меня под головой лежала!..

Бельский недоуменно моргал красными глазищами, а царь аж задышался:

— Где, спрашиваю, книга?.. Евангелие от Иоанна... рукописное... из Византии мне привезенное... где?!.

Ему сделалось дурно, лихорадочно задрожали руки и голова, в глазах потемнело.

— Худо мне... Худо... Несите отсель... В другой раз досмотрим...

Назавтра, 18 марта 1584 года, царю стало лучше. Вся дворня, архивники и писчий приказ испуганно искали византийский манускрипт, а Иван первый раз за неделю поел и велел нагреть баню. Позвал сына Федора — и долго поучал, как подобает управлять державой и народом: с благодетелью, любовью и добротой, избегать войны с христианами, уменьшать налоги-тягло, освобождать из тюрем пленников и узников. Больной на голову Федор внимательно слушал и, удовлетворенно покачиваясь, улыбался.

После бани царь возлег около невысокого шахматного столика и начал расставлять фигуры: короля, королевну, пешки. Ослабевшая рука подняла коня — и сделалась неподвижной.

«И вот конь синий, и на нем всадник, имя которому смерть», — то ли прошептал, то ли подумал Иван, провалившись в черный квадрат шахматной доски...

8.

— Не знаю, как и сказать... — по закрытой линии звучал напряженно-испуганный голос главы Службы госбезопасности Бадакина. — Заяц... захватил поезд в метро. Состав почти под вашей администрацией, а у него — бомба...

— Витя, ты что — укололся?! — президент удивленно провел пальцем по губам.

— Никакое не укололся! Что делать-то?!

Раньше подобным тоном говорить с хозяином председатель госбезопасности даже и в мыслях не осмеливался, и это — как нашатырь — отрезвило Мороза.

— Так он же ноги лечил... И как тогда захватил поезд?.. Зачем?! — во рту стало сухо и горько.

— Захватил, говорю же. Он не один. По электронке письмо пришло... И в диспетчерскую по рации сообщили. У Зайца бомба в кейсе! Проверили — не блефует. У него на хате нашли все причиндалы! Тротил, все такое... И несколько «эргэдэшек»... Мои пробили по номерам — начинка из Горно-Косовской автономии. Вероятно, помощники у него оттуда же...

— А чего он хочет? — Мороз переставал понимать действительность.

— С вами поговорить... Обменяю всех заложников, триндит, на президента.

— Он что, белены объелся?!

— Да кто б его знал...

Растянулась длинно-тревожная пауза.

— Свяжите меня с ним, — наконец очнулся президент, переждал горькие про-тяжные гудки в трубке и услышал Зайца:

— Слушаю.

— Николай Семенович, здарсьте! Это, я понимаю, шутка? — он даже через силу попробовал улыбнуться.

— А... Иван... Здоров будь, — тихо прошептала трубка. — Знаешь, я сожалею, что не научил тебя когда-то, что жизнь — не шутка. Она — вещь серьезная. Ну и рад я, конечно, что с тобой поговорить могу. Великим ты стал, занятым... Что тебе со мной время-то терять... Дороговато, правда, за такую связь платить — все запасы отдал, квартиру и дом над рекой заложил, чтобы бомбочку прикупить...

— И...

— До этого «и» были у нас с тобой, Ваня, еще и «а», и «бэ», и «вэ»... Помнишь, как я рассказывал о тезде твоём — царе Иване Грозном, о Евангелии от Иоанна и царстве слова?

— Ну... — заморгал президент. — Как там?.. Вначале было слово... Так?

— Нет! Не так. Не *было* слово, а — *есть*. Вначале было, есть и будет слово! И будет — даже когда и нас позабудут. Вот чего ты так и не понял...

Мороз недовольно чмокнул и скривился:

— Ну и чего ты хочешь?

— Хм... Тебе же, наверное, доложили уже. Давай!.. — Заяц прислонил к мобильнику ладонь и, чуть не сбросив пальцем очки, зашептал еще тише, чтобы в вагоне не было слышно: — Дава-а-ай... Это же проще, чем в той твоей плаценте: раз — и ждать не надо! Бах — и ты сразу в вечности, как спаситель людей, — голос стал распевным, с заметным волнением. — Понимаешь, это как в «Тарасе Бульбе»: я тебя породил — я и... А мне же все равно терять нечего — два-три месяца доктора отмерили... Когда-то ж ляпнул, помнишь: «И пусть отсохнут мои ноги, если ты не станешь президентом...» Вот и сбылось сказанное... Ноги диабет съел, а ты — ты так и не стал настоящим президентом...

Мороз взорвался:

— Так ты что — всю эту байдю устроил, чтобы мне лекцию прочитать?!

— Нет, Ваня, нет... — голос Зайца сделался спокойным. — Чтобы сказать то, что сказал. И засвидетельствовать перед народом, что ты, его правитель, побоишься спуститься, дабы сограждан от старого маньяка спасти.

Наступило терпкое молчание, оборвавшееся задумчивым:

— Ну все... Не могу больше говорить. Начинают люди оглядываться...

— Что б это было, если бы руководитель страны слушал каждого маразматика... Взрывай! Давай! Тарас Бульба выискался...

— И я тебя, Ваня, люблю. Прощай! — в трубке застреляли короткие гудки.

А затем Заяц поправил очки, пригладил совиную бровь, словно ненароком прислонился коляской к стенке и постучал в дверь. В кабине это услышал усач и потянулся к микрофону.

— Товарищи пассажиры! — захрипели его голосом вагонные динамики. — Сбой в электроснабжении линии устранен. Сейчас мы продолжим движение. Только на несколько секунд до ближайшей станции отключится освещение... Осторожно, следующая станция «Ноябрьская».

— Ну вот, наконец-то! А то я чуть на встречу не опоздала... — радостно проговорила брюнетка в коротком черном платье со стразами. Та, с ямочками на щеках.

— Наверно, на свидание? — улыбнулся ей в ответ Заяц. — Успеете, обязательно! А похожие задержки, — он сказал это нарочно громко, — и в лондонском метро случаются.

— Давай зеленую, мы едем! — хрипло сообщил в диспетчерскую усач, уволенный после подзабытой уже забастовки метрополитеновцев железнодорожник-краснодипломник, а ныне — ночной грузчик, оторвал приклеенные усы, снял затемненные очки, семафорный фиолетовый пиджак, выбросив все в форточку. Щелкнул рубильником — и в составе стало темно. Приставил к носу сонного машиниста

нашатырь и незаметно выбрался из кабины в вагон, где спрятал в карманы штанов перчатки.

— Это диспетчерская! Какую зеленую? Кто говорит?! — закричала в кабине рация.

Машинист очнулся, недоуменно заморгал вокруг, схватил микрофон:

— Алло! — во рту сушило, и он проглотил терпкий комок. — Алло! Диспетчерская, что случилось? Это Марченко с «Восьмерки». Я тут, кажется, отключился. Кто-то с проверкой пришел... И дальше ничего не помню...

Жизнь — не мед, и люди — не пчелы. Однако многоэтажные универмаги и кофейни около закрытых станций метро напоминали растревоженные ульи. Растревоженные собравшимися над городом дождевыми тучами, дизельным дымом переполненных автобусов, а еще — пугающей неизвестностью.

— Чего это метро не работает? Снова забастовка? — интересовались горожане.

— Нет... Говорят, там террорист с бомбой. Видите, сколько милиции и солдат нагнали.

А в это время к пустому перрону неспешно подъехал запоздалый поезд. Раскрылись двери, начали выходить удивленные пассажиры; около турникетов каждого почему-то начинали обыскивать вооруженные люди в бронежилетах и черных масках.

— У Зайца кейс пустым оказался! — по рации надрывно сообщал президенту председатель Службы госбезопасности. — А мои же у него на кухне тротил нашли... и три «эргэдэшки» из бывшего косовского гарнизона... А тут — только ноутбук да книга в кейсе! Профессор...

— Какая книга?! — Мороз сам не узнал своего голоса.

— Старая какая-то, толстая... Сейчас... Библия, мля! Пастор хренов...

Под языком у президента сильно запершило. Что-то хотел сказать, но глубоко вздохнул и промолчал.

Словно в забытьи он уехал в Воронику. До вечера просидел в бане. Влил в себя литр коньяка — и не смог забыться.

«На черта ему сдалась та Библия?.. Чего они уже полтысячи лет с ней носят-ся?..» — лихорадило воспаленный мозг.

А когда наконец отключился — увидел громадную аудиторию.

Перед ним — шеренги одинаково одетых молчаливых манекенов. Слушают, а он не может найти слов, зло и бессмысленно кусает губы, переступает с ноги на ногу. Молчит...

И видит среди пластмассовой толпы Екатерину.

Ее затаенно-презрительное лицо.

И ее недоступную красоту.



Амирам ГРИГОРОВ

ТРИ ОГНЯ НАД ВОДОЙ

AVE

Авигея, шепчи мне о водах жемчужных, иди мне
В караванскую соль, где сентябрь до пыли растёрт
И звучней беспросветное солнце, и тени интимней,
Потаённой ветра, и теперь ничего не растёт
Возле ладанных слов, не молчи, Авигея, верни мне
Золочённых путей по пустыне протянутый шёлк,
Где циркадная рифма стихает в арабском верлибре,
Аве, Гея-земля, Авигея, откуда я шёл?

ОТЦУ

Как много слов утрачено когда-то.
Шепчу: «Остынь,
Открой строку, не позабудь адаты,
Не стань простым,

Когда не светят шарики глициний
Под вечер нам,
Когда на стёклах заливает иней
И соль — черна».

В ничьём году, очнувшись, запоёт о
Чужом азан,
И холодны, как тени самолётов
Твои глаза.

Опять снега о прошлом не солгали,
Виски белы,
Ты ждёшь грозу на воровской валгалле
Под плач пилы,

А в яркой склянке литра полтора, и
Увы, не чай.
И я тебя совсем не повторяю.
Прощай, прощай.



А. Т.

Ты смотришь свой сон бесконечный и хочешь присниться
В стране, где растут на глазах молодые ресницы,
Где скоро становится месяц идущим на убыль
И под напряжением шепчут признания губы.
А в этой стране добела распалённых черёмух
Так много печалей и столько закатов червлёных,
И переливаются трупам родимые крови,
А в небе пасутся молочные тени коровьи.
Ты хочешь проснуться, вернее, не можешь забыться,
Сестрица алёнушка просит: не пей из копытца.
Тут плёнки пыльцы на зарёванных лужах весенних
И долгая жизнь, только этого мало, Арсений.

ПОДРАЖАНИЕ ДАНИЛЕ КИШУ

Ты снова идёшь через мост, к собору, дорогой окольной,
Спускаются вниз облака, посмотришь — и нет колокольни,
Когда оглянёшься потом, увидишь — за улицей Тесла
Исчезла река под мостом, а дальше — дорога исчезла.

И думаешь, будто судьба незряча. Не то что жестока.
Не Сербия, нет — пустота в цепи изначального тока
(Того, что в тумане тугом сквозь нас непременно пропущен)
Ложится травой под серпом, и светится просекой в пуще.

Не Сербия, нет — тишина, вуковица, речник, подстрочник,
Не Сербия, только билет, который случайно просрочен,
И лишь над незримой водой, в том свете, молочном и лживом,
Твой голос звучит молодой, поющий о том, что мы живы.

И снится в чужой стороне, лет десять, а может, все двадцать —
Вот совы над Савой кричат, вот ивы над Савой клонятся,
Спят лодки рядами галош, оставленных возле мечети...
И вечная бабочка-ложь нас тёмной пылью пометит.

СЕРБСКИЕ ГЛАЗА

О, стук предсербий и предгорий,
Кому судьба пропасть во славе,
Горя упрямым сербским горем,
И саван, выбеленный в Саве,

Молясь, готовить, чужа немощь,
Но изменять себе не смея.
Как сладки сны, что видел Негош,
И дивны сказки Досифея.

Кому судьба славян старинных
Хранить напевы, громом меди
Баюкать горы и долины.
Глядеть на небо и заметить —



Летит над лугом чёрный аист
Сквозь дым костров, горящих в Пече,
Чураясь ночи, и касаясь
Крылом зари, где в чёт и нечет

Играют звёзды. Сумрак порист
В краю, куда не носят письма.
И лишь стучит: «ја бих, ми бисмо»
В аорте аиста аорист.

ШЕРГ

Караванщик из Бама, зачем ты верблюдицу бьёшь,
Влагой глаз её грустных, увы, не наполнишь кяризы,
Караванщик, ты знаешь, что дальше уже не пойдёшь,
И уже не увидишь знакомые стены Тебриза.
Караванщик, опомнись, достаточно, больше не бей,
Вспомни, как через бури она проносилась стрелою,
Как в сражении вспять обращала афганских коней,
И, залитого кровью, тебя уносила из боя.
Караванщик, остынь, на прощанье её обними,
Напоследок взгляни в её глаз золотые озёра.
Ветхой абой накройся, джигит, рядом ляг и усни
У пустынной дороги, в солёных песках Деште-зора.
Караванщик, усни, знай, тебя не запомнили злым,
И в великой пустыне отныне нашедший могилу,
Караванщик из Бама, останься навек молодым
Ты с верблюдицей старой до огненных труб Джебраила.
Караванщик безвестный, мне хочется так же, как ты,
Не познать одиночества в час, когда ярость остынет.
Кто-то верный да будет со мною у крайней черты,
В нашем мире неверном, как зыбкое сердце пустыни.

ПАР У ВОДЫ

Пар у воды. Спят бронзовые птицы,
Свинцовый свет не меркнет до утра
Наверно, здесь мне суждено родиться,
В кирпичных сотах Скобского двора.

Где безразлично, поздно или рано,
В чугуна Невы сбегают небеса,
Прибитый к тучам ангел Монферрана
Глядит в мои незрячие глаза.

Туман съедает стены и аллеи?
Тяжёлый ветер в арках валит с ног,
Как я войду сюда, как я посмею
Перешагнуть неведомый порог?

И кто отмерит время для прогулок?
Средь городов иных, а может — стран
Приснится вдруг Фонарный переулок,
Поросший мхом заброшенный фонтан.



Другого нет, другое — позабыто.
Среди дворцов, мостов и колоннад
Я жду вестей у царского гранита
Который год, который век подряд.

МЭ ТУРЭ ХОСТЭНУМ

Только имя твоё мне останется. Знаю наверно,
Промычу через боль, как телёнок на бойне кошерной,
Это имя твоё в долгий миг, и недужный, не нужный
Никому, будто дождь, растекусь на июньские лужи.
Он оставит меня, Б-г, хранящий влюблённых и пьяных,
Покровитель безумных, звонарь бубенцов караванных,
Он оставит меня, так как небо с землёй — остаётся,
И еврейское, глупое сердце моё не забудётся,
Конвульсивно, бездумно, движеньями пойманной птицы,
Это краткое имя твоё да продлится, продлится...

ПОПРОЩАЙСЯ МОСКВА

Половина луны половецкой висит над высотками,
И советские звёзды из мокрого золота сотканы,
И косые сирени, от сока весеннего лопаюсь,
В новодевичий сад распустили курчавые лопасти.
Не поверишь, Москва, по весне я твой ряженный суженый
Накрывай мне большую Полянку для позднего ужина,
Как хочу цепенеть от великой любви твоей липовой
Вот французские булки везут от пекарни Филиппова
И гуляки идут по домам, стукнув кружками по столу
Ты послушай, как сладко звонят у Филлиппа Апостола,
Как на древних скамейках, обнявшись, воркуют любовники
И рогатый троллейбус торопится к стойлу в Хамовники.
Ты меня не найдёшь, не поймёшь, не окликнешь по имени,
Позабытым клубничным кваском, попросу, напои меня,
Угости шаурмой, если все расстегайчики кончились,
Прощайся Москва, убежали в луга твои гончие,
Хочешь, буду твоим до грядущего звонкого петела?
Отвечай же, Москва! А она ничего не ответила

* * *

Тут выросли клёны за время недолгое, кореш,
А может, и долгое, разве поймешь и поспоришь
А если поспоришь, какие начнутся вопросы!
Скажу покороче, что тут не растут абрикосы.

А там, понимаешь, а там на заборе, как раньше,
В турецкие бани влечёт намалёванный банщик,
Кричит зазывала на Новом базаре и пряный,
Прожаренный воздух течёт от границы Ирана.

Там пахнут чуреком саманные стены и даже
Всё та же старуха несёт петушки на продажу,

И тех же прохожих тутовник подтёками метит
И тонкая туча висит над серпами мечети.

Ещё расскажу как мне горько ночами, но снова
Рукою махнёшь, как махнул, выходя с выпускного,
Ты в синем костюме, в усах, арушановский мачо.
Ну что же ты плачешь, не надо, джигиты не плачут.

БЕЗЫМЯННЫЙ СОДАТИК

В кармане с немерянной суммой
дыру залатаю,
Меня не забудешь, не думай,
моя золотая.
Захочется сердца на блюде —
достану не споря,
Я буду ручным чудо-ude
из южного моря,
Вскипевшего резко и бурно.
Наверно, успеем
Нарезать на кольца Сатурна
по рельсам сабвея
А жизнь — не кастет по затылку,
а жизнь — это вектор,
Сквозь пробки в невинных бутылках
столичных проспектов.
Придётся полжизни отдать им.
Меня не обидишь.
Я твой безымянный содतिक,
забытый, как идиш.

* * *

Убакуй меня в саван я жив поневоле недолго
Питекантропов век пережить не составит труда
Петь и кантором кланяться. Только осталась наколка
Три огня над водой не вреди мне, чужая вода

Недосып на столе, слишком мало судьба оделила
От дремотной звезды до звезды с позывными польнь
Позабыт мой багаж на песчаной косе у Байила
Не бакинь меня не бакинь меня, не покинь.

Облетевший маяк соль и перец Забратского пляжа
Чтоб за брата не встал — за такое в глаза не молчат
В нефтяные глаза, но они не запомнили даже
Как Есенин нырлял в керосин возле бухт Ильича.

Сентябрём в Загульбе ты припомни, как мы загуляли
Балаханский чайханщик, барханы и тюркская синь
И кузнечики сыпались градом на пристань из стали
Не бакинь меня не бакинь меня, не покинь.

Борис КЛИМЫЧЕВ

МРАМОРНАЯ ЖЕНЩИНА

Главы из романа

1. ДВА МЯЧИКА

Гэти Бэкфорд жила в Америке в малосеньком поселке в ста милях от Филадельфии. Детство ее прошло в постах и молениях, поскольку Джеймс Бэкфорд, ее отец, был местным священником. Днем она сидела рядом с матерью за прялкой или за вязаньем шалей и теплых жилетов, вечером мать учила ее доить коров и коз; женщины вдыхали привычный запах навоза, степных трав и пыли, затем ужинали, молились и укладывались спать.

Не раз ночью Гэти слышала где-то за поселком бешеный топот копыт, крики и стрельбу. Однажды ночью она выскользнула из своей кровати и, прижимаясь к плетню, добралась до поляны, служившей обитателям поселка площадью. Там копошились люди в белых балахонах с прорезями для глаз. Они зажигали огромные деревянные кресты и в отблесках пламени надевали неграм, стоявшим на скамье, рогожные мешки на головы и петли на шеи, выбивая после этого из-под их ног скамейку.

Гэти с рыданиями кинулась домой и уже улеглась в свою постель, когда в дом вошел отец и сунул свернутый белый балахон за мучной ларь. Гэти забила дрожь. «Неужели и отец был там? А как же его ежедневные обращения к богу? Или у негров какой-то другой бог?..»

Она знала только свой дом, радовалась, когда ей поручали крутить маслобойку. Когда масло еще не сбилось, в зеленоватой жидкости плавали золотистые комочки; было так приятно зачерпнуть и выпить кружку-другую пахты с этими комочками. Других радостей у нее почти и не было. Она была здоровой девочкой, которой нередко мечталось о какой-то иной жизни. . .

Дни шли, Гэти подрастала в пасторском доме, стоявшем на отшибе. Единственным парнем, которого она видела более или менее близко, был пастух Том Хаксли. Он был худ, оборван, тело его было коричневым от ветров и пыли. У него были голубые глаза, рыжеватые волосы и тяжелый подбородок. Гэти иногда спрашивала — не скучно ли ему одному в степи? Он только смеялся в ответ.

Родители Тома погибли при переправе через реку, когда рухнул мост. Тому было тогда четырнадцать, ему повезло — его куртка зацепилась за перила моста. Потом его спасли какие-то негры — они растянули внизу между двумя лодками рыболовную сеть и крикнули Тому, чтобы прыгал, поймав его в эту сеть, как огромную рыбу. С тех пор у него осталось теплое чувство к неграм, которых многие почемучто недолюбливали или даже ненавидели. В этих краях постоянно случались ожесточенные стычки вооруженных белых людей: одни были за избавление негров из рабства, другие же — наоборот. Тому Хаксли было плевать на тех и на других.



От родителей у Тома ничего не осталось, кроме воспоминаний. Отец был мелким торговцем, но ему не повезло в одном штате, семья как раз переезжала в другой, когда случилась эта катастрофа на мосту. Вся выручка за проданный дом и за мелочную лавку исчезли вместе с каретой, матерью и отцом в водах быстрой и глубокой реки. Отец часто говорил, что нужно гордиться своей принадлежностью к англосаксам, завоевавшим большую часть мира. В подпитии отец нередко напевал: «Правь, Британия, морями!» Но что было Тому толку с этих завоеванных Британией морей...

Том немало поголодал после гибели родителей, пока один фермер не сжалился над ним и не нанял пасти овец за бесценок. Да еще все время ругался:

— Ты не умеешь сидеть на лошади, ты мне ее погубишь! Смотри, потеряешь хоть одну овцу — задушу и закопаю в степи!

Чем старше становился Том, тем сильнее росло в нем стремление как-то изменить свою жизнь. В двадцать лет мечта о переменах стала жгучей до боли.

Однажды Томас обратился к пастору:

— Тут дело такое — в Филадельфии на площади натянули шатер. Цирк-шапито. Клоуны, чудеса всякие...

— Подлинные чудеса все у Господа! — отвечал пастор.

— Вот я и говорю, — не сдавался Том. — Девчонка засохнет без развлечений, от веселого смеха всегда польза здоровью.

— За билеты ты заплатишь сам, и поздно не задерживайтесь.

— Не волнуйтесь, вернемся засветло. Она еще слишком молода, чтобы строить шуры-муры...

— Иди... И помни: если что, будешь дрыгать ногами на виселице не хуже любого клоуна!

— Мне два раза повторять не надо! — сказал Том. — Когда всю жизнь проводишь в степи с овцами, то становишься умнее любого философа.

Ближе к вечеру Томас надел единственный свой костюм горохового цвета, мать обрядила Гэти в новое платьице и кружевную шляпку, они дождались вечернего дилижанса и покатали за развлечениями.

У главного входа в цирк шипели огромные калильные фонари. Все стены круглого здания пестрели словом «Барнум».

Финеас-Тейлор Барнум был известным американским антрепренером, владея собранием всевозможных редкостей. Он показывал старую негритянку — мнимую кормилицу Джорджа Вашингтона, демонстрировал морскую женщину-сирену, изображал охоту индейцев за буйволами... В его цирке можно было увидеть и карликов, и великанов. Сам он, разумеется, не ездил в провинцию, зато каждый бродячий цирк спешил заявить о своем родстве с великим человеком. Вот и здесь владельцем цирка был якобы племянник Барнума. Жители Филадельфии, разумеется, не могли знать, сколько мнимых племянников, сыновей и дочерей великого профессора Барнума кочует теперь по всей Америке, а также по европейским и азиатским городам и весям. Да и какая разница... Цирк есть цирк!

Вот уже заняты места, потихоньку затихает говор, шум... Чей-то последний взвизг:

— Снимите шляпу, мне не видно!..

Гэти и Том — в первом ряду, им все видно. Когда выбежали на арену львы, стало не на шутку страшно. Решетка, отделявшая барьер, была невысокой. Вдруг укротитель сунул голову льву в пасть!.. Лев потом долго отплевывался — очевидно, укротитель смазал прическу сапожной мазью, чтобы лев сдуру не вздумал откусить ему голову. Лев лениво почесывался — дескать, не очень-то и хотелось откусывать, больно надо!

— А ты, Том, ты смог бы так? — зашептала ковбою на ухо Гэти.

— Да ты не верь, тут больше глаза отводят.

Но Гэти заворожила сказка в железной клетке — хищники на задних лапах.



Было еще много всего, чудеса крутились калейдоскопом... Когда они вышли на свежий вечерний воздух, Том подумал, что теперь начинается главное чудо. Два упругих мячика за пазухой у Гэти — это высшее чудо из чудес! Это без подделки, вправду. Еще год или два назад этих шариков не было... А черные глаза с лукавыми искорками смеялись, и так было привлекательно ее лицо — жгуче-черные глаза на фоне льняных волос...

Подошли к остановке, Гэти шепнула:

— Не надо! Кто-нибудь увидит!

Получается, если никто не увидит, то она не против...

— Том! Я сегодня не усну! А как это у них получалось, что летали с качалки на качалку под самым куполом, а потом один вроде бы промахнулся, сорвался, полетел вниз, до земли не долетел и полетел обратно?!

— Фокус! Обман зрения! Канат у него к поясу был привязан, но это не каждый мог разглядеть.

— Но как это?

— Нет, ты лучше скажи, я тебе нравлюсь?..

— Нет, ты про прыгуна скажи!

— Я тебе вот что скажу. Я сам мог бы вытворять что-нибудь такое, если бы немножко подучиться. Что ты тут увидишь, в доме твоего отца... Он днем молится, а ночью с приятелями чертовщиной занимается! Года через два тебя выдадут замуж за такого же святошу, может, в еще более глухой поселок. И будешь ты всю жизнь возиться в навозе. А я тебе предлагаю сбежать со мной в Европу. Ты увидишь Париж и другие города, сама станешь артисткой. Ты будешь танцевать, научишься крутить тарелки на тростинках... Ты красивая, тебе будут много хлопать, тебя станут рисовать на афишах. Ты получишь уроки пения и танца, станешь артисткой, тебя узнает мир! Я скоро возьму у своего скупца расчет, а ты потихоньку увяжи в узелок все памятное. А то, что тебе надо, купим на корабле.

— Боюсь...

— Думай! Это называется — шанс. Я ведь могу найти и другую девчонку. Чего бояться? Я перед тобой распахиваю весь мир. На первых порах я смогу в европейских цирках изображать самого себя. Я ведь ковбой... Скакать на лошади и палить из кольта — тоже работа. Европейцам придется по нраву это зрелище. Я уже накопил холостых патронов, забью в них больше пороха, чтобы оглушительно было! И не бойся, поедем как будто на новые гастроли цирка. Я сумею так запутать следы, что господин пастор ничего не сможет узнать даже у своего бога.

Выполнить задуманное удалось ровно чрез год. Как и предполагалось, они отпросились с Гэти в цирк, но покатали на дилижансе совсем в другое место...

На огромном корабле нельзя было не почувствовать всего величия мира. Хотя плыли они не наверху в отдельных каютах, как некоторые богачи, но из своего трюмного помещения часто поднимались на верхние палубы, где их глазам являлось величие океана, его бесконечная волнующаяся стихия.

Корабль был трехмачтовый. Паруса выгибали свои мощные груди, ветер свистел в снастях. Матросы окатывали палубу морской водой и терли веревочными швабрами. Пахло смолой, паклей и морскими брызгами. По вечерам в океане было видно какое-то особенное свечение, мелькали стаи рыбешек.

Спускаясь в трюм, где были построены из толстого теса стеллажи с перегородками, они все равно ощущали мощное дыхание океана. Волны глухо били в борт судна, под эту музыку стихии они все крепче прижимались друг к другу, и губы их невольно сливались в поцелуе. Именно ощущение грандиозности стихии в одну из ночей заставило Гэти сдать Тому свою маленькую крепость.

Снова и снова они поднимались подышать соленым свежим ветром океана и каждую ночь, спускаясь в трюм, тонули в пучине юной страсти. Гэти уже было

совершенно безразлично, что будет потом — сейчас было так хорошо, что лучше некуда, чего же еще желать...

Казалось, пути не будет конца, но все чаще на горизонте показывались то скалистые, то равнинные берега... И вот зазвучало в разных уголках корабля: «Марсель, Марсель!» Они вышли на палубу и увидели на берегу белый красивый город и корабли у причалов.

2. ЕЩЕ ОДИН «БАРНУМ»

Они сошли по сходням легко, так как при них не было ни чемодана, ни узелка.

У первого встречного мальчишки Том узнал, где в Марселе расположился цирк, и они отправились на окраину города. Каково же было удивление Тома, когда он увидел, что и здесь по фасаду круглого здания были вкривь и вкось разбросано «Барнум!», «Барнум!», «Барнум!». «Еще один родственник профессора Барнума!» — подумал Том.

Цирк был закрыт, к нему примыкал поезд из разноцветных кибиток. Том осведомился в одной из кибиток, где же находится господин директор цирка. Ему показали. Директорский фургончик ничем не отличался от всех прочих. Том постучал, его пригласили войти. Том и Гэти вошли внутрь походного жилища. Там на сундуке восседал седоусый старик в грязных кальсонах, а возле него на маленькой скамеечке примостилась старушка.

Том понимал, что только на арене артисты цирка сверкают фальшивыми брильянтами и золотыми галунами, потому очень красивы, а в быту они могут быть одеты... как этот старикан.

— Кто вы такие? — спросил старик по-французски. Но Том его понял и сказал:

— Мы только что прибыли на корабле из Америки, хотим устроиться на работу в ваш цирк. Но французским мы владеем не очень, я лично могу говорить только «мерси» и «оревуар»...

— Ясно! — гаркнул старик. — Ваше счастье, что говорю на всех языках мира. Теперь скажите, какого черта вы сбежали из Нового света, из земли обетованной, где, говорят, текут молочные реки в кисельных берегах? А если вы там работали в цирке, тогда, выходит, натворили что-то такое, что вам пришлось бежать... Может, мне послать кого-нибудь за полицией?

— Насчет кисельных берегов кто-то немножко преувеличил, рассказывая вам об этой стране. Берега в Америке везде земляные и каменные, а хлеб приходится зарабатывать трудом. В той стране я был пастухом — вам не надо объяснять, что это такое. Я всегда имел при себе кольт, чтобы отстреливаться от волков. Да и вообще, в наших краях часто стреляют. Идет война между теми, кто стоит за белых или за черных. Мне плевать на тех и на других, я сам по себе... Моя сестренка Гэти работала у соседей на ферме. Плохие люди, они почти ничего не платили ни ей, ни мне. Мы решили повидать мир. Я бы мог для начала устроить в манеже ковбойскую скачку со стрельбой. А потом я, может, научусь ходить по канату. Или еще какой-нибудь штуке выучусь.

— Хо-хо, — вздохнул старик, — ковбойский номер... У тебя нет лошади — раз, ты не цирковой — два!

— Что значит — не цирковой? — воскликнул обидевшийся Том. — Был не цирковой, так стану цирковым, черт меня побери!

— Не станешь, — сказал старик. — Смотри!

Он вскочил с топчана, коснулся рукой пола и вдруг сделал стойку на одной руке; ноги в рваных и грязных кальсонах были при этом вытянуты вверх.

— В такой стойке я могу стоять на лошади, когда она во весь опор скачет по манежу. Я могу работать на трапеции, на шесте, могу крутить сальто, могу жонглировать, работать с хищниками... много чего могу. Ты же скакал по степи... куда хотел. А здесь манеж — круг ровно тринадцать метров. И на этом пятачке надо не



только бешено гнать лошадь, но и выделывать на ней головокружительные трюки. Таким вещам начинают учить лет с трех! Мне с трех лет стали гнуть кости так, что не понять было, где голова и где ноги. Ты же пас до двадцати лет баранов, а теперь решил стать цирковым... Не получится. Девчонку, так и быть, возьмем в учебу, Личико смазливое, билеты будет продавать. А там, глядишь, станем учить помаленьку акробатике, как и полагается, для развития тела. Потом в какой-нибудь номер включим. Ты же себе поищи работу в порту. Там иногда требуются грузчики.

— Нет. Если вы меня не берете, то девчонку я и подавно вам не отдам. А тринадцать метров — это же дьявольское число. Можно было сделать круг для выступлений сорок или пятьдесят метров, то-то были бы скачки!

— Вот и видно, что ты ничего не смыслишь в цирковом деле. Во всех цирках мира манеж всегда тринадцать метров! И это идет еще из древности. Такой диаметр позволяет легко делать конные трюки, которые есть в любом цирке. Лошадь, скача во весь опор по такому кругу, так наклоняется внутрь манежа, что наездник, стоя на ее седле, легко может соскочить с нее, а потом также легко вскочить обратно и сделать много чего еще. Это — раз. Второе — вся наша техника и все номера рассчитаны на этот манеж. В течение двух часов на новом месте мы натягиваем шатер, воздвигаем воронку сидений для зрителей, натягиваем нужные нам в работе тросы и канаты... Понял? Всегда — тринадцать! Это знает каждый циркач. Так что девчонку твою мы чему-нибудь научим, а ты будешь работать грузчиком или же заменишь ушедшего от нас конюха.

— Оревуар, мистер-синьор! — сердито сказал Том. — Оставайся ты при своих тринадцати метрах! Мне, ковбою, быть грузчиком, конюхом?!

— Стой! Не горячись, — отозвался цирковой дед. — Вечерний Марсель — это тебе не прерия со стаей волков, это, брат, куда как хуже... А темнеет у нас быстро, как в театре.

Том распахнул куртку, показал кольт за поясом, похлопал по карманам куртки:

— Тут денег ни гроша, зато полно заряженных патронов.

— Тем более есть тебе резон заночевать у нас со старухой, я как раз для очередного номера должен набить патроны порохом, а ты-то, видать, большой мастер этого дела. Вот и поможешь, а потом мы вас накормим.

— Так вы сами готовите номер со скачкой и стрельбой?

— Нет, парень, я свое отскакал... Я работаю сейчас в манеже, с двумя собаками и стаей голубей. Этот номер называется «Сон охотника». У меня голуби помещаются в вольере, а когда наступает время кормежки, стреляю из двустволки и даю им поклевать зерно, которое насыпаю в ложбину между стволами ружья. Я приучил их совсем не пугаться выстрела. Там же, в вольере, только за перегородкой, у меня сидят две охотничьи собаки. Во время репетиции я ввожу их в вольер к голубям и приучаю под выстрелами смирно стоять у моих ног. Они знают, что нельзя кидаться на голубей, когда те садятся на мое ружье, и стоят, прижимаясь моим ногам, как приклеенные.

И вот — представление! Я, в костюме охотника и в шляпе с пером, выхожу на манеж, у моих ног две собаки; я достаю из сумки патроны и заряжаю двустволку. Моя женушка, Матильда, говорит, мол, ни за что не попадешь ни в одну птичку, ты уже давно слепой. А голуби сидят на искусственных деревьях, все птицы разного цвета и разной породы...

Я поднимаю ружье, прицеливаюсь, раздается оглушительный выстрел — потому что и порох, и пыжи у меня особенные... Над манежем плывут кольца дыма. А голуби хлопают крыльями, они садятся на ствол моего ружья, на мои плечи, даже на шляпу с пером. Иногда приходится выстрелить три или четыре раза за одно представление, потому что они не все сразу летят ко мне. Но вот они покормились за счет моего ружья, музыка играет туш, я удаляюсь со своей старухой и голубями с манежа, но меня вновь и вновь вызывают на поклоны. Выбегая в последний раз, я делаю сальто, и это приводит публику в неописуемый раж. Оказывается, лысый, седоборо-



дый дедушка-охотник и такое может выделывать! А шпрыхсталмейстер, объявляющий номера, еще подливает масла в огонь. Он объявляет, мол, дедушке-охотнику вчера исполнилось восемьдесят четыре года. Вообще-то мне пока что всего лишь семьдесят один. Но это же цирк, черт меня возьми! Люди платят свои денежки за чудеса — и они эти чудеса получают!

— Ясное дело, что тут и ловкость нужна, и смелость... Да мне-то этого всего не занимать, — сказал Том старику Анри, — зря вы в меня не верите. Примите еще в расчет то, что я ни за какие коврижки не оставлю здесь сестренку одну. Так что, если ей дадите работу, так и мне какое-никакое дело давайте! Кстати, почему на вашем балагане и на кибитках написано про Барнума? Вы что, знакомы с этим великим американцем? Может, вы его родственник?

— Строго говоря, — отвечал старик Анри, — все люди на земле родственники. Только есть родичи ближние, а есть дальние... Ладно, вот хлеб, вот молоко, ужинайте... Сейчас старуха нам постелет кошму, будем спать. Спать на кошме — милое дело, на кошму ни змея не заползет, ни ядовитый паук.

3. КОРОЛЕВСКАЯ КОНЮШНЯ

Томми, скрепя сердце, согласился побыть в цирке конюхом. Жить он будет у директора в вагончике, в его обязанность входит чистка директорского ружья и набивка патронов для каждого нового директорского номера с голубями. Это еще куда ни шло, но очень неприятно было убирать кучи навоза и чистить стойла.

Том подумывал прикопить немножко денег, бросить все это дело и податься куда-нибудь поближе к лесам и травам, завести там пусть и небольшое, но хозяйство. Но когда он увидел первое представление конной группы Фернандо Ферри, решил задержаться в цирке. Где-то внутри него зашевелился некий чертик, подзуживавший: «А чем ты хуже их?..»

Выпуклые глаза Фернандо сияли весельем и самоуверенностью. На нем был короткий малиновый плащ, украшенная золотым шнурами куртка, брюки с золотыми кантами и высокие старинные сапоги. С двух сторон главного выхода на арену стоял почетный эскорт, по четыре человека возле каждой стены. В одной из четверок стоял и Том.

Конечно, куртка на нем была попроще, чем у великого Фернандо, но на ней тоже золотились галуны и сверкали стекляшки, притворявшиеся бриллиантами. Впереди эскорта, тоже с обеих сторон прохода, стояли пожарные в сияющих медных касках и с брандспойтами в руках; пожарные были наготове и в других проходах. Томми уже слышал, что каждого, кто устроит, пусть и по неосторожности, пожар в цирке, директор пристрелит лично безо всякого суда и следствия.

В настоящий момент директор цирка старикан Анри Дебуссир исполнял обязанности шпрыхсталмейстера. Напудренный, напомаженный и одетый в роскошную ливрею, прошел он между шеренг эскорта к центру арены и зычно объявил:

— Единственная в мире королевская конюшня! Только сегодня! Руководитель — главный королевский конюший Фернандо Ферри!

Оркестр заиграл веселую польку Йоганна Штрауса, и под эти звуки Фернандо Ферри вывел на манеж удивительную лошадку. Это была пегая кобылка среднего роста, она, повинувшись жестам Фернандо, танцевала польку. Но что это была за лошадка! У нее была роскошная грива, закрывавшая передние ноги.

Фернандо вынул из кармана огромный гребень:

— А вот мы сейчас причешем нашу девочку!..

Оркестр смолк. Свет фонарей померк. Королевский конюший провел гребнем по неправдоподобно длинной гриве необычной лошади, послышался треск, в полутьме посыпались на ковер синие искры.

Снова вспыхнул свет, заиграл оркестр, Фернандо и лошадка кланялись; при этом было видно, что копыта четвероногой артистки накрашены лаком.



Удалившись вместе с отработавшей номер лошадкой под гром аплодисментов, Фернандо тотчас появился на арене, оглушительно щелкая *шамберьером*, специальным хлыстом, и несколько всадников тотчас вылетели из главного выхода на манеж и стремительно помчались по кругу.

Чего только они не выделывали! На полном скаку спрыгивали с лошадей, затем запрыгивали на них. Стоя на крупе одной из лошадей, всадник поднял второго себе на плечи, и вот уже верхний стоит головой на голове партнера, что кажется невероятным! Как же он удерживает равновесие?!..

Шамберьер оглушительно стреляет, Фернандо кричит:

— Ап! — И теперь на одной из лошадей, взявшись за руки, скачут сразу трое циркачей.

Потом по сигналу Ферри вся колонна уносится с манежа. Щелчки хлыста, бешеный бег, возгласы Фернандо, мельканье, огней, блескок. Вихрь, восторг, вопли и аплодисменты публики...

Томми сжал зубы так, что заходили желваки. Нет, он не уйдет из цирка, он будет скакать, как эти наездники, он будет делать сальто! Он не даст себе ни минуты отдыха. Он подглядит все приемы, добьется. А пока... Пусть лопата, навоз, тачка. Пусть год, два, пусть даже десять. Добьется!

Вечером Том зашел в стойло, где стояла пышногривая кобылка. Фернандо как раз обходил своих лошадей. Он и просветил Тома, что гриву кобылке удлиняют за счет волос, отрезанных у других коней. В цирке это делает специально приглашенный для этой цели профессионал-парикмахер. Гриву удлиняют, подкрашивают — и необыкновенная кобылка готова к выступлению.

Вечером Том спросил старого Анри, не возьмет ли Фернандо его к себе в ученики.

— Даже и не думай. Это невозможно. Со мной работают прославленные мастера. Ложись спать, пораньше вставай и лучше убирай в конюшнях и в проходах. В моих конюшнях должно быть чище, чем во дворцах всех Людовиков вместе взятых! Понял, американец? Ты во Франции, это тебе не прерия! — расхохотался владелец цирка.

Вскоре приехал еще один удивительный артист. Его выкатывали на манеж в кресле-коляске, его руки были связаны за спиной, а ноги — одеты в белые перчатки. Подъехав в кресле к столу, артист клал на него ноги, ими он снимал перчатки, а потом большим пальцем ноги подзывал к себе официанта. Тот услужливо подавал меню. Циркач ногами листал меню, показывал, какие именно блюда ему следует подать. Ногами он брал вилку и ложку, ел отбивную, наливал из кувшина в стакан вино, пил. Затем совал в рот сигару и, что было невероятно, доставал пальцами ноги из коробка спичку и прикуривал! Том, впрочем, заметил, что спичечная коробка была больше обычной, да и спички в ней были толстые.

Артиста проводили бурными аплодисментами.

Но это было еще не все. Через несколько секунд он выбежал на арену на собственных ногах, обутых в лакированные штиблеты, и отбил на деревянной площадке умопомрачительную чечеточную дробь. Тут уж зал разразился такими овациями, что казалось — цирк развалится...

Время Тома разделялось между ночлегом в директорском вагончике и работой в конюшне. Гэти он теперь почти не видел, она жила в какой-то каморке с мадемуазель Жоли. По крайней мере, так рекомендовали эту женщину с афиши, которую, несмотря на толстый слой краски на лице, хотелось называть не мадемуазель, а мадам.

Томми в свободное время пытался сделать стойку на руках, но у него ничего не получалось. Если манеж был пуст, Томми бежал к свисавшим откуда-то сверху канатам. Метра четыре ему удавалось одолеть, но потом приходилось спускаться, и канат обжигал ладони. Да, не зря эти цирковые легко выделывают всякие штуки. На них посмотришь — и сразу поймешь: цирковой. Мощные торсы и шеи, развернутые плечи, руки наотлет от туловища, прижать их к бокам мешает развитая муску-



латура. Да, это достигается часами репетиций с самого раннего детства, чудовищными нагрузками. Это-то он понимает. Но как ему добиться в этом особенном мире успеха?..

Иногда он подглядывал, как мадемуазель обучает всяким штукам Гэти.

— Ап-ля! — восклицала мадемуазель Жоли. — Перевернись через мою руку, толчок! Голову запрокинуть. Переворот! Теперь без моей руки... Сальто — это самое простое. Сделай теперь комплимент, вот так!

Мадемуазель раскинула руки, склонила голову, отступая, полуприсела, улыбаясь.

— Вот так! Комплимент публике — это очень важно. Вы сделали трудный номер, вам хочется плакать, вам больно, но публика не должна об этом догадываться. Комплимент! Когда ты выучишь акробатику, танцы, я введу тебя в свой номер — мы будем партерными акробатами. Этому тебе тоже придется очень долго учиться.

«Зубы у мадам, как у лошади», — подумал Томми. Эта мадам не отпускала от себя Гэти ни днем, ни ночью, он даже не мог взять свою подругу за руку. Говорили, что мадемуазель Жоли будет преподавать Гэти все свое мастерство, потому что сама она скоро уже не сможет выступать.

Томми вздохнул. Сальто, комплимент, танцы... Гэти красива, она сейчас особенно расцвела. Они ее, конечно, научат всему. Месяцев через шесть, как сказал директор Анри Дебуссир, ее номер включат в цирковую программу...

И вдруг Томми рассмеялся. Через шесть месяцев?... Через шесть месяцев в чреве Гэти посеянное Томом семечко превратится в изрядный арбуз! Але-ап! Сальто-мортале! Улыбочка! Комплимент публике. Танцы до упаду! Что же тогда будет? Выгонят их обоих? Зря потерянное время... Но прижилось ли семечко? Они были близки шесть раз. Кто знает, достаточно ли этого, чтобы Гэти понесла? Может, ничего и не случится... Ведь некоторые супруги по десять лет живут, а дети у них так и не появляются.

Ладно. Пусть будет то, что будет... надо идти работать. Он везунчик, однажды Господь уже спас его по время крушения на мосту. Может, и теперь все обойдется... Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Вскоре он уже катил по проходу тачку с песком. В проходе его нагнали могучие парни, которые в афише значились, как «Геркулесы: 6-Дондо-6». Они несли огромные гири. Один из них стукнул гирей по тачке, она опрокинулась, песок весь высыпался, а Том чуть не сломал руку. В ярости Том кинулся на обидчика, но старший силач поймал его за воротник, приподнял и рассмеялся в лицо:

— Ты парень сильный! Но мы-то — Геркулесы. Посмотри на нашего младшего, ему всего десять лет, а он уже себе рычаги накачал добрые. Его как-то на новогодний бал пригласили дамы-благотворительницы. А на площади были танцы... Наш Артур и пригласил девочку на танец. Под костюмом мышцы-то не видать, мальчишки подумали, что это просто толстый мальчик. Один из сорванцов хлестнул Артура прутиком по задку. И что же?... Артур учтиво протанцевал весь танец до конца, отвел свою маленькую даму на место, поклонился. Потом подошел к парнишке-обидчику и так двинул его кулаком в челюсть, что тот рухнул. Скандал! Мальчик-то был сыном важных родителей... Но, слава богу, врачи сумели привести его в чувство и вправили челюсть. А нам пришлось заплатить за лечение и принести свои извинения. Ну а над новичками в цирке все подшучивают, так что ты уж не обижайся...

Том понял, что лучше в этом случае сделать вид, что он и не обижаемся. Он сказал:

— Да уж, вы свободно играете такими гирями, которые простому человеку и не поднять. Это поразительно.

— Ты видел наш номер? — спросил его старший Дондо.

— Видел и восхищался, как вы перебрасываетесь огромными гирями, а потом самую большую гирю ставите на барьер и предлагаете зрителям поднять ее вдвоем или даже троим, обещая приз в тысячу франков. И я видел, что из публики выходили



здоровенные мужики, но ни вдвоем, ни втроем не смогли ее поднять. У вас удивительная сила!

— Хорошо! — сказал старший Дондо. — Оставь пока свою тачку и песок, идем с нами на манеж, мы будем там репетировать, покажем тебе кое-что...

В манеже Геркулесы Дондо кидали друг другу тяжеленные гири, старший связывал три гири и поднимал их до плеча.

Потом он взял самую огромную гирю, поставил на барьер и спросил Тома:

— Догадайся, почему никто из публики не может поднять гирю!

— Потому что не находится такого силача!

— Ошибаешься, среди публики иногда попадаются очень сильные люди. К тому же гиря внутри пустотелая...

— Пустотелая? Вот это да! Тогда в чем же дело?

— Ты обратил внимание, что я ставлю гирю всегда на одно место на барьере? Дело в том, что там под обшивкой спрятана чугунная тумба с косым вырезом наверху. В днище гири тоже есть косой вырез, только противоположный тому, который в тумбе. Когда я ставлю гирю, я ее рывком поворачиваю, и один вырез входит в другой, вот тумба и удерживает гирю мертвой хваткой.

Том разочаровался:

— Получается, все это обман, гири у вас пустотелые...

— Конечно, но зато их вид ошеломляет зрителей. Но они все же не картонные — подними-ка хоть одну...

Том схватил гирю, рванул, но поднял только до колена, тотчас бросив ее на манеж.

— Она пустотелая, но все равно в ней два пуда, — пояснил Дондо. — А по ее размеру в ней веса было бы в два раза больше.

— Обман... — омрачился Том.

— Это цирк! — ответил старший Дондо. — Если бы мы перекидывались обыкновенными двухпудовыми гирями, это тоже было бы громко, но в цирке все должно быть оглушительно. Тут все должно сверкать и пениться, оглушать зрителя незабываемыми впечатлениями... Если ты вздумаешь кому-нибудь открыть наш секрет, то сначала вспомни, какие большие у нас кулаки... Мы слышали, что ты хочешь стать циркачом, потому и подсказали тебе, как надо придумывать номера.

— Я понял, а пока мне надо возить песок, не то меня выгонят отсюда еще до того, как я придумаю свой номер...

В этот вечер он долго не мог уснуть. Гэти была близко, но до нее нельзя было даже дотронуться. В этом цирковом мире, говорившем на десятках наречий, все друг за другом подглядывали, один завидовал славе другого и всегда был готов устроить какую-нибудь каверзу особо успешному артисту. Правда, были тут и дружные парни, вроде этих Дондо, и хорошие подружки-танцовщицы, метательницы кинжалов, наездницы и акробатки... В этом малом мире было все так, как и в большом. Было тут много благородного и подлого, прекрасного и ужасного. И хотелось Тому придумать такое, чтобы все ахнули и признали его своим, артистом... Он добьется, ведь он англосакс, а отец говорил, что они самые упорные люди на свете, потому, несомненно, будут командовать всем миром. «Правь, Британия, морями!»

Где-то неподалеку фыркали лошади, шумно вздыхали слоны, кто-то из оркестрантов, очевидно, разучивал новую мелодию, все гоняя и гоняя в душном летнем воздухе одну и ту же музыкальную фразу...

4. ВСЕМИРНЫЙ МАГ АЛИ БУРХАН

Он появился однажды вечером в вагончике Анри Дебуссира, когда и директор, и его жена, и Том уже собирались ложиться спать. Незнакомец был в чалме, в позолоченном халате и красных туфлях, носки которых загибались чуть не на полметра вверх. Он щелкнул пальцами — и в его руке сам собой вдруг возник букет роз.



Незнакомец подал розы мадам Дебуссир, она была озадачена, потому что бутоны роз то и дело меняли свой цвет. Сам Дебуссир ничуть не удивился:

— Я понимаю, что вы фокусник, мсье. Если вы желаете заключить со мной контракт и выступить в моем цирке, то я хотел бы знать, что можете вы делать еще, кроме букетов роз.

— Я великий всемирный маг Али Бурхан, я умею делать абсолютно все, потому что я не фокусник, как вы изволили выразиться, а волшебник.

У Али Бурхана было приятное свежее лицо, широко поставленные черные глаза и ослепительно белые зубы. Его длинные холеные пальцы были унизаны перстнями с дорогими камнями, и на первый взгляд ему можно было дать лет тридцать.

Али Бурхан распахнул халат, вытащил из ножен шпагу, запрокинул голову и погрузил острое лезвие себе в рот, изображая ужас и вгоняя шпагу в свое нутро по самую рукоять.

Том смотрел на все это заворожено, а старик Анри Дебуссир заметил скептически:

— Ну... глотать шпаги могут очень многие фокусники.

Маг подмигнул директору левым глазом и погрузил в себя и саму рукоять. Затем прищелец подмигнул уже правым глазом. Он стал извлекать из себя не шпагу, как ожидали обитатели вагончика, а змею. Она была скользкая, черная, извиваясь в холеных руках Али Бурхана, ее головка с покрытыми мутной слюдой глазами приближалась к телу старика Анри. Из рта змеи было высунуто раздвоенное жало, оно виляло из стороны в сторону.

Анри невольно отшатнулся.

— Не извольте беспокоиться! — сказал медовым голосом Али Бурхан. — Жало — это ее язык, это разведка, а жалит она зубами, именно в зубах у нее таится яд. Но мы ее сейчас угмоним.

С этими словами он покрутил змею меж ладоней, как женщины крутят веретено. Змея вмиг уменьшилась до размера курительной трубки, и чародей сунул ее себе в карман халата.

— А где же ваша шпага? — не удержался от вопроса Том.

Али Бурхан отвернул полу халата и показал, что шпага находится в ножнах.

Анри Дебуссир, как будто ничего не случилось, сказал:

— Вы пришли за контрактом, давайте составим его, я подпишу. Не скрою, я заинтересован, чтобы вы проработали у нас как можно дольше.

— В контракт, помимо суммы оплаты в зависимости от сборов, должно быть внесено еще одно условие, — заявил Али Бурхан.

— Какое же именно?

— Я видел, как репетировала мадемуазель Жоли с девочкой по имени Гэти. Они достаточно гибки и примерно одного роста, как раз такие помощницы мне и нужны.

— Черт возьми! Как же вы смогли увидеть репетицию?.. А-а... понимаю, заплатили кому-то из сторожей. Пусть так, но вы мне должны назвать имя мерзавца, который пропустил вас через черный ход. Я его не только уволю, но перед увольнением еще и набью ему морду. Итак. Кто он? Как выглядит?

— Сторожа тут не при чем. Вы забыли, что я волшебник. Я прохожу сквозь стены, как нож сквозь масло.

— Ясно, не хотите никого подводить... Ладно, что с вами поделаешь. Я этого злодея и так вычислю. Кто-нибудь видел, как он вас пропускал, шила в мешке не утаишь... Что касается мадам Жоли и Гэти, я включаю в контракт их участие в вашем номере, тем более что их собственный номер пока еще не готов. У меня живет и брат Гэти, он заряжает патроны для моего номера и работает на конюшне, но мечтает стать цирковым артистом. Может, и его возьмете в ассистенты?

— Нет, мне нужны только две девушки...

Том сделал вид, что ему все равно, но на сердце скребли кошки. Никто не хочет помочь ему стать артистом.



Первое же выступление Али Бурхана произвело фурор. Том сидел среди публики и внимательно за всем наблюдал. Торжественно объявили, что сейчас выступает самый великий на свете маг, факир и йог. Затем появился Али Бурхан в золотом халате и серебряной чалме. Он вел за руку Гэти Джексон. На ней было короткое платье и белые чулки с рисунком из золотистых колечек. Тому хотелось выскочить на манеж и вырвать из хищной лапы чародея маленькую руку девушки. За Али Бурханом и Гэти двигались двое старших Дондо, они были в пестрых восточных халатах и в чалмах и тащили продолговатый сундук с высокими ножками, изрядно украшенный драгоценными камнями. Том понимал, что роль драгоценностей исполняли искусно раскрашенные стекляшки, но зрелище было красивое.

Сундук был установлен в центре манежа. Али Бурхан простер к нему руку, Дондо стали по краям сундука, изображая стражу, а Гэти танцевала, описывая круги вокруг всей группы. Али Бурхан дотронулся до крышки сундука волшебной палочкой, крышка сама собой открылась, из сундука вылетело три горящих факела, он их очень ловко поймал и стал ими жонглировать.

— Крок! — воскликнул Али Бурхан, и факелы превратились в букеты алых роз, один из них он преподнес Гэти, а два других с церемонными поклонами подарил дамам, сидевшим в первом ряду.

— Крок! — снова воскликнул волшебник, и Дондо стали укладывать Гэти в сундук; тотчас ее прелестная головка высунулась в окошечко из одной боковой стенки сундука, а из противоположной показались ее ножки в кольчатых чулках.

— Крок! — воскликнул с угрожающей интонацией Али Бурхан и захлопнул крышку сундука.

Голова Гэти озорно улыбалась, а ноги весело болтались.

Анри Дебуссир вышел ближе к центру манежа, торжественно и громко объявил:

— Уважаемые зрители, медам, месье! Впервые в мире! Сейчас на ваших глазах состоится распиливание живого человека на две части. Нервных и детей просим удалиться.

— Итак! — Дебуссир отступил к проходу, где стояли униформисты и пожарники.

Великий маг достал непонятно откуда взявшуюся плотницкую пилу, зубцы которой были остры, это было видно с первого взгляда. В оркестровой ложе нервно затрещали барабаны. Пила вонзилась в сундук как раз в его центре и со скрежетом стала разрезать и дерево, и железо. Маг распиливал сундук со зверским выражением лица. Том понимал, что это фокус, но ему невольно хотелось кинуться на защиту любимой. Среди публики слышались ахи и охи, несколько дам забились в истерику. Кто-то предлагал вызвать полицию. Но маг сурово продолжал свое зверское дело.

Наконец сундук был распилен и, повинувшись жесту чудотворца, Дондо растащили его половинки. Один из Дондо спросил голову Гэти:

— Как вы себя чувствуете, мадемуазель Гэти? Не скучаете ли вы по своим прелестным ножкам?

— Да ничуть! — улыбаясь, ответила Гэти. — Я думаю, что это они скучают по мне! — Ножки в кольчатых чулках в это время продолжали весело болтаться.

— Шарах-тарах! — выкрикнул маг. Дондо соединили половинки сундука вместе. Али Бурхан протянул руку и вытащил из сундука Гэти Джексон, целую и невредимую. Она присела, делая комплимент фокуснику, публике, затем беззаботно затанцевала под музыку оркестра вокруг сундука. Великий маг приложил руку к сердцу и поклонился публике. Бурные овации сотрясли здание цирка.

Анри Дебуссир сиял. Хорошие сборы будут обеспечены надолго. Марсель — большой город, слух о великом чародее будет привлекать сюда все новых и новых зрителей.

«Но как же это все было проделано? И почему мадам Жоли не была занята в номере, если и ее имя было вписано в контракт?» — думал Том. Он все-таки выбрал

момент, когда Гэти проходила мимо конюшни, взял ее за талию, привлек себе, хотел поцеловать. Но она отпрянула от него:

— Что за глупости, Том? Ты хочешь, чтобы и меня, и тебя прогнали с работы?

— А что такого? Разве брат не имеет права поцеловать сестру? Я подозреваю, что ты равнодушна к этому красавцу. Но подумай сама, не погонит ли он тебя прочь, если у тебя начнет расти сделанный мной животик? Вот будет фокус так фокус!

Гэти пожала плечами.

— Пока что я ничего такого не чувствую. Успокойся, Том. Это просто работа... Какая беда, если я ему улыбнусь, — и она поцеловала Тома.

— Скажи, как это получилось, что ноги твои были отдельно, а голова отдельно? Я никак этого понять не могу.

— Том, я тебе скажу, но только это большой секрет... Если кто узнает, наш номер будет никому не интересен.

— Но я же не стану болтать! Я же не баба какая-нибудь, я ковбой!

— Ну так слушай... Когда я ложилась в сундук, в нем уже лежала мадемуазель Жоли. Она была точно в таких чулках, как у меня, и сложились, так, чтобы занимать ровно половину сундука. Когда я легла в ящик, она тотчас высунула ноги в дыру, которая была в ее половине сундука. Я в тот же самый момент высунула голову в дыру в другой его половине. При этом мне пришлось согнуть ноги так, чтобы я занимала ровно свою половину. Между нами опустились две жестяные переборки. Он распиливал сундук как раз между этими переборками, вот почему пила так скрежетала. Вот и все.

— Да... действительно придумано неплохо.

— Ну все, Том, хватит целоваться, не то нас увидит кто-нибудь.

— Ладно! Но если я узнаю, что ты крутишь с этим усатеньким, я продырявлю ему голову из кольта. А это будет такой фокус, после которого уже не воскреснешь. Так и скажи твоему индусу! Нас, ковбоев, всякими глупыми раздвижными ящиками не удивить. Мы и не такое видели!

Гэти умоляла Тома успокоиться. Она хранит ему верность, а работа есть работа. Она же учится цирковому ремеслу, потом это им обоим пригодится...

5. НЕ ТЕ ПАТРОНЫ

Время шло, мягкую теплую зиму сменило жаркое лето. Менялась погода, менялись и номера в цирке. Уехали куда-то Дондо, их сменили другие силачи. Фернандо Ферри с королевской конюшней и длинногривой лошадкой поехал на гастроли в Лион. Но навоза в цирковых стойлах не убывало. На смену королевским лошадям явились арабские скакуны и верблюды — не одни, а со своими наездниками, арабами. Тому было все равно, чей навоз выгребать из конюшни. Он уже привык к своей работе, делал ее быстро и аккуратно. У него стало оставаться немного свободного времени, и он тренировался в ходьбе по канату. Но циркачи таили секреты своего мастерства, канатоходцы и не думали ему что-либо подсказывать. Они были даже довольны, когда он срывался с каната и повисал на страховочной веревке, именуемой лонжей. Но Том все равно чувствовал, что с каждым днем он ходит по канату все увереннее.

Не нравилось Тому только то, что директор Анри Дебуссир все продлял и продлял контракт проклятому Али Бурхану. Том говорил своему начальнику, что если меняются другие номера, то давно пора заменить и номер Али Бурхана.

— Это было бы все равно что сварить в супе курицу, которая несет золотые яйца, — отвечал Анри Дебуссир. — Ты посмотри, каждое его выступление вызывает овации! Такие фокусники встречаются редко. Марсель — портовый город, публика часто обновляется... ты замечал, сколько в зале бывает моряков?

Тома эти объяснения не успокаивали. Он следил за Али Бурханом и своей возлюбленной, посещал почти все их выступления. Гэти теперь не только танцевала



вокруг волшебного сундука, но сопровождала танец пением. У нее оказался отличный голос, это сказал дирижер циркового оркестра. Гэти наняли репетитора, который был молод и кудряв, это тоже бесило Тома.

Лето напоило ароматом каждый уголок Марселя, белоснежные дворцы и тенистые парки показывали себя всему миру, будто бы спрашивая, есть ли где на земле что-либо прекраснее их. Том даже пожертвовал одной своей репетицией ради того, чтобы пройтись по Марселю. Ведь он провел здесь целый год безвылазно. Работа, работа, работа...

Он забрел в парк, где было много тенистых уголков и удивительных мраморных статуй. Тут были феи и амуры, пленительные Венеры, прекрасные Аполлоны. На дальних холмах виднелись старинные замки. Фигурные скамьи в беседках манили присесть, помечтать.

Том и присел на одну из них. И вдруг он услышал неподалеку в зарослях загадочных местных деревьев два голоса, мужской и женский.

— Нет, никакой я не араб, не индус, прекрасная моя волшебница, я итальянец из многолетней сицилийской семьи. Десятилетним мальчишкой сбежал я из дома с бродячим цирком, испытал голод, унижения, побои... Месяцами мое тело было пятнистым, как у леопарда, только эти пятна были не желто-коричневыми, а синими. Я был весь в волдырях и шишках. Меня били иногда за дело, а иногда и просто от скуки. Я был мальчик на побегушках — варил похлебку, чистил ботинки, чесал пятки и каждому кланялся до земли. Но я подглядывал, как надо делать те или иные трюки, особенно следил за их факирами и фокусниками...

Я испытал множество унижений, но однажды сбежал из этого цирка, уехал в Германию, там выступал в разных городах на площадях. А потом почувствовал, что достаточно поднатерел и могу предъявить себя настоящему цирку.

Помнится, это было в Швейцарии. Небольшой передвижной цирк оплатил мне мизерную, но они сразу добавили мне франков, когда я поучаствовал в нескольких представлениях. После я сменил множество цирков и городов, и вот счастливый случай, моя богиня, привел меня в Марсель. Мне уже за тридцать, настала пора обзавестись женой, и никого другого на этой земле мне не надо...

Затем Томми услышал звук поцелуя... и знакомый женский голос сказал:

— Дорогой Лучано, мне сладки твои поцелуи, я таю в твоих объятьях, но я тебя недостойна. Я же говорила тебе, что я жду ребенка. Скоро я уже не смогу принимать участие в твоём номере, и тебе придется подобрать другую ассистентку. Нет, нет! Это сейчас ты так говоришь, но ты не сможешь по-настоящему любить ребенка, который не тобой был зачат. Меня это будет мучить. Поэтому... давай оставим всякие разговоры о женитьбе.

— Ты не права, Гэти, — сказал мужчина, — у нас на Сицилии всегда бывает в семьях много детей. А мы уедем на Сицилию, я ведь накопил уже достаточно денег, у нас там будет свое небольшое поместье. У нас будут общие дети, их будет много, и я буду любить всех одинаково!

В это время затрещали кусты и разъяренный, Том сшиб итальянца ударом кулака. В Америке Тому доводилось боксировать со сверстниками, бокс там был в большой моде, многие приемы остались в памяти, а работа на конюшне помогла накачать изрядные мускулы.

Едва итальянец поднялся, Том вновь сбил его с ног. Гэти кинулась к Тому:

— Том! Оставь его, ради всего святого! То, что я отдалась тебе там, на корабле, это была просто моя девичья глупость. Что такое настоящая любовь, я узнала только здесь, с Али Бурханом, с Лучано... Том! Насильно заставить любить невозможно!

— Глупая! — выкрикнул Том. — Я ковбой, я этого итальяшку прихлопну как гадкую муху, только выберу подходящий момент. Долго ты с ним не будешь обниматься! — и он удалился, потирая ушибленный кулак.

Через день после этого случая Али Бурхан зашел в вагончик директора цирка в тот момент, когда жена Анри Дебуссира вышла на минуту, чтобы попросить в сосед-



нем вагончике соли. Он метнулся к полке, где лежали приготовленные для выступления патроны, заменив их другими.

Наступил вечер, нарядная публика заняла в цирке места. Оркестр играл веселую музыку, один номер сменялся другим. И вот объявили выступление Анри Дебуссира; он вышел в охотничьем костюме и в шляпе с пером, за ним шла супруга с охотничьими принадлежностями в руках. К ноге Дебуссира жались породистые охотничьи собаки. Голуби сидели на противоположной стороне на выпиленных из фанеры деревьях, все было красиво, потому что голуби были разных расцветок и пород.

Мадам Дебуссир подала мужу двустволку и произнесла заученную фразу:

— Дорогой, ты все равно ни за что не попадешь ни в одну птичку, ты уже давно слепой.

Дебуссир отмахнулся от нее — мол, замолчи глупая баба, сейчас я покажу высокий класс... Он выстрелил, все заволокло дымом, голуби уселись на двустволку, на шляпу и плечи Дебуссира. По цирку прокатился непонятный ропот... и вдруг все шумы перекрыл истерический выкрик:

— Убили! Полицию! Доктора!

Дебуссир не сразу понял причину такой реакции. Он шагнул к фанерным деревьям и увидел в пятом ряду мужчину и женщину, на одежде которых расплывались кровавые пятна. Это были известные в городе люди — владелец лучших в Марселе магазинов и его супруга.

— Это не я! Не я! — закричал Дебуссир. — Патроны заряжал наш конюх Том. Патроны должны были быть холостыми! Он это сделал нарочно! Ловите Тома Хаксли! Держите заморского дьявола! Я его приютил, а он...

Когда подоспели полицейские, они заломили руки назад и Дебуссиру, и Тому, усадили их в черную карету, а публике объявили, чтобы все желающие явились в полицию в качестве свидетелей злодеяния.

Дебуссир вернулся в цирк весь в синяках и ссадинах. Ему полицейские запретили раз и навсегда стрелять из чего-либо в цирке. Даже из лука, не то что из ружья. А Тома, по слухам, сослали в каторгу на остров, где он будет должен будет пилить камень-ракушечник на блоки для строительства. От белой каменной пыли тамошние каторжники начинают харкать кровью, так что сосланные на этот остров домой уже никогда не возвращаются.

Эти, конечно, было жаль Тома, но предвкушение счастливой брачной жизни с итальянцем в его легендарной и песенной Сицилии сглаживало печаль.

Однажды музыкальный репетитор сказал ей, что ее ждет знаменитый антрепренер, прибывший из Парижа; он был на представлении, ему понравилось пение Гэти и ее голос, нужно идти к нему немедленно. Гэти засомневалась, но репетитор был в прошлом оперным певцом, отцом большого семейства, ему можно было доверять.

Они сели в кабриолет и направились в центр Марселя, где в роскошной гостинице в дорогом номере их ожидал парижанин. Служитель доложил об их приходе.

Из апартаментов донесся голос:

— Просите их войти...

Навстречу им из кресла поднялся пожилой красавец гвардейского роста с седой гривой волнистых волос. Он поцеловал Гэти руку и представился, говоря по-английски:

— Маркиз де Амбуаз! Мое имя для вас ничего не значит, но мой род древнее самой Франции. Я сообщаю это по той простой причине, что вы должны будете мне поверить и безо всяких колебаний пойти той дорогой, которую я вам укажу. Дитя мое! Я в курсе ваших дел, знаю, что вы хотите выйти замуж за этого полуголодного итальянца... Вам его не с кем сравнивать, ибо вы только начинаете жизнь... и вообще, вы мало что видели на этом свете. Но я видел и слышал в жизни очень многое. У вас голос редкостной красоты, вы сами очаровательны, грациозны. Франция знала



всякие катаклизмы, были бунты и войны, падали и поднимались короны... И все же у нас всегда сохранялись благородные люди, ценящие настоящую красоту и одаренность, умеющие поддерживать все прекрасное. Вы находитесь в этом жалком балагане среди грубых и невежественных людей. Вы тратите свой дивный дар и свою молодость... Вас удивляет, что я говорю по-английски? Но это для того, чтобы вы меня лучше поняли. Я знаю еще пять европейских языков... и еще пять — восточных. Я выучил их, чтобы лучше познать науку и поэзию других народов. Так вот, я предлагаю вам немедленно вместе со мной поехать в Париж! Вы будете жить в одной из лучших гостиниц. Некоторое время с помощью опытных концертмейстеров вы будете готовить репертуар небольшого концерта, подберете те песни и мелодии, которые вам ближе по духу. Потом вы выступите в салоне мамам Бразуваль. Это будет закрытый благотворительный концерт. Уверю вас, собранная в вашу пользу сумма будет такой, какую вы не заработали бы в этом цирке за сто лет. У вас будет совсем другая жизнь, совсем другие масштабы!

— Месье, — потупившись, сказала Гэти, — вы знаете не все подробности моей жизни... мне трудно об этом говорить, но это главная причина, которая не позволяет мне принять ваше предложение...

Она долго молчала, потом собралась с духом и почти шепотом вымолвила:

— Месье! Я беременна!

Аристократ улыбнулся:

— Сейчас это совершенно незаметно, концерт в салоне состоится задолго до того, когда ваше положение станет явным. А выступление сразу же откроет вам дорогу в другие салоны, в театры, в концертные залы Парижа. Я думаю, вы успеете дать несколько концертов и станете богатой и известной еще до того, как настанет пора вызвать к себе в жилище акушерок. Поймите, в вольнолюбивой Франции к родам одинокой женщины относятся совсем не так, как в пуританской Америке. У нас нет ханжества, мы славим свободную любовь! — воскликнул маркиз, при этом глаза его лукаво блеснули.

— Хорошо, если все будет так, как вы говорите... — тихо вымолвила Гэти.

— Все будет именно так. Завтра часам к девяти утра я в своем экипаже подъеду к цирку. Я буду ждать вас за углом, у фонтана. Соберите все необходимое, и мы с вами отправимся в приятное путешествие. О том, что вы уезжаете, не должна знать ни одна живая душа. Вы слышали такую фразу — «Увидеть Париж и умереть!»? Не слышали? Что ж, все равно, мы едем в культурную столицу мира, чтобы жить! И жить хорошо!

6. УВИДЕТЬ ПАРИЖ

В девять утра Гэти Бэкфорд с маленьким саквояжем поместилась в роскошном и очень удобном ландо маркиза де Амбуаза.

— Хорошо ли вам спалось? — осведомился маркиз.

Гэти бесхитростно ответила:

— Вечером я плакала, а потом вдруг уснула.

— А не заметила ли ваша напарница вашего плохого настроения и сегодняшних утренних сборов?

— Она крепко спала после выпитого ею рома, и утром я сумела незаметно собраться и уйти.

— Вы поступили очень благоразумно. С этого момента исчезает из мира Гэти Бэкфорд и является в мир Фанни Лир! Как нравится вам псевдоним?

— Но зачем же мне чужое имя?

— Все очень просто: до сих пор вы выступали в маленьком цирке, да и в афишах писалось только имя этого итальяшки, не имя даже, а глупая кличка — Али Бурхан... На самом деле он какой-нибудь Эспозито, Бенвенито Бенвенуче или что-нибудь в этом роде... Вы были безымянной девицей, которую этот злодей разрезал на две

части, только и всего. Но после выступления в салоне для избранных ваше имя обязательно появится в парижских газетах. Ну и как, вы думаете, поступит ваш папаша-пастор, когда ему кто-нибудь сообщит, что читал о вас во французской газете? Вы ведь еще такая юная! И ваш родитель устроит большой скандал, потребует вернуть вас в родной дом. И разве вам хочется вернуться к скучной жизни в степи, к дойке коров и коз, к граблям и навозу?

— Откуда вы знаете про коров и коз? И вообще...

— Я навел справки. Для успеха дела надо знать многое. Вот я и узнал кое-что. Не я сам лично, но мои знакомые, которые живут в Марселе. Это хорошие друзья, они не стали интересоваться, зачем мне это нужно. Они просто добыли для меня эти сведения.

— Хорошо, пусть я буду Фанни Лир, хотя, сказать по правде, мне к этому имени надо еще привыкнуть. А что до моего отца, то я уже в таком возрасте, когда можно жить самостоятельно!

— Вот и прекрасно! — воскликнул маркиз де Амбуаз. — Вы посмотрите, какие великолепные леса на холмах и какие светлые ручьи петляют в лугах.

— Да, очень красиво...

По дороге они не раз останавливались на отдых в придорожных гостиницах и тавернах. Гэти увидела в пути немало старинных диковинных замков, холмов, покрытых виноградниками, быстрых и чистых рек с ажурными мостами через них.

Но вот вдали стали расти шпили высоких зданий Парижа.

Они остановились в узком переулке, возле старинного дома. Кучер взял в руки небольшой саквояж бывшей Гэти Бэкфорд, а теперь Фанни Лир. Маркиз вел Фанни под руку, и все они поднялись на третий этаж. Там их ожидали горничные и слуга.

— В вашей квартире — шесть комнат. Я арендовал ее для вас на полгода. Думаю, со временем у вас будут деньги на дальнейшую аренду. Здесь есть все удобства. Отдыхайте. Завтра к вам придут портные и парикмахер, придет и музыкант, с которым вы станете разучивать песни... Постарайтесь сопровождать каждую песню танцем, как это вы делали в цирке. Уже через неделю состоится ваше первое выступление в салоне Жанны де Турбе. От этого выступления будет зависеть вся ваша дальнейшая судьба.

— А кто она — Жанна де Турбе?

Маркиз де Амбуаз самодовольно улыбнулся:

— Девочка! Это имя сейчас гремит во Франции! Жанна де Турбе, в замужестве графиня де Луан, возлюбленная Маркса Фурнье, директора столичного театра Порт Сен-Мартен, которого она полностью разорила, а затем проделала то же с принцем Наполеоном. Она принимала в своем салоне весь цвет литературного Парижа, здесь бывали Теофиль Готье, Гюстав Флобер, Иван Тургенев... Впрочем, вы вряд ли слышали про этих великих людей. Но у вас еще все впереди. Сейчас Жанне де Турбе покровительствует крупный администратор Эрнест Барош, подаривший ей недавно состояние в восемьсот тысяч франков.

— О! — только и смогла вымолвить Гэти.

Про себя она подумала, что если только сотая доля в словах маркиза — правда, то и тогда она попала в удивительный мир, в котором постарается найти свое место. Репетировать, изо всех сил репетировать...

Александр ЧЕХ

КАТУНЬ

ГРОЗА НА КАГУНИ

Тане и Володе Бродниковым

Гроза срывается с прибрежных скал.
Разряды прямо над сосновой гривой.
Но как верхушками бы ни плескал
неистовствующий в своих порывах

воздушный ток, течение реки
по-прежнему стремительно-спокойно.
И как ни крупны капли, их круги
почти не различимы... Так с погодной

бесчинностью и стойкостью воды
укладываемся мы спать. В палатке
ни дождь особой не сулит беды,
ни ветер, никнувший в лесной подкладке.

Зато при каждой молнии она
на два-три мига вспыхивает белым,
и громом пробирает всё до дна,
и капли шлёпают по оробелым

кустам... Но, как течение реки,
меня уносит дрёма. Свет и грохот
становятся приятны и близки.
... Знакомый сон. Железная дорога.

*Мы подъезжаем к станции. Гремят
на перепутьях стрелочных колёса.
Прожектора ночную тьму гранят,
и от огней слепящая полоска*

*нет-нет да и окинет всё купе,
пробравшись между штор... Но сон не скачет*

*и не грозит виденьями вскипеть,
до сладости сроднясь с вагонной качкой...*

В палатке на Катунском берегу
несёт меня грозы транзитный поезд.
Куда? — я и представить не могу,
но следую, ничуть не беспокоясь...

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

1.

Смиряется время, когда
с прибрежного смотришь менгира.
Вздымающаяся вода
артерии мира

несётся белёсой грозой
с громами всплеснувшихся гребней
и молниевой бирюзой
отливов... А древний

утёс — это борт корабля.
Легко мы плывём — и далёко...
Скрываются явь и земля
в воронках потока.

...Когда же знакомым путём
на правый отправимся берег,
немногое прежним найдём,—
но стерпим потери,

коль даже неистовый зной,
где мы, словно воск, оплываем,
пронизан насквозь новизной
и неузнаваем...

2.

Два года не окатывала лбов
и форточкой не хлопала у сердца.
Два года однокрылая любовь
к нам исподволь нащупывала дверцу.

И вдруг перевернула всё вверх дном
слепыми рикошетами полёта.
Полуночное солнце за хребтом —
а зябко от несохнувшего пота.

Не знаю, то ли рваться, то ль терпеть.
Мне нечем знать: из мозга головного
ты в костный перебралась, и теперь
где сам я — а где ты, и *что* мы оба?





3. Злато-серебро

Трудам не грозят катастрофы,
а снежная воля свежа.
Пока не протоптаны тропы,
придётся идти не спеша.

Угадывается ногами
квартальная диагональ.
А магия снежных миганий —
едва отодвинутся вдаль

огни фонарей или окон —
немедля вступает во власть.
Кому будет здесь одиноко,
меж ярко сверкающих глаз?

С паломничьем благоговеньем
бредёшь по чужому двору.
И память по обыкновенью
к другому вернёт серебру, —

*каким поминутно вскипает
весенний Катунский поток,
которое сплошь обступает
наш пляж и сосновый мысок,*

*где так же, как эти сугробы,
играет несчётностью искр
прибой — той же тысячной пробы,
что здешний серебряный прииск...*

Поодаль снег сер, как *прибрежная
галька*; мерцаний в нём нет.
Лишь гребень на пустоши снежной
сгущает рассеянный свет,

и ярко белеет, *точь-в-точь как
течением обточенный ствол,—
обсушен на серых песочках,
сияет он, гладок и гол,
своей оловянной полудой...*

*Но я обгорал, и жара
меня выдворяла к полудню
под сосны, на чай у костра.*

*А где серебрились на травке
тела принесённых водой
дриад — не боясь переплавки,
мой слиток лежал золотой,*

моя дорогая пропажа...
Едва различима в кругу



древесных соперниц, ты с пляжа
вставала, когда — к костерку,

когда — искупаться, но чаще —
чтоб самозабвенно бродить
по краешку ярко лучащихся
волн на катунской груди.
Ты к водам и к солнцу стремилась,
оставив и чай, и меня.

Чтоб злата Катунского милость
на серебро здесь не менять.

4. Июнь

И в сладкой печали,
и в горькой тревоге
легко мне.
Что было в начале,
что сплыло в дороге —
всё помню.

Куда б ни спешили
алтайские реки
к слиянью,
струятся в их жиле
вершинные снег и
сиянье.

Куда бы ни гнали
дневные заботы,
я вижу
тебя — из окна ли,
во сне ли, на фото —
всё ближе.

И как ни далёко
зелёные плёсы
Катуни,
мы в водах потока,
который понёсся
в июне.

КАТУНСКАЯ СОМА

MW

Летит и брызжет Катунь
своим отрезвляющим зельем.
Расплавленная латунь
смывает привычную зелень.

Полуденные берега
подсвечены беглым блеском.

И незачем оберегать
себя от солнца и плеска,

холодного олова вод
и белого галькокаленья...
Здесь счастливы кровь и пот,
и лёгкие, и колени —

поскольку счастлив поток:
небесный, воздушный, водный...
Как если б юго-восток
с просторами и свободой

на северо-запад шёл,—
как если бы эти горы
китайский отправили шёлк
тебе, в прогорклый наш город...

Ну что для этих высот,
для воли здешнего ветра
дорога длиной в пятьсот
степных и лесных километров?

И пусть не в явь, пусть во сны
твои этой ночью вживится
горячий выдох сосны,
всплакнувшей светлой живицей, —

и ровный шёпот реки
на гальке,
и гул на скалах, —
и стойкие огоньки:
от майских ковров
до усталых

сентябрьских костров...



Владимир АЛЕЙНИКОВ

САЮ ВАЮ*

...Вот и всё, что, с трудом, с усилием, как сказал однажды Толстой, а потом, через много лет, повторил за ним Заболоцкий в своих поздних стихах чудесных, удалось мне, грустно вздохнув о былом, головой качая поседевшей, всё ж разобраться.

Но зато — сразу, если не всё, то уж точно многое вспомнилось.

Приходится, вот как бывает, подумать ведь только, себя, с опытом всем своим немалым, с памятью, с музыкой, возрастающей в ней, встающей над годами сиянием, лунным, или солнечным, или звёздным, и звучащим, буквально сдерживать, чтобы прямо сейчас, немедленно, не теряя времени, начерно или набело, как получится, как уж выйдет, хотя бы часть, хоть какую-то кроху этого, навсегда, звучания зримого, мне, в который уж раз, даримого кем-то свыше, не записать.

Как сдержаться? С трудом, с усилием? Звуков явленным изобилием, знаков, символов, смыслов, тональностей речь полна — они не молчат.

И звучат голоса из прошлого, в переключку вступаая с нынешними голосами, да и с грядущими, несмотря ни на что — звучат...

...Отзвук дверного скрипа.

Облако за горой...

Книга нового типа.

Синтез. Монтаж. Строй.

Времени свет крылатого.

Музыка снов — и яви.

Май шестьдесят пятого.

Письма. Конечно — Славе.

Золотое, волшебное, светлое слово осень утратило грусть.

Может, мне показалось это, померещилось? Ну и пусть.

Но приходит с горстями света всё же знакомое наизусть.

В эти майские, странные дни я стою на холме и ловлю в обе пригоршни ветер с юга.

И мёртвые голуби, сбитые в их свободном, высоком полёте ядовитыми стрелами зла, прилетают бесшумно вечером к моему деревенскому, тусклому, кособокому, одинокому, но горящему всё же окошку.

Здравствуй, новое лето, грядущее, с черноморской солёной волной и зыбким, вкрадчивым запахом цветущей лаванды с Зевесовых или других угодий.

Здравствуй, пойманная, черномазая, пучеглазая, вся — пружинка, морская рыбёшка, удержать которую трудно рыбаку на пирсе в руке.

Здравствуй, тень отдалённой смерти, кипарис, и тень славы — лавр.

В крови моей бродит вино, и звезде совершенно незачем демонстрировать или выказывать — вот, мол, я, посмотрите, — себя.

Все давно уже на местах, очень скоро начнётся спектакль.

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2013, № 7.



Мы весёлые, право, актёры, да только играем навыворот. Наоборот. Не так, как положено. Вечно — по-своему.

«Уведи меня, жена, ты совсем поражена», — обязательно скажет зоркий, многоопытный, трезвый зритель.

Но проносится Слава Горб, запорожец в маске Нептуна, и тут уже некогда нам перестраиваться и раздумывать.

Трезубцы стоят, пожалуй, всех зажигаемых свеч.

Серебряные, поющие то вполсилы, то в полную силу, звонкие трубы Архангелов и медные горны, а может быть, да, почему бы и нет, просто-напросто это — горнила.

Полночь в мире. Вы поняли? Полночь.

Апельсины, оранжевый жар, и гитары, дыхание струн, непрерывно звенящих, и ветер, ветер, всё — кувыркком, на-попа!

— Слава, вроде летим?

— Летим!

Вопли снизу:

— Ату их, ату!

Шестикрылые, сильные, грузные, с кровью в тёмных глазах, быки, львы поджарые с гибкими лапами понаехавших в гости пожарных, рогатые, монументальные слоны в стороне — наша свита.

Без барабанов. Только, пожалуйста, без барабанов.

Сурьма, бирюза, серебро на синем, потом — лиловое, а потом уже, чуть погодя, — золотое, густое, дремучее.

Индейцы племени майя в нарядах своих ритуальных, молчаливые, бронзовотелые, календарь свой упрямо хранящие, к новым звёздам привычно манящие, честь и весть, — наши лучшие друзья.

Други-струги, ловите подпруги. Но подпруги — уже на подругах. А подруги — давно на поруках.

Мы летим среди огромных колёс и вращающихся плоскостей.

Мейерхольд, волшебник, возможно, или Мастер, что несомненно, весь в порыве куда-то — куда? — вверх, вперёд, вглубь и ввысь, в движении, вдохновенный, носатый, стремительный, с головою лохматой, подкручивает, по наитию, по чутью, на ходу, какие-то гайки.

Часовщики, собравшиеся со всей Европы и даже из Азии, умывают зачем-то, все вместе, руки.

Мой телохранитель, мнимый, придуманный мною, — спятил

Мой ангел-хранитель — рядом. Он весел, крылат и светел.

Пришли толпою художники — и мажут, артельным способом, холсты, на которых высвечиваются порою людские судьбы.

Ритм, налетающий, словно влажный весенний ветер, синкопический, продлевающийся бесконечным шлейфом в пространстве.

Рим, возникающий, словно мы-то его и ждали, остающийся отголоском бурной музыки где-то во времени.

Ризы, ладан, молитвы, лики, облачения, колокола.

Розы, алые, говорящие, что надежда днесь не мала.

Слёзы, горькие, да, людские, для которых печаль светла.

Мы сегодня — крылатые гении.

Наше время — свеча и полынь.

Открывается парк! Внимание! Открывается парк таинственных и пленительных, это уж точно, мне поверьте, воспоминаний!

Память, может быть, голословна, и загадочна, безусловно, память — в нас, память — всюду с нами, но зато аллеи — полны!

Кто заведует всем? Конечно, Слава Горб, человек надёжный. Вот он — связки ключей на поясе — величаво шествует, мавр.

Египетские, змеиные, волосистые, тонкие дудочки играют ему — нет, не древние мелодии вовсе, а Шуберга.

Это бывает — весной.

Осенью он, известный знаток и ценитель музыки, предпочитает слушать обычно — концерт Мендельсона.

Тогда дымится в руке сигарета, и пепел падает лёгкими хлопьями в пепельницу, а в соседней уютной комнате то ли внятно, то ли невнятно, да не всё ли равно, бормо-



чет что-то более приближённое к нашей сказочной, как ни крути, в проявляемых её фантастических, многозначной, суровой реальности, по привычке включённый в сеть доморощенный репродуктор.

Но сейчас весна, даже поздняя, май закончится вскоре, и только что, ни с того ни с сего, нагрянув на округу, прошёл ведь дождь.

И ненужные поливные понаехавшие машины обернулись, на всякий случай, неподвижными черепахами.

Скоро, скоро у нас — карнавал. Все наденут различные маски.

Слава Горб идёт к танцверандам и решётчатым летним киоскам. И походка его легка, хоть и несколько неустойчива, но становится всё уверенней, как движение сентября.

Четверо молодых, подтянутых, стройных горнистов — из военных широкой складки, строгой выучки, чёткого шага, верной поступи, крепкой закалки, зорких взглядов сквозь время, — трубят.

О, эта свежая, терпкая, горьковатая, нежная мякоть разломанного рукою, чуть дрогнувшей, стебелька, вкус сорванного листка на запёкшихся, жарких губах, вино прохладное в летних, переполненных посетителями, сквозных, просторных, увитых воздушною гибкой зеленью, манящих к себе, чтоб скорее оказаться в них, там, за столиком, там, в подобье прохлады, уюта, пусть и временного, кафе, цветы на каждом углу, красные, словно кровью налитые бутоны роз, шелест листьев, шорох шагов — где-то там, далеко, вне аллеи, там, где меньше людей, где нет уже никого, только тени вокруг, только музыки отзвуки, тихие, доносящиеся сюда иногда, только взгляды — сквозь вечер, сквозь листву, сквозь смущенье, сквозь век, только руки, сплетённые вместе, да шаги в темноту и на свет.

О, всеобщее переселение — но куда, в какие края? — душ стрекодух, изнывающих от желанья любви кузнечиков.

О, негаданно вдруг оплаканная всеми женщинами сирень, когда можно кому угодно — эх, мол, что там терять, берите, жизнь одна, поскорей! — раздаривать сокровенные адреса.

Мне душно — и я расстёгиваю, рывком, решительно, ворот лёгкой, но ставшей тяжёлой, взмокшей своей рубашки.

Ещё немного, ещё немного, совсем немного — и всё никогда не встанет, может быть, на свои места.

Это, впрочем, не к месту, — и я делаю жест плечом, словно стряхиваю наваждение, чтобы всё это позабыть.

Исподволь я наблюдаю, с интересом, за Славой Горбом.

Откуда эта какая-то мавританистая, восточная гибкость крепкого и упругого, прорастающего сквозь камни с неизменным упорством стебля и спокойная простота украинского, пирамидального, величавого, стройного тополя в каждом его движении — и что это за ветерок, полынный, скифский, степной, сквозь его струится зрачки?

Азиатская ли неволя или всё же древняя воля тихо шепчет — о чём? — кто знает! — не подскажет никто, — навевает, словно чары, свою дурманную, конопляную, сладкую дрему, — кольца слов, золотые, серебряные, выплывают из полумглы и уходят куда-то в чёрное никуда, в параллельный мир, в измеренье другое, чтобы обрести там покой и сон.

Постоянство поступков и действий говорит нам сейчас о доверии ко всему, что есть на земле.

В ларце серебряном, с чернью, — малиновая обивка. В нём — синяя, тонкая, хрупкая бумага всех обещаний.

Хруст веток, упавших с деревьев, под ногами, и смутный шёпот — но чей? — поди догадайся! — не просто это понять, — привычные мои спутники, на все, видать времена.

Я говорю: уже, — ты слышишь меня? — уже зажглись резные фонарики на первом плане, вот здесь, рядом, — и куцые, жёлтые, по-китайски, хмельные осы упали в сладкую пену варенья или же почвенного негаданного разлома.

Я говорю: ну где же моё первое ощущение беспредельного одиночества, и когда я его испытал, ошарашенный им, впервые, да и что, если в корень смотреть, называем мы одиночеством, и не есть ли прямо сейчас вот такое моё присутствие среди буйного карнавала самым страшным из всех одиночеством.

Однако нельзя никак мне закончить думать об этом.

Предлагают надеть мне маску хохлатой птицы с короной. Не принять — невозможно. Беру её, хотя лучше, я понимаю, не брать бы, ни в коем случае, да, не брать — вообще ничего.



Но такой, что же делать, порядок, в жизни нашей сумбурной художественные, назовём их с пафосом, образы окружают нас, как стволы всех деревьев парка, их незачем в неких муках нелепых выдумывать, и всего-то, соратники, надо полагаться лишь на чутьё, на всевластную импровизацию, на дар не случайный хмеля, когда движение речи остановить нельзя, и надобно только его не задерживать, — ритм возникает сам собою, звук разрастается, превращается вскоре в звучание дивной музыки, — видишь, слышишь, понимаешь хребтом, встаёшь над словами, паришь, летаешь, что-то нужное ощущаешь, говоришь потому, что знаешь: прав ты, свет на пути встречаешь, — вот корабль, к островам любви уходящий, — на нём ты снова среди небесного и земного, — так плыви же вперёд, плыви.

Маленькие кораблики — броши из перламутра. Маленькие, чуть видные, различимые еле кони на обочине. Крупные бабочки пестрокрылые — на плече.

Крохи и муки всеобщего единения — здесь, вне смерти. В жизни, которую надо суметь достойно прожить.

Мне весело почему-то стоять, как ни в чём не бывало, вот здесь, посреди карнавала, от веселья чуть в стороне, — я привык, у меня есть опыт нешуточный, несмотря на возраст, — я даже, представьте себе, начинаю немного уставать, — так бывает всегда после пиршества мыслей и слов.

Идут чередою фонарщики. Собаки умные стаей бегут далеко впереди. Шумят позади листвою знакомые тополя.

Есть хороший саксофонист в Кривом Роге, Толик Шумейко, мастер подлинный своего музыкального сложного дела, длиннолицый, чинный, высокий и похожий не то на эстонца, не то, скорее всего, на литовца, его фамилия звучит на литовский лад.

У него есть свой джаз. Они сыграют нам увертюру.

Бал! бал! — Слава Горб с цветами полевыми в петлице модного заграничного пиджака.

Знаменитые в Кривом Роге, в годы прежние, сёстры Нифагины, старшая — очень высокая, носатенькая, в очках, младшая — тоже высокая, стройная, меланхоличная, на ходулях, с китайскими кисточками в ослепительно дерзких причёсках.

Юра Каминский, поэт, смуглый, кудрявый, скуластый, коренастый, крепкий, с копьём в поднятой кверху руке.

Рудик Кан, длиннолицый, тихий, в белом, длинном, шуршащем хитоне.

Миша Павлоцкий, летящий сюда откуда-то сверху, в парике французском, с размётанными волосами, стрекочущий камерой, снимающий фильм свой загадочный. О чём? О том да о сём.

Бал! бал! — вот он, Витя Сидоренко с огромным, больше него, наконец обрётённым членским билетом союза писателей, это его костюм, он — внутри, голова — наружу.

Бродский Арнольд с барабаном, бравурный, подтянутый, дерзкий, и Алина, его жена, с мексиканской маской, босая.

Ах! — Виталька Гладкий, дружище, он сегодня — Феб златокудрий, Лёша Давыдов — фавн, Гена Кублов — серьёзный римский завоеватель, — закрученные подолами женских юбок широких и возгласами.

И степенный Толик Шумейко с сакс-тенором, где-то поодаль.

Дар Богов, печаль моя. Гармонисты — ничего! —

И туника на Славе Горбе, поверх пиджака, серебряна.

И дерев череда — неподвижна...

Есть мелодия — вспомни — «Маленький цветок». Да все её помнят!

Бокал хрустальный с вином на самом краю стола.

Тавриды, желанной, зовущей к себе, благодать милее сегодня стала, когда смотрел я вдаль исподлобья.

Кларнет слегка приглушён. Как свет ночника. Но — слышен. И музыка — издалека, из света, — явлена здесь.

На низком, узорном столике — татарское, с завитушками, с восточными арабесками, не стёршееся клеймо.

Мы сидели смущённо, и не было ни цветов, ни хотя бы условного, так, незнамо зачем, оживления.

Потом, когда вышли на улицу, в небе над нами летели лохматые, мокрые кроны каштанов, платанов, клёнов.

Я посажу чинару на склоне холма, а она рядом посадит вяз.



Но кто и когда посадит кипарис, чтобы разом, вдруг, приглушить ненадолго вечное, стойкое, не умирающее?

(...Мы встретились наконец-то с нею в самом начале апреля, после звонка моего и телефонного, радостного для обоих нас разговора. С нею встретились мы — словно не было долгих месяцев нашей разлуки. С нею встретились мы, будто вправду были вместе мы только вчера.

Была у меня неразрезанная сигарета тройная, длинная, изделие фабрики «Ява», подаренная недавно мне одним знакомым художником.

Мы шли вдвоём под дождём по залитой влагой с небес, безлюдной совсем Пироговке, а потом укрылись в стоявшем у обочины одиноко с открытыми настежь дверьми, тихом, пустом автобусе и курили эту длиннущую, пригодившуюся сигарету.

Потом — целовались. Потом... Зачем говорить, даже вкратце, о том, что было — потом?

Дождь шумел за оконными стёклами, барабанил громко по крыше, и длинный, намного длиннее необычной моей сигареты, ряд мокрых, пустых автобусов молчал и устало горбился. Их всегда оставляют здесь, по привычке, вдоль тротуара, за неимением, видимо, другого какого-то места, для их, после смены, работы на улицах городских, пусть и временного, но, пожалуй, как и людям, необходимого, после стольких трудов-то, отдыха, для нужной для них стоянки.

На ней была шубка, лёгкая, пушистая, и она рассказывала и показывала мне, как выскочила из дома в одном лишь тонком халатике, накинув поверх него свою любимую шубку, вся тёплая, светлая, словно в ней собран весь ясный свет, вся — сияние, волшебство, пахнущая какими-то ароматнейшими духами, белотелая, с тёплыми, крутыми коленями, вся — стремление навстречу, нежная, добрая, с миндалевидными, карими, огненными глазами.

Она была изумительно нежна и на редкость внимательна, вся — желание доброты, вся — любовь и радость, ко мне.

Мы расстались, договорившись о скорой, да, очень скорой, для обоих желанной, встрече.

Через несколько дней меня посадили в тюрьму — и всё было переиначено расчётливостью судьбы, хорошо, наверное, знающей, как ей быть, что делать со мной.

Кроме повиновения судьбе, от меня ничего не требовалось. И я смирился. А что оставалось делать мне? Думаю, всё-таки был я по-своему прав.

И апрель погасил свечу, которая предназначалась для того, чтоб гореть в ночи, чтоб огонь её был для нас обоих почти талисманом, и сделал ножом событий глубокий, резкий надрез по коре серебристого тополя.

Она всё ждала, турчанка, ждала меня, долго ждала, с теплом своим, с нежностью, с тайной, с грудным чарующим голосом, женщина, пристально, призрачно глядящая сквозь пространство и время, сквозь полумесяцы, сквозь созвездия в небесах и слоёную, тихую воду водоёмов, сквозь шорох шагов и распахнутых веером лет, может быть — именно та, единственная, навсегда, нужная мне позарез, самая необходимая, это чувствующая, всё это понимающая, как никто, как уже никто никогда не поймёт и ныне, и впрямь. Как никто. Никогда. Это правда.

Потом уж — по обе стороны были автомобили милицейские, многочисленные, по четыре стороны — стены.

И ласка её, с обещанием продолженья тепла и света, согревала меня и поддерживала в заточении, да и позже, а утешений каких-нибудь не ждал я ни от кого больше, да их и впрямь, если вспомнить, если сказать напрямую, как на духу, никогда уже больше не было...)

Пишу я обрывки какие-то, куски, — наброски? — фрагменты чего-то большого, целостного, — доверяясь лишь интуиции, по чутью, как всегда, по наитию, — или Бог его знает, чему. Скорее всего — душе. И — сердцу, само собою. И движению речи. Её нынче — не остановить...

Ты уж прости, адресат мой. Или — возможный читатель.

Да, но зачем просить мне у кого-то прощения? За что? За то, что течение времени ощущаю намного сильнее других? Или за то, что в пространстве расплснуты эти строки, словно знаки тайные? То-то ветер свищет над всей планетой, над страной нашей огромной, над моей судьбою бездомной, столько листьев срывая с деревьев, столько форточек открывая, столько разных дверей распахнув и калиток, летит стремительно, то-то в мире всё относительно, то-то я понимаю, вздохнув, правоту свою! Да,



понимаю. Всё, что есть на земле, — принимаю. В дар? Зачем же! Ведь это — явь. Вот её-то видеть и надо. В ней — возможный выход из ада. Вот её-то, друг мой, и славь.

Здравствуй, здравствуй, мой адресат, собеседник мой. Здравствуй, Слава!

Когда же, после таких вот, нахлынувших чередой, небывалых, даже неистовых, да и только, историй, драм, происшествий различных нынешних, мы с тобой, наконец, увидимся?

Этот вопрос, деловой, пусть и наивен он, вроде бы, задаю я тебе в связи с последними, немаловажными, для меня и для прочих, событиями.

Живу я сейчас, представь себе, в глухой деревне Игнатово, еду в Москву со станции с названием угро-финским, по названию речки, — Икша, добираюсь на электричке до столицы поболее часа.

Леса здесь, густые, весенние, пробуждающиеся неспешно от зимнего сна, стоят, куда ни взгляни, повсюду, — и корабли среди них, вернее, суда речные — плывут и плывут по каналу.

На столе у меня стоит игрушечная каравелла, вот ещё одна, и ещё, острова, и лодки с гребцами. Всё это — раскладная игра. Обычный картон.

Стены избы мы, живущие в этом укреме, обклеили репродукциями из журналов: «Лайфа», «Экрана», «Фильма», «Америки», «Фото» и прочих. Пришлю тебе кое-что, сорву со стены, ничего.

Курю сигареты «Прима», печь дровами сырыми топлю.

— Поднимается памяти ветер и колышет он душу мою... — это вспомнился мне перевод Багрицкого, из Сосюры.

Я совершил в апреле, наверное, непоправимую, во всяком случае — тягостную для меня доселе, ошибку.

Когда нас, вдвоём с Михаликом Соколовым, вначале редко, а потом всё чаще и чаще, надзиратели наши, менты, весьма хамовитые, стали отпускать на работы различные из пододобья тюрьмы, из камеры, где мы, среди прочих сокамерников, отбывали свои, полученные ни за что ни про что, пятнадцать полновесных длительных суток, мерзавец и гнида Батшев, о котором и говорить-то мне противно сейчас, провокатор, скорее всего, и стукач, я уверен в этом, на сто и даже на двести процентов, от зуда в зад, возможно, или же по заданию своих лубяньских хозяев, снова организовал, с таким странноватым, небывало широким размахом, назвав несусветное множество темноватого, в общем, народу, этих бойких столичных, пронирыливых пареньков, которых и хлебом кормить никогда не надо, только дай им, вынь да положь, какое-нибудь новёхонькое, с пылу, с жару, слишком заманчивое, чтоб на нём не присутствовать им, из ряда вон выходящее, скандальное, шумное зрелище, очередную, с помпой, с политическим, ясно, уклоном, а каким же ещё, разумеется, если только политикой он переполнен был до предела, до краёв, как ведро водой, а как литератор он был совершенно бездарен, ещё одну демонстрацию.

Был в столице всеобщий разгон. Москва кишела ментами, наблюдателями, соглядателями, кагебешными шустрými деятелями, донельзя сообразительными, с их мгновенной, профессиональной, звериной какой-то реакцией на всё, что назвать можно «жареным», на то, что входит всегда в круг их железнофеликсовских, ищечных интересов.

Я о ней, демонстрации этой, и не знал — мне уже потом обо всём, что происходило, знакомые вкратце рассказывали.

Тем не менее, как ни крути, моё, действительно шаткое, положение — было аховым. Ожидать можно было мне, ежедневно, — чего угодно. В том числе и весьма серьёзных, нежелательных неприятностей.

Много пил я в те дни. Был вынужден, через силу, порой, это делать. Выпьешь — вроде бы и полегче, ненадолго хотя бы, становится. И увереннее себя почему-то, выпивши, чувствуешь. Хорошо понимал я тогда, что броня выпивонная — мнимая, такую запросто пробьют любые, особенно — ядовитые, острые стрелы, не говоря уж о всяческих острейших ножах и мечах. И всё же выпивка эта — помогала. Что было, то было.

Димка Борисов, сразу же разыскав меня, весь взъерошенный, взволнованный, растревоженный, сверкая своими очками, из-под которых смотрели на меня округлённые, словно две крупные буквы «о», его тёмно-карие, жаркие, выразительные глаза, приводя, с его точки зрения, резонные, сильные доводы, напугал меня вероятными и, возможно, скорыми обысками.



Всем известный Куб, он же Юра Кублановский, охотно, быстро притащил мне туда, где я с ним условился тайно встретиться, из общаги университетской, где я жил тогда, где находились все мои бумаги и вещи (в это время там был ремонт), старенький саквояж, битком, так, что еле-еле, со скрипом, с трудом закрывался, набитый моими рукописями.

Я наскоро, весь на нервах, просмотрел все эти бумаги. Отобрал и спрятал, в надёжном, так мне казалось, месте, некоторые, особенно важные, ценные письма.

Оставались ещё — дорогие и душе, и сердцу, исписанные мною густо, листки — стихи и поэмы, и композиции, начиная с осени славной позапрошлого года, и те, столь любимые многими, крымские, прошлогодние, да и прочие, вдосталь было различных текстов. С ними было мне временами, признаюсь, так тепло и светло. И сейчас я вижу их строки. Прелесть их была для меня не столько в уже завершённых рукописях беловых, сколько в черновиках.

У Михалика, в тихой квартире на набережной Шевченко, я наскоро полистал рукописи свои — и, сам не пойму, зачем, выбросил, с лязгом, с грохотом железным, в мусоропровод.

Это был какой-то неожиданный, для меня совершенно дикий, не иначе как нервный, приступ.

Я листал их, свои стихи, а вслед за ними и прозу, и всевозможные записи, дневниковые, для себя, очень личные, так, для памяти, и наброски текстов различных, и что-то ещё, и ещё, — и, всё более с каждой секундой сердясь на себя самого, методично, упорно рвал на кусочки мельчайшие, комкал, один за другим, всё быстрее, всё нервичней, буквально стонущие от неслыханного потрясения, такие живые листки, и рвал их, всё резче, всё мельче, потом рывком открывал крышку мусоропровода — и бросал туда, в приоткрывшуюся вертикальную пустоту, стихи свои, все, подряд, без разбору, бросал и бросал...

Потом мы, вдвоём с Михаликом, перебрались к Володе Брагинскому, прихватив по дороге бутылку водки украинской (а были мы оба, признаюсь, уже хороши!) — и там я, поскольку что-то оставалось ещё в саквояже из бумаг моих, эх, мол, чего там, всё равно, пропадать, так с музыкой, надоела мне вся эта нынешняя нервотрёпка, всё надоело, опротивело всё, обрыдло, словно в некоем трансe, прямо не листая и не читая ничего, все остатки рукописей вышвырнул, с глаз долой, разом, в мусоропровод.

Саквояж мой старенький стал совершенно пустым, а раньше он был как подушка с рукописями, и в частых моих путешествиях тогдашних, в дороге где-нибудь, подложив его, или на полке вагонной, или в автобусе полупустом, под голову, было мне, надо заметить, очень удобно спать.

Так я остался в апреле — без прежних своих стихов.

Может быть, и забыл я почти всё из этого, щедрого на певучую речь, добра.

Может быть, так вот и надо было мне поступить.

А может быть, память моя всё равно, вопреки моему состоянию слишком уж странному, лихорадочному, тогдашнему, сумела всё сохранить — и, когда настанет для этого достаточно светлое время, в нужный день, в нужный час, в нужный миг, все стихи эти, мной уничтоженные, даст Бог, я сызнова вспомню.

Получилось, что вовсе не разум управлял моими тогдашними, не вполне адекватными действиями, а какой-то смутный инстинкт. Какой? Да к чему гадать! Неужели — спасения? Так ли? С принесённой чему-то ужасному, небывалой, огромной жертвой? Не хочу говорить об этом. Тяжело. Но жертва — была.

Несмотря на такое вот, рьяное, очевидное, собственноручное, пусть и жертвенное, да всё же вопиющее просто варварство, поступил я тогда, измученный надеждами и невзгодами, всё-таки, думаю, правильно.

И вовсе не потому, что самолично, никто ведь не просил меня сделать это, уничтожил великое множество тогдашних своих писаний. А потому, что чутьё говорило мне: этим я, на какое-то время, пускай, обезопасил себя.

Ведь были, чего там скрывать, среди уничтоженных рукописей и вещи в прозе, и разные дневниковые, для себя, достаточно резкие записи, связанные и со временем СМОГа, и с тем, что в ту пору видел я и понимал, да и немало прочего, что вполне могло, это уж точно, подвести меня под монастырь и даже, кто его знает, может быть, и погубить, и такое могло случиться, да и всё, что угодно, — там было.

Ни о чём не стану, сознательно, сегодня вздыхать и грустить.

Поступки, даже такие вот, как мой, продиктованы чем-то — или кем-то — это вернее — полагаю — конечно же, свыше.

Пусть мои погибшие тексты когда-нибудь всё-таки вспомнятся!..



Первое мая встречали мы у русалки зеленоглазой, поэтессы Зины Новлянской, на Самокатной улице.

Зина всех пригласила к себе. Всех друзей своих. Повод — был. И возможность встречи — была.

Родители Зинины — так получилось — куда-то уехали. И квартира была — свободной.

Старый дом на спокойной, тихой и безлюдной московской улице. И квартира в нём — тоже старая, обжитая, уютная, скромная. Со скрипучей лесенкой, вверх уходящей куда-то. С окнами, что казались подслеповатыми. С различными явственно сгустками, по углам, векового тепла. С абажурами. С длинными, прочными и довольно широкими шторами. С теми явными, всюду, приметами не спешащего уходить никуда разумного быта, пусть неброского, но приятного всем давно уже очень московского, быта русских семей, которого в какбывременных завихрениях уходящего вдаль столетия, накануне столетия нового, в непотребном хаосе смуты современной — нигде не найдёшь.

Мы, конечно же, выпивали, и немало. Дима Борисов, заводной, очкастый, вихрастый, весь — огонь, и порыв, и полёт. И Володя Брагинский, спокойный, длиннолицый, с женой своей, Седой, симпатичной, глазастой. Весёлый, остроумный Аркаша Пахомов. Угловатый, носатый Юра Кублановский. И Коля Мишин, человек-театр, фантазёр. И задумчивый, отрешённый от застольного гула, Михалик Соколов. И хозяйка квартиры, поэтесса Зина Новлянская, позаботившаяся о том, чтобы всем было здесь хорошо нынче, в праздник майский. И я.

Разумеется, мы говорили. Обо всём, что тогда интересным нам казалось и даже важным. О таком, что могли сказать мы в ту пору только друзьям.

А потом, уже ночью, когда было поздно, и все устали, спать легли, кто где, — на диванах, на кроватях и на полу.

Но мне, почему — не знаю, в отличие от моих друзей, которые спали преспокойно, счастливые люди, в эту ночь — совсем не спалось.

Под утро проснувшийся вдруг и вскочивший немедленно на ноги фантастический Коля Мишин, потянувшись с хрустом, решил поскорее выйти на улицу, прогуляться на свежем воздухе, подышать. Я отправился с ним.

Непододёку от дома Зинино стояли, выстроившись в длиннющую очередь, неподвижные, словно дремлющие, трамваи. Красные, цвета флагов первомайских, советских, пустые, без водителей, без кондукторов, вообще — без людей. Они ночевали, похоже, здесь. Так и стояли на рельсах, тянувшихся в пространство, один за другим, багровой, длинной чередой.

Коля Мишин, отчаянный парень, натуральный смельчак, подошёл к трамваю, самому первому, крайнему, двери которого оказались открытыми настежь. Сел на место водителя. Что-то, по наитию, видно, нажал посильней — и трамвай поехал! Поехал — в рассветную свежесть, неторопливо, вперёд. Поехал — с дверьми открытыми.

— Залезай! — призывно и весело, улыбаясь, крикнул мне Мишин.

Я вскочил на подножку. Немного постоял на ней. А потом поднялся по ступенькам в чистый, тихий, длинный, пустой вагон.

Коля Мишин — рулил. Трамвай, повинясь Мишину, — ехал. По рельсам двигался. Ехал всё дальше — вперёд и вперёд.

Впереди уже замаячил поворот, выводящий с Зининой, Самокатной, безлюдной улицы на проезжую шумную трассу.

Ну откуда был этот трамвай? Не из «Огненного столпа» ли Гумилёва? Очень уж странный. Ирреальный. Явно — мистический.

Совершенно пустой ведь — и — надо же! — управляет им никакого понятия не имеющий об этом, похмельный Мишин!

И, что поразительно, братцы, трамвай этот — едет. Куда?

— Останови его, Коля! — крикнул я громко Мишину.

Мне было уже беспокойно. Мало ли что может быть?

Коля Мишин мне улыбался преспокойно — и ехал дальше.

— Останови трамвай!

Коля скалился мне — и ехал.

— Останови! Пожалуйста!

Коля что-то опять там нажал. И трамвай — мгновенно, послушно, наконец-то остановился.

Мы оба, я — с облегчением, Коля Мишин — спокойно и просто, выбрались из трамвая, из мистики этой, наружу.



На прощание Коля похлопал трамвай по красному боку, точно так же, люди похлопывают в деревянях лошадей и коров.

И отправились мы, оставив злополучный трамвай позади, вдоль по улице Самокатной, вдоль дремотных домов, обратно.

Подошли мы к подъезду Зининому.

Над ним одиноко висел, в честь майских праздников, красный, скукоженный, сморщенный флаг.

Мишин резво подпрыгнул, за что-то успел уцепиться, как-то сумел подтянуться, изловчился — и снял этот флаг.

Спрыгнул на тротуар, уже с флагом в правой руке, энергичный, очень довольный.

Поднял флаг — высоко над своею авантюрной головой — и, распевая что-то знакомое, первомайское, советское, бодрое, свежее, начал по тротуару — с флагом — маршировать.

Вся округа, вся улица тихая Самокатная, вся столица, безмятежно ещё спала.

Особого шума Коля вроде не производил, но всё-таки — не хотелось бы вообще никакого шума.

Коля же — в роль вошёл, и удержать его — было, увы, непросто.

Он шёл — с победною песней первомайской — вдоль спящих домов.

Он размахивал над головой красным флагом, сорванным им, словно сорванным красным цветом.

И я почему-то — шёл — куда и зачем? — за ним.

Этакая получилась у нас тогда демонстрация.

Мишин помаршировал, намахался флагом, — и вскоре всё это действие абсурдное, слава Богу, ему надоело.

— Пойдём отдыхать, Володя! — изрёк он с таким серьёзным видом, как будто его наконец осенило — и весь дальнейший путь для него был ясен и предсказуем, как и все грядущие действия.

— Пойдём! — уже утомившись от героических мишинских подвигов, согласился охотно я.

Мы зашли в знакомый подъезд, над которым, вместо недавно снятого красного флага, уныло торчала только железная, наподобие втулки, в которую флаг вставлялся раньше, штуковина.

Мы вернулись в квартиру Зинину, благо дверь в неё предусмотрительный Коля Мишин, парень бывалый, оставил слегка приоткрытой.

Там было тихо. Народ спал. Отсутствия нашего, недолгого, но с приключениями, с мистикой, с риском, с опасностью явной — никто не заметил.

Мишин принёс, разумеется, в квартиру с собой — красный флаг.

Мы пристроились где-то в углу, на полу, подстелив под себя наши куртки. Дело привычное. Полагалось нам — отдыхать.

Мишин эффектным, броским, театральным, торжественным жестом взмахнул над нами, лежащими на полу, на куртках своих, в надежде ну хоть немного, хоть чуточку подремать, реквизированным им недавно и с собой в квартиру прихваченным, неприкайным, горемычным, кротким, сморщенным красным флагом. Взмахнул — и укрыл им, как будто застывшей крови куском, а может быть — красной рекой, а может быть — Первомаем, обобщённым, сгущённым им до этого флага, красного, полотняного, нас обоих.

Так и заснули мы с Мишиным — смогисты, друзья, укрытые красным, сорванным флагом.

Разбудили меня — чьи-то гулкие, в тишине квартиры звучащие наподобие, мне казалось, колокольного звона, мешавшие спать и даже дремать, голоса.

Раздавались они — монотонно, а потом вразнобой, а потом непонятным каким-то дуэтом, из неведомой оперетты, диалогом каким-то, бредовым, бестолковым, из пьесы абсурдной, диковатой, нелепой, прямо над моей усталой, тяжёлой, сквозь обрывки сна, головой.

Я с трудом приоткрыл набрякшие майской тяжестью, сонные веки.

И увидел тогда — стоящую надо мной и над Колей Мишиным, ничего ещё, ничегошеньки, ведь спросонок, не соображающую, ошарашенную увиденным, ей открывшимся, Зину Новлянскую, потрясённо, недоумённо глядящую, нет, взирающую, как разбуженная русалка, на нас, укрытых каким-то, неизвестно откуда взявшимся, красным флагом, да, именно красным, непонятно — каким же образом оказавшимся не на улице, где ему полагалось висеть, по случаю майских праздников, а здесь вот, в её квартире.



Рядом с Зиной Новлянской стояла — и тоже, без всяких ненужных и лишних преувеличений, потрясённо, бессмысленно, тупо глядела на непонятное, невиданное, фантастическое, театральное, в праздники, зрелище какая-то незнакомая, чужая, толстая тётка.

Зрелище, надо признать, судя по изумлению, Зинину и тёткиному, действительно было достойным удивления, если не больше.

— Ребята! — чуть слышно вымолвила потрясённая, сонная Зина.

Я откинул часть красного флага, словно край одеяла, потом приподнялся, с немалым трудом, и сел, прямо там, на полу.

Со всех четырёх сторон, а ещё — откуда-то сверху, и даже, кажется, снизу, медленно, пробуждаясь, начали, появляясь в поле зрения, приподниматься — друзей знакомые головы.

Дима Борисов, ищущий очки свои где-то на стуле, взлохмаченный, не понимающий, что же здесь происходит сейчас.

Володя Брагинский и Седа — растерянные супруги.

Аркаша Пахомов, похмельный, в сплошных кусках, богатырь.

Кублановский Юра, нацеливший свой нос — на голос чужой.

Соколов Михалик, воспитанный, и поэтому — внешне спокойный.

Все они раскрывали глаза — и так же, как Зина Новлянская, ошарашенно, долго пялились на нас, на меня и на Мишина, укрытых каким-то бредовым, неведомым красным флагом.

— Зиночка! Дорогая! Роденькая моя! — взмолилась чужая тётка. — Я ничего никому не скажу, ни за что на свете, уж ты-то не сомневайся. Я просто возьму этот флаг — и уйду, потихоньку уйду. Надо повесить его, этот флаг окаянный красный обратно, туда, над подъездом, на место, да поскорее! Ты не бойся, Зиночка, что ты, ничего плохого не будет. Я тебя столько лет уже знаю. Ты меня давно уже знаешь. Без флага мне, понимаешь, ну просто никак нельзя. Понимаешь, вышла я раненько убирать, подметать на улице...

Значит, дворничиха, подумал я, настораживаясь, напрягаясь.

Мишин, укрытый флагом, продолжал безмятежно спать.

— Ну так вот, вышла я на улицу, — продолжала кудахтать дворничиха, — ну, туда-сюда походила и метлой своей помахала. А мне с первого этажа, прямо в открытую форточку, сосед ваш снизу, тот самый, въедливый, неприятный, этак вкрадчиво и говорит: «Флаг у вас похитили. Тот, что над подъездом висел. Я не спал. Всё видел. Какие-то двое. Молодые люди. Наверное, пьяные. Ну а может быть, антисоветчики злостные. Надо бы доложить поскорее мне, куда следует!» И захлопнул форточку, зло, резко, так, что я вся аж вздрогнула. А потом прямо вся затряслась, мелкой дрожью вся затряслась. — Тут дворничиха перевела дух. Но вскоре продолжила: — Господи! — думаю. Как? Что? Почему? Зачем? Подхожу к подъезду бочком, понимаю глаза повыше — ну конечно, нет флага на месте. Нет, и всё тут. Что за напасть? Это ведь натуральный скандал. А то что-нибудь и похуже, и похлеще, сама понимаешь. Кто расхлёбывать всё это будет? Я, старуха? Нет уж, увольте! Больно-то мне нужны в жизни эти страдания! Стою у подъезда. Слезы вытираю. Переживаю. И вдруг меня всю как прошибло. Да это, небось, ребята пошутили, повеселились, те, что были у Зиночки, думаю. Вчера-то вечером шум я в вашей квартире слышала. И ночью долго шумели. И видела, как вчера, днём, вы все вот здесь собирались, чтобы праздник отметить, значит. Дай, думаю, потревожу тебя, дорогая Зиночка, о том да о сём спрошу. Вдруг он, флаг-то красный, у вас? Ну а если он не у вас — тогда-то и думать буду, что же мне делать дальше. И вот я тебе позвонила в дверь. И пришла к тебе. И вот вижу — у вас он, у вас. Вы уж мне отдайте его, я его поскорее, сразу же, в миг один, на место повешу. Пусть висит себе, как висел. Никому ведь он не мешает. И самой мне всегда спокойнее, когда порядок везде. А то вот всякие граждане, очень бдительные, не спят, всё ведь видят, всё примечают. Ещё, бывает ведь всякое, доискиваться начнёт этот бдительный, этот бессонный ваш сосед, куда флаг подевали, да когда, и зачем, и кто взял. Знаем мы его, оглоеда. Хорошо, что нет телефона у него. А то он давно позвонил бы туда, в эти органы. Ну и ладно, и хорошо, что не может он позвонить. Вы уж мне, ребятки хорошие, флаг-то красный сами отдайте. Я за него в ответе.

Она осторожно, тихонько, потянула — за край — полотнище на себя. Тянула, тянула.

Флаг начал сползать с Мишина.

Тут он, бравый герой, и проснулся.

— Тётка! — строго промолвил Коля. — Чего тебе надо? Отстань. Людям спать не мешай!



— Миленький, флаг-то отдай! — проворковала дворничиха.

— Какой ещё флаг? — наконец приподнялся сердитый Мишин.

Все Зинины гости, все мы, вся наша честная компания, уже проснулись — и с общим, возрастающим любопытством наблюдали за этим спектаклем.

— Какой ещё флаг, тётка? — строго спросил её Мишин.

— Да вот этот, миленький, этот! — дворничиха продолжала тянуть к себе флаг. — Вот этот! Этот самый. Вот он, вот здесь.

— Красный? — намного строже спросил её Коля Мишин.

— Красный, миленький, красный флаг.

— Советский, выходит? — в голосе Колином зазвучали нарочито-серьёзные, с неким оттенком торжественным, нотки.

— Советский, советский, миленький. А каким же быть-то ему? Весь, как есть, наш, советский флаг.

— Он тебе нужен? — спросил, глядя на тётку, Мишин.

— Нужен. А как же ещё! Очень нужен. Очень-преочень.

— Лично тебе он нужен?

— Да на кой он ляд мне-то сдался? — отмахнулась левой рукой разгорячённая дворничиха, правой рукой продолжая осторожно, упорно стягивать с меня и с Мишина красный, советский, найденный флаг. — Не мне он нужен, пойми. А домоуправу нашему. Казённый он, понимаешь?

— Понимаю, — промолвил Мишин.

— Вот и ладненько. Ты уж, милоч, приподнимись, подвинься, а флаг-то я и заберу.

— Бери его, тётка, бери! — раздумавшийся спросонок Мишин сделал рукой широкий, великодушный жест. — Бери! Раз уж ты ответственная за него — то, конечно, бери. Иди — и повесь на место.

— Вот уж спасибо! — дворничиха торопливо, наспех, сворачивала порядком измятый флаг. — Вот и ладненько. И хорошо. Сейчас я его, этот флаг, обратно на место повешу, Зиночка, дорогая. И всё, даст Бог, обойдётся. Вы уж сейчас извините, милые, все, кто здесь есть, канительщицу старую, за то, что, так вот, негаданно, я потревожила вас. А что было делать мне? Зато — вот он, флаг. И всем спокойнее будет, если на месте, там, где ему положено, снова будет висеть.

— Всё будет в полном порядке, — сказал понимающе Мишин. — Флаг — на своём месте. Ты — на своём месте. А мы — на своём месте.

Дворничиха подумала и с укором спросила Мишина:

— Ну зачем ты брал этот флаг?

— Замёрз! — ответил ей Мишин. — Укрыться мне было нечем. Кажется, это ясно?

— Ясно! — ответила дворничиха.

— То-то! — промолвил Мишин.

Дворничиха огляделась вокруг и с сочувствием в голосе сказала Зине Новлянской:

— А вы, как я погляжу, небогато совсем живёте. Вон ребятишкам-то, надо же, и укрыться действительно нечем!

Зина, ей подыграв, этак по-бабьи, горестно, закивала длинноволосой русалочьей головой:

— Что уж есть в нашем доме скромном, так уж вышло, тому мы и рады. Ваша правда. Живём, как умеем. Уж как выходит. Что делать! С Божьей помощью. Так и живём.

— У всех нас, Зиночка, если уж откровенно и прямо сказать, самого необходимого даже, ну, в общем, такого, без чего уж точно никак нельзя, да и то в обрез! — поддержала её охотно, ей сочувствуя сразу же, дворничиха.

— Иди уже, тётка, иди! — недовольно напутствовал дворничиху рассердившийся Коля Мишин. — Бог в помощь. Всё обойдётся. И не мешай ты, тётка, людям хорошим спать!

После чего, потянувшись, он отвернулся к стенке и тут же снова заснул.

Дворничиха со свёрнутым в рулон красным флагом, бочком, тишком, торопясь, с извинениями, провожаемая доселе изумлённой происходящим в квартире, русалкой Зиной, пробралась суетливо к двери и исчезла за ней навсегда.

Зина — только руками в стороны развела. И — пожала плечами.

А что можно было ей в ситуации этой сказать?

В ответ она услышала дружный, всеобщий хохот.



А Коля Мишин и ухом не повёл. Спал себе, как бобик, и всё тут. Спокойно спал. Нам же, поскольку все уже, поневоле, пускай, проснулись, в самый раз было подниматься, умываться, пить чай, ну а некоторым, по привычке, по необходимости, так точнее, опохмеляться — да и всей честною компанией расходиться потом по домам восвояси. Что мы и сделали.

А Коля Мишин, чуть позже, отоспавшись немного, тоже присоединился к нам. О предутренних приключениях он и не вспоминал. Такое — да разве такое ещё! — и куда похлеще! — бывало для него в порядке вещей.

Так, в шестьдесят пятом, смогистском, Змеином году, мы, даже с красным флагом, отметили Первое мая.

...Часа полтора назад я вернулся в свою обитель, в общагу университетскую, где жил я, в трёхместной комнате, вместе с Кубом и Айзенштамом Володей, тем, о котором Аркадий Пахомов пел свою задорную песню, упоминая его выразительную фамилию, вернулся с большой неохотой в этот раз, — от Володи Брагинского.

Там, у Володи Брагинского, в квартире большой родительской, просторной, удобной, трёхкомнатной, было целое море водки, литры пива, озёра вина.

Варили картошку, ели колбасу, огурцы, хлеб.

Я был чрезвычайно усталым.

Я выпил поболее всех — и даже сумел разыскать припрятанную Пахомовым восьмисотграммовую, с виду солиднейшую бутылку московского полусладкого. Мы эту бутылку вдвоём с Димкой Борисовым выдули.

Больше, как ни искали, ничего уже не нашли. Решительно всё — было выпито разгулявшейся дружной компанией.

У Зины Новлянской в тот вечер почему-то болело сердце.

Был у меня в кармане валидол — в последнее время я стал принимать его часто — и я, сочувствуя Зине, дал ей одну таблетку.

Она, совершенно по-детски, боялась его принимать. А я говорил ей, что это ощущение мятной прохлады во рту — довольно приятно, а сам валидол — полезен.

Не знаю, сгрызла ли Зина Новлянская мой валидол.

Потом она села рядом со мною и стала вздыхать — мол, вот мы с тобой — сердечники.

Я сказал ей, что выпиваю, понемногу, с тринадцати лет, а с пятнадцати лет — почаще, иногда — почти ежедневно. Хорохорился, разумеется, перед нею. Бравировал — вот, мол, какой я отважный, выносливый, украинский, могучий парень, по крови своей казак лихой, и орёл степной. (На самом-то деле пил я не всегда, лишь от случая к случаю, по праздникам, в основном, а иногда от усталости или же перенервничав, и выпивонным делом вовсе не увлекался).

Зина мне — не поверила. Не поверила — и не надо.

Володя Брагинский — напился. Он пишет хороший роман. Читал мне куски. Интересно. Сегодня — он всё твистовал.

Зачем? Значит, надо было. Разрядка, видимо, нынче нужна для него была.

Серьёзный востоковед, был он отличным прозаиком. Не печатался, разумеется. Об этом и не помышлял. Достаточно было ему почитать свои вещи друзьям — или дать почитать их с листа, чтоб услышать их мнение. Он всегда к тому, что об этих писаниях говорят, прислушивался внимательно. И — продолжал работать.

Седа, жена Володина, маленькая, быстроглазая, смешливая, вроде была мужем своим недовольна. Слегка ворчала. Но всё-таки — не мешала ему танцевать.

Почему-то многие — там, у Володи, — тогда танцевали.

Миша Фадеев, худой, хрупкий, — азартно отплясывал.

Соколов Михалик — и тот попытался удариться в пляс.

Богемская Ксения тоже плясала, высокая, бледная.

Дубовенко Боря и Таня Самойлова — тоже плясали.

Кублановский Юра плясал так, что пыль поднималась над ним.

Петухова Ира плясала, словно в трансе, долго, восторженно.

Аркаша Пахомов, крикнув по-богатырски, плясал.

Дима Борисов, азартный, взвинченный, тоже плясал.

Вот какими все оказались плясунами друзья мои.

Твист был — в моде. Гремела музыка. Мне казалось, со стороны, будто нынче друзья мои вытираются полотенцами — так похожи были движения всех танцующих на обычные растирания! Так забавно вместе выглядели они!



Но потом плясуны — устали. Приложились к рюмкам, к бокалам. Посерьёзтели. И Брагинский нам поставил запись Вертинского.

И единственный в мире голос в тишине тогда — зазвучал:

— Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы и, открыв Ваши злые духи, я вдыхаю их сладостный хмель. И тогда мне так ясно видны эти тонкие чёрные птицы, что летят из флакона — на юг, из флакона “Nuit de Noël”. Скоро будет весна. И Венеции юные скрипки распюют Вашу грусть, растанцуют тоску и печаль, и тогда станут легче грехи и светлей голубые ошибки. Не жалейте весной поцелуев, когда зацветает миндаль. Обо мне не грустите, мой друг. Я озябшая хмурая птица. Мой хозяин — жестокий шарманщик — меня заставляет плясать. Вынимая билетика счастья, я смотрю в несчастливые лица, и под вечные стоны шарманки мне мучительно хочется спать. Скоро будет весна. Солнце высушит мерзкую слякоть, и в полях расцветут первоцветы, фиалки и сны... Только нам до весны не допеть, только нам до весны не доплакать: мы с шарманкой измокли, устали и уже безнадежно больны. Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы. Не сердитесь за грустный конец и за слов моих горестный хмель. Это всё Ваши злые духи. Это чёрные мысли как птицы, что летят из флакона — на юг, из флакона “Nuit de Noël”.

Как не вспомнить такого поэта!

И ещё мне запомнилось — это:

— Каждый день под окошком он заводит шарманку. Монотонно и сонно он поёт об одном. Плачет старое небо, мочит дождь обезьянку, пожилую актрису с утомлённым лицом. Ты усталый паяц, ты смешной балаганщик с обнажённой душой, ты не знаешь стыда! Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик, мои песни мне надо забыть навсегда, навсегда! мчится бешеный шар и летит в бесконечность, и смешные букашки облепили его, бьются, выются, жужжат и с расчётом на вечность исчезают как дым, не узнав ничего. А высоко вверху Время, старый обманщик, как пылинки с цветов, с них сдувает года... Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик, этой песни нам лучше не знать никогда, никогда! Мы — осенние листья, нас бурей сорвало. Нас всё гонят гонят ветров табуны. Кто же нас успокоит, бесконечно усталых, кто укажет нам путь в это царство Весны? Будет это пророк или просто обманщик, и в какой только рай нас погонят тогда?.. Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик, эту песню мы не сможем забыть никогда, никогда!

На магнитофоне крутились бобины. Пели цыгане. Песни цыганские лихо пел Теодор Бикель.

И цыгане отпели своё. Да и Бикель угомонился.

И в квартире тогда зазвучал — тихо, просто, потом всё громче, то срываясь на речитатив, то почти на высоких тонах, сквозь невольные наши вздохи, голос Галича, голос эпохи:

— Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. А я цыплёнка ем табака, я коньячку принял полкило. Облака плывут в Абакан, не спеша плывут облака. Им тепло небось, облакам, а я продрог насквозь на века! Я подковой вмёрз в санный след, в лёд, что я кайлом ковырял, ведь недаром я двадцать лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст! До сих пор в ушах шмона гам!.. Эй, подайте ж мне ананас и коньячку ещё двести грамм! Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму... И не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Я и сам живу — первый сорт, двадцать лет как день разменяв! Я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня! Облака плывут на восход — им ни пенсии, ни хлопот... А мне четвёртого — перевод и двадцать третьего — перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках! И нашей памятью в те края облака плывут, облака.

Был я грустен. А почему? Сам ответа на это не знал я.

Поздно ночью лёг и уснул — на пустой, широкой тахте, с игрушечным плюшевым мишкой в обнимку, ну прямо как в детстве.

Засыпая, слышал: друзья подходили посмотреть на меня. Всем это очень понравилось.

Утром сегодня проснулся: всё отчётливо помню. Пьяным не был, просто — усталость донимала меня вчера.

Брагинский спал. Но жена его, Седа, уже проснулась.

Соколов Михалик, товарищ мой по несчастьям, родственник Пушкина, безмятежно, спокойно спал.

Остальные друзья — ушли, съев и выпив решительно всё.

Я собрался — и тоже ушёл.



По дороге домой, вернее — в общежитие, долго шагая по Кутузовскому проспекту, выпил пива, съел булку, мороженое.

И поехал я восвояси в общежитие — на метро.

В общаге принял я душ. Вернулся в тесную комнату, где вынужден был обитать.

Кублановский спал. Айзенштат тоже спал. За окном распахнутым раздавались крики — студенты в волейбол увлечённо играли, ну а кое-кто — в банминтон. Доносились из окон музыка. Шла трансляция по телевизору демонстрации первомайской. Как-никак, был всё-таки праздник. Из окон женского корпуса — выглядывали симпатичные, принаряженные студентки. Из окон мужского корпуса — выглядывали скопления парней, в основном азиатов. Что ж, весна на дворе. Месяц май.

Двенадцатого числа — будет вечер памяти Хлебникова, а пятнадцатого числа — вечер памяти Мандельштама.

Помнят. Или же так: поминают.

Если удастся — пойду на оба вечера. Впрочем, я и так постоянно читаю и Хлебникова, особенно поэмы его удивительные, и, конечно же, Мандельштама, стихи тридцатых годов, самиздатовские, но хорошие, перепечатки. Читаю — и понимаю: без Хлебникова, без его прямого воздействия на Мандельштама, не было бы всех стихов мандельштамовских, поздних, абсолютно свободных, с действительно ведицким ощущением природы, всего мироздания, с пронзительно точным, вернейшим пониманием и судьбы своей, и яви, и жизни в ней, и победы своей над злом, и добра торжества, и бессмертия.

Могилу Цветаевой вроде бы в Елабуге отыскиали. Я читал отчёт экспедиции.

Оказалась она в Елабуге, как и многие, в эвакуации, в сорок первом году, вместе с сыном. Сын был взрослым вполне, капризным и достаточно избалованным. Жила, вместе с сыном, Цветаева в избе, у чужих людей. Стихов совсем не писала. Никто из жителей местных и не знал, что она — поэт. Была в очках, постаревшая, невероятно усталая. Знакомых не было вовсе, кроме какой-то попутчицы. Однажды — ездила в Чистополь, городок соседний, за помощью, к поэту, которого знала и надеялась на понимание его, к Николаю Асееву. Приехала. В дом вошла. Поэт Асеев, с женой Оксаной, как раз обедали. Асеев сказал домработнице: «А Марине вы дайте кашки, вон там, в сторонке!» Не знаю, так ли было или не так. Только в помощи он — отказал. Пришлось возвращаться в Елабугу. Цветаева толком делать ничего не умела. Хозяйка видела, как она не умеет даже стирать. Была Цветаева странно спокойной. Часто задумывалась. Через несколько дней — повесилась.

(Здесь — через сорок семь лет — кое-что сейчас добавляю.

У Сапгира был сувенир — гвоздь, на котором повесилась в сорок первом году Цветаева.

Генрих привёз этот гвоздь из Елабуги, где побывал в шестидесятых годах, во второй половине их, в творческой командировке.

Гвоздь — кованый. Крепкий. Большой. Сапгир его часто, охотно своим гостям демонстрировал. Рассказывал, как, находясь в избе, той самой, в которой жила когда-то Цветаева, вдруг подумал: на чём же, собственно, она повесилась? Начал избу осматривать. Видит — вот этот кованый гвоздь. И Генрих сообразил, что как раз на этом гвозде Цветаева и повесилась. Больше — просто-напросто не на чем.

Держа в руке, на весу, крепкий, старый, но не проржавевший, внушительного размера, этак злобно всем демонстрирующий свои четыре, очерченные твёрдо, узкие, длинные грани и остриё, похожее на остриё штыка, добротной ковальской работы, волею судеб ставший роковым, ужасающих всех на него глядящих людей, гвоздь, — Генрих обычно негромко и задумчиво приговаривал:

— Самый, что ни на есть, скажу я вам, подходящий!..)

Вчера, уже поздно вечером, позвонил я Алёне Басиловой. Она со мной говорила приветливо и дружелюбно, слегка хрипловатым голосом. Губанов — снова с Алёной. Мир, дружба. Ну, и любовь. С неминуемыми страстями. У них вчера тоже было дружеское застолье. Пришло немало народу. Губанов неведомо где порядком успел напиться — и явился к Алёне пьяным до последней степени, вдрызг. У него был сердечный приступ. Чем-то его отпаивали. Он вырубился — и спал. Договорились с Алёной сегодня мы созвониться.

У меня самого что-то сердце постоянно ноет, болит.



К морю надо, в Крым, — там пройдёт.

Скоро лето. Махнём в Тавриду!

Вот Рембо — на что он решился? Надоело писать стихи — или были, видать, причины для того, чтобы бросить писать, — он, скорее всего, испугался самого себя, потому что далеко сумел заглянуть, а такое чревато последствиями, — он и стал человеком рискованным, где-то странствовал, всё мечтал заработать себе миллион, от жары задыхаясь в Африке. Ну и что же? Умер он рано. А стихи — стали жить. И живут. Потому что они — навсегда.

Теперь в столице все пишущие — всё сборники составляют. Альманахи, журналы различные. Словом, расцвет самиздата.

Мы дали почин — своим сборником «Чу!» — тем самым, который я собственноручно, всего в четырёх экземплярах, в общаге университетской, в комнате, где обитал я в то время, перепечатал, по ходу его и составил.

Навелили меня однажды Губанов с Батшевым. Стали рассуждать о том, что пора бы укрепить смогистскую деятельность весомым печатным словом.

Говорю им:

— Так в чём же дело? Укрепим её — прямо сейчас.

Была у меня в общаге пишущая машинка. Мне дал её Коля Мишин, на время, чтобы стихи свои тогдашние перепечатал я. Была и пачка бумаги, дешёвой, но белой и прочной.

Сел я тогда за машинку — и стал печатать на ней.

Напечатал — свои стихи.

Губанов с Батшевым тут же достали свои стихи из сумок. И я их вскоре тоже перепечатал.

Вспомнил потом поэму Кублановского. Перепечатал.

Разрисовал обложку, акварелью, — вернее, сделал несколько ярких мазков.

А Губанов — придумал название, лаконичное, звонкое: «Чу!»

И отправились мы — с этим сборником в четырёх экземплярах — прямо в народ, который нас принял с ликованием необычайным.

И народ — засел за машинки. Что ж, пусть. Если очень хочется, пусть трудятся, в поте лица. Только все в эти сборники просят — именно наши стихи.

Куда мне идти сегодня? Что делать? Не представляю.

О, как же мне одиноко, как горько и одиноко.

Стал читать Гомера — и бросил, потому что лучше читать его там, у моря, на берегу, чтобы слушать прибой, размер, ритм гекзаметра, плеск волны, набегающей, уходящей, слушать моря дыхание, видеть пред собою — морскую даль.

Я попробовал почитать что-нибудь другое — и снова не читается что-то мне.

Дни идут, иногда — нарочно оборачиваются изнанкой неприглядной, а иногда — повисают очередной гирькой, тянущей вниз, но весы-то остаются весами. И всё тут.

О, провинция, мать ли? Да.

О, столица, мачеха. Точно.

Что же ждёт впереди меня?

Юг. И — море. И — ясные звёзды.

Письма твои удивляют меня — и я постоянно, с удовольствием, их перечитываю и очень их берегу. Это прекрасная проза. В чём-то сродни ты Олеше.

Делай каждый день, обязательно, записи, в несколько строк, — простые свои наблюдения над всем, что творится вокруг, записи состояний души своей, чистой, мятущейся, размышления о поэзии, о природе, метафоры, образы, краткие планы сюжетов будущих твоих книг. Всё, что придёт тебе в голову, — записывай. Это потом выстроится — само — в книгу. Будет держаться на внутренних крепких связях. Пиши — совершенно свободно, ещё более раскрепощённо, чем прежде. Нити твоих ассоциаций сошьют это — в единое целое.

Всё это — литература, таким бросаться нельзя по ветру, как ворохами листьев осенних сухих.

Нередко одна строка имеет больше значения, чем пятисотстраничный, вымученный роман.

Сила литературы — в сцеплениях интуитивных, в связи слогов, слов.

Должна быть одна строка, потом, вслед за нею, фраза, потом уже — всё остальное.



Так вот, веером неким, раскрывающимся постепенно, представляю себе я сейчас матушку-литературу.

Мы — дети юга. И наши ощущения — от ощущений москвичей, например, или питерцев, отличаются, да ещё как! Им порою трудно понять нас.

Я знаю многих людей, для которых Крым — это просто раскрашенная картинка, и лучшее впечатление для них — побродить по дряхлому двору, где в бочке — вино, а за стенами — чьи-то окна.

Мы-то бродили не только среди бочек и окон, — и что им, людям приезжим, несведущим, всё это объяснять!

Олеша первый, пожалуй, — первый ли? — догадался о таком вот, свободном образе писания, без шаблонной беллетристики, без всего, что мешает движению речи. Книга «Ни дня без строчки» — уникальная. Это урок — многим. Это шедевр.

Пиши мне, пиши обязательно.

«Будешь важен, будешь ряжен, с вербной веткой в сухой руке», — о Губанове лучше не скажешь.

Когда о тебе я думаю, вижу — гору, и чувствую — силу. Слышу я, как течёт горячая, древняя кровь. Мне с тобою рядом — не страшно, и только с тобой я спокоен, так уж вышло, да нет, спокоен — не совсем ещё точное слово. Скорее, чувствую я душевное равновесие в себе и всегда разумное, верное понимание, исходящее от тебя.

Мы оба — в давнем родстве — с небом, землёй, морем.

Когда я читал твои письма — и повеяло давней осенью — помнишь костры на Гданцевке, за рекой, холодной и сонной, вороха и груды осыпавшейся с окрестных деревьев листвы, собранные, наподобие курганов или холмов, полыхнувшие жарким пламенем, а потом неспешно, торжественно, как-то жертвенно даже горящие, серебристо-сизый, колеблющийся, поднимающийся над землёю, стелющийся вдоль улиц, уходящий в туманное небо, высоко, ещё выше, дым, — ты идёшь, сквозь деревья, к реке, над которой — мосты, целых три, переходишь на южный берег по мосту подвесному, — и вот уже ты в заречном, тихом раю, да, в раю, ни больше ни меньше, потому что в раю этом вырос я, и здесь — моя родина речи, — всё мгновенно, как по волшебству, словно в сказке с тяжёлым началом и всегда хорошим концом, словно в древней легенде, где тайна до поры до времени дремлет, словно в песне, словно в предании, возвратилось и ожило.

Светло в этом, сердцу милом и душе, осеннем краю — и дымчато в этом дивном краю, вернее — в раю.

Удлинные контуры стен, заборов, деревьев, фигур. Теней мельтешенье — скользящее, сквозящее — вдоль строений, вдоль улиц и переулков, куда-то на юг, наверное — под ветром северным, веющим вечерами, всё чаще и чаще.

Снова движется всё, плывёт в океане воздушном, качается, растворяется в темноте, вырывается вновь на свет, устремляется в глубь степей, пахнет горькой, сухой полынью, свежей влагой, листвой, слетевшей с исполинских грецких орехов, навеваает мысли о прошлом, проясняется в настоящем, незаметно уходит в грядущее, чтобы ждать нас, теперешних, там.

И никогда никому не удастся, сколько ни будут пытаться, наивные люди, заключить этот мир, как холст, в условную даже рамку, — он вырвется из неё сразу же, незамедлительно, разрастётся, раздвинется тут же, распахнётся весь — и для зрения, и для слуха, и для того, чтоб надолго остаться в памяти, чтоб остаться в ней — навсегда.

Где мои скрипки, легчайшие, как пушинки или снежинки, на которых сыграть я попробую изумительные мелодии?

Где мои окна, которые исчезают, не приближаясь к тем, кто смотрит на них с подозрением, подружившись невольно со злом?

Где вода моих древних рек, что текут с достоинством редкостным вдоль холмов и низин, вдоль скал, нависающих круто над ними?

Где священность моих берегов, средоточий жилья людского, сокровенного понимания жизни, света, уюта, тепла?

Где же наши ночные свечи, освещающие и грустные наши лица, и знаки зыбкие драгоценного бытия?

Пусть звучит блаженная музыка — сквозь вселенскую тишину, сквозь видений осенних сонмы, сквозь тревоги, — как можно дольше.

А потом — пускай скрипачи инструменты свои волшебные по привычке кладут в футляры и с трудом закрывают их.

Пусть идут они молча, сутулясь, перешагивая через лужи, к остановке трамвая, чтобы уезжать на нём насовсем.

Пусть летят над ними осенние — словно эхо — жёлтые, алые, невесомые, ветром гонимые вдоль дороги, окрестные листья.

Я приду из парка заречного, где остались отзвуки музыки, меж деревьев, сплошь облетевших, до зимы, — и вернусь домой.

И всё — как под увеличительным сильным стеклом: то расплывчатей, то чётче уже, сфокусированней — детали, приметы, сны.

И в мире моём — светло. Но радость в нём — дружит с грустью.

Где наша музыка, грусть моя, музыка по вечерам, и книги, радость моя, и зыбкие, длинные тени со всех четырёх сторон, сквозь углы, закутки, пробелы в горькой памяти, сквозь просветы в ней же, сквозь силуэты смутные позади, сквозь локти и плечи незнакомых людей и друзей?

Что такое — наша, родная, не чужая ведь, сторона, и зачем она кем-то создана, и кто же мы, кто же такие, в конце-то концов, когда веет ветер с юга, вечерний и ночной, сводящий с ума, заставляющий встать и идти, неизвестно куда, всё дальше, сквозь пространство и время, вперёд?

Нет ни солнца, ни туч, ни птиц позади, но едва лишь ты, хоть на миг, оглянуться сумеешь — есть и солнце, и тучи, и птицы, и листва, уводящая в глубь этой местности, где прозреваешь вместе с прочими, где проживёшь, уцелеешь, станешь дышать глубже, проще, спокойней, свободней, сохраняемый силой Господней, чтобы стали слова благородней, чтоб о прошлом себя вопрошать.

Где моя музыка, личная, сокровенная, без литавр, словно задача решённая, тихая, не оглушённая бешеным, будто с цепи сорвавшимся, барабаном?

Где мои гитары и совы, раскрывающие глаза удивлённо, когда зовёшь их, молчаливых, по именам, балаганы пустые, закрытые до утра, карусель наша старая и знакомая, сиротливая, средь сиреневой мглы, скамейка?

Нас увезут куда-то не музейные, старомодные, симпатичные с детства, «кукушки», а истошно кричащие, в непогодь уносящиеся электрички, и при встрече, там, впереди, вместо «здравствуй» кто-нибудь скажет, ни с того ни с сего, «прощай».

Мы умеем и не умеем жить, как все, но все мы стареем, и старят нас — возвращения, и просят у нас — прощения.

Обещаниям — проще, они забываются иногда.

А прощаниям — горше, они остаются уже навсегда.

Прилетят к нам голуби мёртвые. Вслед за ними — живые голуби.

Прошумят нам ветвями безлиственные, одинокие тополя.

Гитары без струн сыграют нам — вслед за маршем Наполеона — болеро Равеля, чтоб кровь закипела в жилах застывших.

Сигареты наши, сухие и измятые, затвердеют, в семь цветов окрасятся радужных, словно палочки восковые.

Башмаки наши сотню раз обязательно будут изношены.

Но где, и когда, и скоро ли будет встреча? Когда же мы все, да и где, сумеем увидеться? И когда же — не будет страданий?

Финикийцы правят своими кораблями в морях неведомых. Паруса их остроугольные задевают порой за прошлое.

Мы возьмём большие, тугие, боевые луки — и выпустим стрелы с чёрными, гибкими перьями. Никогда не убьют они наших верных подруг и жён. Поразят они — только зло.

Когда они в прошлом горели, осенние наши костры, и горят ли они в настоящем, чтоб гореть и потом, в грядущем?

Надолго ли — наше время? И долго ли нам, сегодняшним, брошенным, как из пращи, в эту странную, право, действительность, где навыворот всё, кувырком, лететь куда-то над крышами окрестных строений, над буднями и головами прохожих?

Где наши простые песенки, широкие, прочные вёсла, круги гончарные, праздника и все на свете ремёсла?

Разве нет у нас родины? Есть.

Здесь она. Это — родина речи.

Степь. Для меча? Или плуга?

Есть у нас ветер с юга.

В такие вот вечера — с тоскою невыразимой — я иду на холмы. Смотрю — на четыре стороны света. Слева — вода канала, по которой идут суда. Справа — леса и дали. Сзади — избы деревни. Впереди — свежий ветер с юга.



Я живу рядом с Икшей, станцией электрички, в деревне Игнагово.

В ней — церковь с ободранным куполом, палатка с кое-какими продуктами, да поля, да пруды, из которых воду таскают вёдрами бабы местные, да распахнутое всем ветрам и мечтаньям небо.

Печь иногда топлю. Часами смотрю на огонь.

Есть чай, кофе, хлеб, табак, есть трубка, есть сигареты.

Есть — Губанов, Батшев, Михалик Соколов. Сплошные смогисты.

Кое-кто ещё из приятелей приезжает сюда, погостить.

Ночью часто идут дожди. Барабанят по крыше, бьются в окна, в двери, шумят, лепечут, затихают под утро, чтобы новой ночью — идти опять.

Странно мне наблюдать такую — непривычную, русскую, позднюю, по сравнению с нашей, южной, хорошо знакомой, весну.

В ней нет почему-то движения, переменчивости, динамичности, — всё как бы застыло в статичности, предписанной ей природными, и властными, видимо, силами, — деревья, которых так много в лесах, покрываются зеленью сообразно какому-то скучному и подробному расписанию, и только крутое, выпуклое, бездонное внешнее небо в три четверти круга, безбрежное, — движется, движется, движется. На юг — и обратно, с юга. Конечно, движутся тучи ночные и облака дневные. Но кажется мне, что движется — именно небо.

И словно нет никого вокруг. Только я да южный, будоражащий, тёплый ветер. Да раскисшая от дождей постоянных, чужая, скудная, не сравнимая с нашей, земля...

И вот я снова достал довольно пухлый конверт, битком набитый моими письмами. Но кому они адресованы всё же? Тебе? Или всем? Да почём я знаю! Будем считать, что — тебе. А кто ты — друг, или просто современник, или соратник, — не всё ли равно теперь, когда я как будто повис в мучительной неизвестности меж землёю и небом, когда я стряхиваю с себя все наваждения, словно капли дождя весеннего, ночного, когда надеюсь я, что выдержу всё, восстану из бед, на меня обрушившихся, когда говорю я себе, что надо жить и работать, как будто бы ничего со мной не случилось особенного, так, временная неувязка, когда я смотрю в окно и вижу там тёмную сплошную, да редкие огоньки по избам, да чувствую сырость дождевую, — и думаю, думаю — о прошлом и настоящем своём, о мире своём, защищаемом от невзгод в меру сил моих, а таком, что не каждый поймёт, о кровном, о том, что войдёт в мои писания, в память, в жизнь, на долгие годы, чтобы сказать об этом когда-нибудь, чтоб вызвать, как вызывают огонь на себя, удары судьбы — и все, до единого, сумеет их преодолеть.

Жду писем я — от друзей. А писем — всё нет и нет.

Дела у меня — неважнецкие. Точнее сказать — плохие. Но верю я — всё образуется. Но знаю — победа будет, и довольно скоро, за мной.

Ждёт лишь Крым, не дожждётся. Еду.

Начал писать — и, представь себе, не могу продолжать. Не хочу.

Когда мы сидели с Михаликом в этой полутюряге — чувствовал там я себя свободнее, чем сейчас, когда я уже на свободе.

Напиши же скорее. Хоть кто-нибудь — вы слышите? — напишите!..

...Что за прелесть и что за чудо, в сердце вхоjee отовсюду, были те, далёкие, тёмные, непостижные и огромные, осенние или зимние, с тишиной, с приязнью взаимною, весенние или же летние, с их таинственностью безответною, с глубиной их, с высотой, с ощущеньем тепла и добра, с чередою их непростою, стародавние вечера.

Были в доме нашем тогда две настольных лампы: одна — мраморная сова, с глазами зелёными, круглыми, а другая — традиционная, с колпаком широким, зелёным, симпатичная, старая лампа.

Письменный крепкий стол сделал то ли ещё до войны, то ли сразу же после войны, по заказу отца моего и по дружбе, знакомый плотник. Вишнёвого цвета стол, изрезанный мною ножиком. В нём — две тумбочки, с дверцами, с полками, слева — тумбочка, справа — тумбочка, пустота в середине — для ног, наверху, под широкой столешницей, — выдвигаемые длинные ящики, целых три. Мой был — средний ящик.

Окно в моей южной комнате выходило во двор к соседям — там шла совершенно другая, непонятная мне, соседская, довольно скучная жизнь, там белела стена сарая и лаяла, как заведённая, на цепи длиннющей сидящая, тоскующая по свободе, столь желанной, большая собака.

На столе отец расстилал лист бумаги, форматом с ватманский, иногда бумагу придавливал прямоугольником толстого, отражавшего свет из окна, свет настольной лампы, лицо моё, превращавшегося мгновенно, словно в сказке, в тусклое зеркало, поначалу холодного, скользкого, а потом согретого лампой и дыханием моим, стекла.

Я исписывал, изрисовывал лист бумаги. Отец убирал его, расстилал аккуратно новый лист, с одной стороны — цветной, а с другой — сероватый или желтоватый, шероховатый и какой-то пористый. Помню фиолетовые, зелёные, цвета спелой репы, синие, красноватые, голубые, как весеннее небо, листы.

Я сидел за столом, рисовал или что-то писал — и глаз отбирал, по чутью, цвета, ожидавшие воплощения в речи: мягкую белизну потолка и стен, желтизну, под зелёным над ней колпаком, электрической яркой лампочки, заоконную зелень листвы, лиловые всплески теней по углам, коричневый пол, синеву приходящего вечера, постепенно переходящую в темноту, в которой угадывались виноградные лозы, деревья, огоньки в приоткрытых окнах, очертанья созвездий в небе, все приметы послевоенной жизни, скромной, провинциальной, но и щедрой, неповторимой, дорогой, прекрасной, дарованной всем вокруг, благодатной, моей.

За стеною то затихали, то опять разрастались, да так, что округа буквально звенела от сплошного, вселенского звона, вдохновенные песни сверчков.

Мне никогда потом не было так хорошо на душе, как в эти далёкие, незабвенные вечера.

Брат спал на своей кровати, после очередного скандала, из-за невыполненного, как нередко бывало, домашнего, довольно простого задания. Отец и мама — в соседней комнате разговаривали, бабушка — где-то рядом была, — позднее, когда появился у нас телевизор, они, все вместе, смотрели различные передачи.

Ну а я — то черкал бумагу, в задумчивости, просто так, то рисовал всё, что в голову приходило, свои фантазии тогдашние, благо их было тогда предостаточно, с избытком даже, скажу я сейчас, то писал запоем, весь отдаваясь течению, движению речи, наивной, но зато, безусловно, искренней, труду, назначенье которого я не очень-то понимал, но чувствовал, что писать — это значит всегда трудиться, быть упорным, осуществлять хоть частичку своих, как правило, максималистских замыслов, которые возникали как-то просто, легко, непрерывно, чередою, один за другим, в голове моей, — в этом роении разрастающемся, звучащем непривычною поначалу, но потом уже узнаваемой, ожидаемой, радостной музыкой, возникали уже и видения ненаписанных мною, пока что, но реальных, в будущем, книг.

Я думал о море — и видел, сразу же видел его, внутренним зрением, слышал рокот его и гул. Думал о листьях — и листья шелестели здесь, за окном, говоря о том, что они ждут, когда я о них напишу.

Если это происходило летом, знойным, южным, степным, — ничего не стоило тут же распахнуть обе створки окна, и дожждаться вечера, чтобы мотыльки прилетали в комнату и кружились вокруг настольной, их манящей, горячей лампы.

Если это происходило нашей, светлой и тёплой, осенью — ничего не стоило молча лбом прижаться к стеклу оконному — и слушать долго, часами, её печальную музыку, сквозь струи дождя на стекле, сквозь мокрые кроны деревьев окрестных, сквозь ветер, гудящий протяжно, сквозь явь, которую надо было мне постигать.

Белый сарай за окном, на дворе соседском, был южным с виду. Окно выходило, как уже говорил я, на юг. Кровля была у сарая — плоская, крымского типа. За сараем росла высоченная шелковица. Рядом с ней росли высокие вишни. В стороне от них рос виноград. Словом, южный вполне пейзаж. Украинский. Почти что крымский. Было этого мне достаточно, чтобы сразу себя представить где-нибудь на юге, в Крыму.

Бродил и ворчал соседский, лохматый, нечёсаный пёс. На это ворчание тут же откликнулись другие собаки окрестные. Проезжала, иногда, машина по улице, грузовая. И всё опять затихало, впадало в дремоту. А потом пробуждалось, внезапно, от какого-то нового звука, растревожившего заречный, весь в садах фруктовых, ленивый, тихий рай и его покой.

Летели по ветру листья, кружились, падали вниз, на землю, на чернозём, на грядки и на траву, зеленеющую на жёлтом, багряном, пестреющем фоне деревьев, на фоне лилового, туманного, влажного неба, и птицы высокими стаями улетали снова на юг.

Я рос и грустил. Я исчеркивал бумагу или, поддавшись настроению, — много писал, покуда не надоело, и я, уставший, бросал тексты свои тогдашние где-то на середине, чтобы завтра — начать другое, что казалось мне интереснее предыдущее.

го, — не хотелось мне заканчивать то, что было слишком ясным уже для меня, лучше — новое написать.

Все четыре времени года проходили передо мною, друг за другом. И звёзды в небе так сияли, и со стороны Черногорки, холма крутого, нависавшего над рекой глыбой смутной глухого урочища, пели орды лягушек, и пели соловьи, и ночные птицы пролетали так низко, что тут же разглядеть их получше хотелось, но куда там, они исчезали в темноте, а на смену им появлялись летучие мыши, и лисицы степные тихонько пробирались в чьи-то курятники, и, почуввав их приближение, заливались лаем собаки, томно пахло ночной фиалкой и жасмином, уже расцветали розы, полные влагой ночной, мир безбрежный был рядом со мной.

У виска трепетала, дрожала на весу прилетевшая бабочка, словно вестница лета. Осенью — приходилось её вспоминать.

Перед моими глазами был круг света — и я понимал уже, насколько сильнее он и разумней всяких углов. Видел в нём я — вращенье, круженье, уходящее далеко, высоко, в глубины вселенной.

На улице — пацаны свистели, брехали псы, болтали о чём-то соседки. Это было — не для меня.

Фонари, сквозь листву горящие, — были сферами. Я заключал всё, что видел, — в сферы. И мысленно — проникал я внутрь этих сфер. Время — круг. Это было ясно. Коло. Круг. Для жизни. Среда. И углы не хотел я вписывать в этот круг. Я сидел за столом, в очевидном прямоугольнике дома, комнаты, — и создавал, каждый — в виде круга, миры свои. Рисовал на листах бумаги — круг. Меня привлекали — сферы. И ещё рисовал — корабли, замки, лица прекрасных женщин, тех, что встречу я позже, потом.

Лет в пятнадцать я полюбил книги Грина. И эта любовь почему-то была прочнейшим и таинственным образом связана с небывалой, смертной тоской. Почему? Наверное, чувствовал я тогда: никакой не романтик Грин, а очень серьёзный мистик.

Помню круговращение дождливого октября и ноябрь, шагнувший навстречу с неожиданными новостями. Но какими? Об этом лучше промолчать. Они — не для всех. Это — личное. Всё осталось — в речи, в книгах моих, никуда от меня не девалось. Живёт.

А пока что — я жил и дышал, как и все, казалось бы, вроде бы примирившись с тем, что нельзя выделяться, но и не так, как другие вокруг, а по-своему, ощущая отменность некую и стараясь её сберечь от чужих разговоров и глаз.

Возвращался из школы по шпалам, забываясь и даже не глядя, весь в мечтах своих, по сторонам. Во мне роились бесчисленные, лишь мне доступные образы. Я слушал дивную музыку, доносящуюся ко мне с небесных высот — и всё время те фрагменты её, что успел, что сумел я запомнить всё-таки на пути, про себя напевал.

И дома, согревшись, если приходил я с холода, или же отдышавшись, если погода довольно тёплой была, — я что-то вновь создавал. Писал. Чего только я не писал! Всего и не вспомнишь. Фантастику и приключения, с сюжетами, лихо закрученными. Что-то из жизни школьной. Из детства. Да и из отрочества. Повести. И рассказы. Истории, с парадоксами, со страстями. Потом решил писать серьёзную прозу.

Но осенью шестьдесят первого года, решившей всё за меня, тогдашнего, словно прозрел я и понял, что это — моё, что жизнь моя изменилась, что стал я другим отныне, — стихи начались.

И когда возвращался я в родительский дом, то и с грустью, и с лёгкостью на душе подходил я сызнова к письменному столу вишнёвого цвета, старомодному и такому для меня навеки родному.

Он потом оказался в сарае, вместе с рукописями моими прежних лет. Когда я недавно приезжал ненадолго к родителям, я так его и не видел...

И всё. И сказать больше нечего. И не надо. Всё уже сказано.

О писательство, с обучением профессии литератора в каком-то там институте на Тверском бульваре! Ну кто там научить хоть чему-нибудь может? И кого там будут учить? И зачем вообще учить тому, чему, ну хоть тресни, нигде научиться нельзя? Дар — Божий. Он или есть, или нет его. Вот и всё. Другое дело — желание совершенствоваться, работа — над собой, над своими текстами, чтение книг, размышления, беседы с людьми достойными, словом — школа. Именно школа. Очень нужная. И полезная. Для многих. А дар есть дар.

Может, надо порой оставлять вещи свои — неоконченными. Как у Пушкина, например. Сердца этим не остановишь. Или — вещи свои заканчивать. Кто подска-



жет — как поступать? Да никто. Поэтому — сам всё решаешь. И действуешь так, как чутьё говорит. А наитие — приведёт туда, куда надо. Так прислушивайся — к чутью и наитию. Будь собой. А не кем-то, совсем другим. Как поётся тебе, так и пой. Дыши, как дышитесь. Знай правоту свою. И — пиши. Говоря серьёзней — работой. Не ленись. Встряхнись-ка. Трудись. И когда-нибудь — появись, с новой вещью, пред ясны очи всех друзей. И они — поймут. И тебя самого, и труд сложный твой. Посему — живи. Ясный свет на земле — в любви. С ней — надежда и вера дружат. Мудрость — ждёт. Пусть голову кружит ветер с юга, пусть полнит грудь новым зовом пространства. В путь!

И довольно — о всякой бредятине говорить, истрепавшей нервы мне порядком. Схлынет она, как вода дождевая, разом. Будет в мире — солнечный свет. Будет в жизни — пора открытий, постижений, встреч, новизны постоянной. Будет светло на пути моём. Я это знаю.

Ну откуда это Божественное, нарастающее звучание? Что за музыка — впереди? Что за радость? Прибоя рокот, шелест листьев, сиянье звёзд, к новым далям воздушный мост, время, вставшее в полный рост, и пространство, с его всегдашним изумлением всем, что есть в мире. Жизни — хвала и честь!

Бессарабский Гена принёс мне — в апрельское заточение моё — билет пригласительный из музея Андрея Рублёва.

На нём были строки Пушкина:

— Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, — мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв.

...Живой клочок минувшего. Всё то, что было — до и после — в письмах давних — сегодня в эту книгу не вошло. Всё то, что было — до и после — в жизни — давно уже написанные книги — неизданные, изданные. В них — вся жизнь моя, нелёгкая, родная, и всё, что помню я, и всё, что знаю, душа и сердце — на путях земных...

Говорил не случайно Пушкин:

— Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано всё, что подвластно ему?

Может быть, это и сны. Может быть, и видения — мало ли их бывало! Может быть, вспышки воспоминаний — пусть оживёт свет. Что бы там ни было, сон или явь, — быть заодно им. Вот и звучание, вместо молчания, — нить на пути, связь. Речь на клочки не разорвать, не разделить нас. Всё это вновь — здесь, предо мной, всё это вновь — там.

Тамань — какую была она когда-то, давно, — для меня.

Ты спрашивал — как мы там жили. Ну что ж, пожалуй, об этом, о жизни южной, давнишней, я расскажу. Пора. Прежде всего, там было море. А это — главное. Потому что присутствие моря так близко, рядом, — важнее многого в жизни. Особенно — в молодости, когда можно и должно восстать из любых невзгод, из любых, даже самых тяжёлых, бед. Море было — куда ни взгляни и куда ни шагни — повсюду. Близость моря — словно реальность, после трудных сражений, победы. Близость моря — словно возможность снова жить, и дышать, и петь. Близость моря — это, конечно, несказанная радость. И счастье. И блаженство. И вдохновенье. Море — наши лечило раны день и ночь. И оно, могучее, неминуемое, огромное, нам дарило свою энергию, окрыляло нас — и спасало.

После невероятных событий, февральских и мартовских, после смогистских чтений, вечеров, бесчисленных встреч, со всеми их, вскоре, последствиями, с дозой выводов, загустевших на доньшке самом сознания, наподобие мутноватого, густого осадка на дне кувшина с вином домашним, после апрельских, частых тревольных и даже мучений, после майских бредовых игр в прятки неведомо с кем, после всей круговерти Змеиногорского, ядовитого, шестьдесят пятого года, когда стало ясно мне, кто есть кто, и куда мне в дальнейшем идти, и чего мне вскорости ждать, мы страдальцы,



по мнению многих, двое гордых смогистов, Михалик Соколов и я, защищаемые от несчастий добрыми ангелами и хорошими, к слову, людьми, неожиданно для себя, как-то слишком уж быстро, стремительно, словно кто-то свыше решил всё за нас, очутились на юге.

Кочев с кафедры искусствоведения МГУ, человек добрейший и умный, пристроил меня и Михалика в археологическую экспедицию, на Тамань, к Сокольскому. Я воспринял всё это без удивления. Почему? Потому что я чувствовал, что ко мне протянулась — нить. Откуда? Пожалуй, из будущего, не иначе. Я верил в это. Даже больше: об этом я — знал. Уверенность в том, что всё далеко не случайно была незыблемой. Но об этом старался тогда я помалкивать. Как будто воздушный мост, для других незримый, таинственный, переброшен был для меня в сложной яви — куда-то в завтра. Расположенность звёзд ко мне очевидной была. Оставалось просто жить и держаться. И — ждать.

Мы с Михаликом Соколовым казались себе изгоями. Надо было ловчить, приобщаться — неизвестно, к чему, — но зачем? Никогда я не делал этого. Всё, что пахнет приспособленчеством отвратительным, — не для меня. Независимость, гордость, выдержка — три кита, на которых следовало мне упрямо и твёрдо стоять. Альям матер, университет заслонили от нас двоих комсомольских собраний шумом, всяких сборищ, происходящих в помещениях, где не хватало только тайных лазеек для ушлых, любопытствующих и злорадствующих, поощряемых властью крыс, нескончаемым гамом бредовым, да какими-то выговорами, да ещё — исключением нашим из числа студентов, соседствующим с показным, нарочитым ропотом и разыгранным возмущением этой лживой советской общественности, находившейся на побегушках у кремлёвских, а также лубянских, откровенно циничных мерзавцев, да ещё — коридорной молвой. Но, однако, были и те, кто хотели нам как-то помочь, понимали несправедливость скороспелого, сверху, решения «в назидание всем», сочувствовали. Принимали мы это оба с благодарностью нашим сторонникам в эти дни, но почти как должное.

Нас зачислили в экспедицию. Сокольский, седой, худощавый, подтянутый, очень воспитанный, весь на нервах и весь учтивость, и внимание, и понимание, весь в порыве, своими повадками мне напомнивший канатоходца, терпеливо, упорно идущего над какой-то разверстою бездной, проводил свои экспедиции почти без средств и держась на одном только энтузиазме её молодых участников. Побывали мы в его домике — одной из последних московских, деревянных, скрипучих скворешен, голубенькой, двухэтажной, ухоженной, симпатичной, с окнами, выходящими на Москву-реку, возле самого Бородинского моста. Сейчас пристанища давнего этого дружной русской семьи давно уже нет и в помине — снесли. Сокольский поведал нам о трудностях всех полевых, о которых лучше всего заранее было знать, напутствовал, договорился о встрече будущей — там, на Тамани, на юге, на месте. И вскорости — мы уехали.

Мы, в кузове грузовика, пересекли Россию — и, негаданно для себя, очутились уже на северном Кавказе, в станице Лабинской, в гостях у чудесных родителей шофёра экспедиционного, знаменитого аса, Володи. Вода в стремительной, с гоном, реке Лабе — жёлтая, с частыми водоворотами, с мелкими перекатами, с плеском волн, бьющихся в берега с размаху, текущая с гор. Переходить эту реку вброд — непросто стадам. Течение за минуту уносит пловца на сто метров от места, где он, хорохорясь, в реку эту вошёл. Вода Лабы хорошо, лучше мыла и лучше шампуней, промывает волосы, дела гибкими их, воздушными, — поэтому на обеих берегах я увидел множество местных женщин, к воде склонившихся, с мокрыми головами, длинноволосых, стройных, по облику своему — вовсе не великорусских, а смуглых, весёлых казачек. Река летит под уклон, с гулом и рокотом, пенясь, а женщины неторопливо приходят к ней и уходят, и волосы их расчёсанные так тонко и нежно густы, что солнце сквозь них просвечивает, и только уже потом различаешь лица, как правило, торжественно-сосредоточенные, как во время важного некоего, с привычным, врождённым тщанием, совершаемого обряда.

Есть ещё в Лабинской высокие, молчаливые старики в твёрдых казачьих фуражках, жилистые и с виду злые, — видна порода. Старики эти очень не любят незнакомых, чужих, приезжих людей, для них — подозрительных, настораживаясь мгновен-



но при виде таких, — степенно курят себе да гутарят, собравшись вдвоём, втроём, говорят о чём-то своём, недоступном непосвящённым, а позже — чинно и строго, с достоинством несомненным, словно цену себе они знают и никто на мякине их сроду не проведёт, покряхтывая, поглядывая цепко по сторонам, но виду не подавая, что всё вокруг замечают, обо всём, что в станице их происходит, прекрасно знают, расходятся по домам. Женщины же в Лабинской — незаметны совсем, проходят по делам своим вдоль заборов слишком быстро, потом возвращаются поскорее к своим домам и захлопывают калитки за собой, — и станичные улицы обычно полупусты.

Прямо в поле, на ровном месте, поблизости от станицы, есть известный целебный источник — сильные, толстые струи горячей, кипучей воды бьют снизу, из-под земли, высоко поднимаясь вверх, рассыпаясь на мелкие брызги, а под ними, в пару, как в бане, привычно стоят терпеливые и торжественно-тихие люди, раздевшиеся порою догола, никого не стесняясь, веруя в пользу такого общественного купания. Приходят сюда пешком, приезжают и на машинах, на мотоциклах с колясками, кто на чём. Свято место пусто не бывает, это уж точно. Черкесы сюда обычно ездят не на конях, как хотелось бы их представлять, храбрых горцев, джигитов, героев, а просто на велосипедах.

Мать шофёра Володи — турчанка, черноглазая, шустрая, маленькая, хлопотливая и смешливая. Он похож на неё — восточный, медлительный, смуглый ленивец, обожающий быть в кайфу, работу свою выполняющий между прочим, из явных счастливых, которым просто везёт, да и только, любимец судьбы. Отец — сухой и поджарый работяга, казак, хозяин, привыкший одним движением руки или брови своей, с помощью верной супруги, извлекать из домашних запасов неожиданные угощения.

Пировали мы во дворе. Ночью, сужая звук веретеном кверху, к вершинам, к звёздам, шумели огромные пирамидальные старые тополя. Музыка тополиной листвы была беспредельной, размашистой, непрерывной, уходящей к встающим за мягкой, тёплой, доброй ночной темнотой, за станицей с её огоньками, за рекой, высоким горам. Всё вокруг — и природа, и люди — тяготело к горам, которые или просто подразумевались, или знать о себе давали, возникая то в поле зрения, то в беседах, то в мыслях, летящих, вслед за шумом листвы окрестной, вверх куда-то, к ожному небу, к лучшим дням. Это был — Кавказ.

Клубника, сочная, крупная, принесённая из подвала, вино домашнее, литрами наливаемое, отменное, разговоры о змеях, смех, трата незамедлительная всех наших наличных средств, беглые ощущения, положение открывателей новых чудесных земель, впечатления, отдых заслуженный — спутались в тёплый клубок начинающегося так ярко, небывалого, видимо, лета, свернувшийся так вот, как в сказке, из тысяч пройденных нами километров, на юг и на юг, сотен слов, молчанья дорожного, запаха пыли, бензина, нередких горячих ожогов о крышу кабины нашего быстрого грузовика, ухода недавних страхов и спокойного ожидания всего хорошего, честного, что следовало добыть руками, трудом, надеждой.

Один из местных людей, сорокалетний станичный житель, энтузиаст, любящий горный свой край, предлагал перейти вместе с ним, по известным ему одному тропам, хребты, встающие чередой на пути и выйти к морю — такие прогулки совершал он частенько осенью, в дни, когда всё население станицы, по давней традиции, собирает фрукты в горах. Это было уже необычно.

Деньги наши сразу иссякли — в пути мы пили вино. Ехали мы в экспедицию в кузове грузовика, под брезентовой крышей, втроём — я с Михаликом Соколовым и потомок поэта скромного, девятнадцатого столетия, Ознобишин Дима, устроив себе удобные гнёзда из множества спальных мешков и палаток, лицом к кабине, вперёд, к движению нашему, из Москвы, из России, на юг, к морю, — и видели многое — русские города, церкви, леса, деревни, терриконы Донбасса, чёрные от угольной пыли степи бывшего Дикого Поля, Ростов на Дону и Дон, Краснодар с трамваями красными. Было вдосталь свежего воздуха. Мы сразу привыкли к нашей на редкость быстрой езде. Перемещение в пространстве увлекало и завораживало. Два шофёра вели машину, привычно, попеременно. Мы молчали, курили, беседовали — и смотрели по сторонам.



Всё больше свежей, разросшейся, различных оттенков зелени замечал я вокруг — Москва оставалась намного севернее. Вместе с взмахами птичьих крыльев и качаньем ветвей под ветром приближалось ко мне видение нового, многообразного, щебечущего, растущего, цветущего, как в пастернаковской изумительной «Маргарите», — и я, волнуясь и чувствуя, что сердце бьётся всё чаще, вглядывался в коричневое, бурое, жёлтое — понизу, в растительное, зелёное — на нём, в необычно синее, распахнутое над ним.

Я совсем недавно впервые наблюдал весну, подмосковную и московскую, русскую, новую, озадачившую меня непохожестью на украинскую, — а теперь мы сызнава — надо же! — возвращались к югу. Июнь едва начинался. Лето — было ещё впереди.

Теперь, через много лет, я твёрдо, отчётливо знаю, что поездка наша давнишняя помогла мне понять поразительные сдвиги пространства, его сложные напластования, передвижение в нём, свободное, научила видеть меня наперёд, — то, что есть у Аполлинера в «Маленьком автомобиле», в ряде вещей Хлебникова, и что я назвал бы сегодня надвигающимся на сознание грядущим фактом, который обязательно произойдёт, и надо лишь угадать его, безукоризненно точно, сразу и навсегда. А тогда, сорок семь лет назад, мы ничего такого вроде бы и не знали, но что-то уже начинало совершаться, и это новое, притягательное ощущение, увлекало меня, настраивало на какие-то новые волны и частоты, на музыку новую, что должна была, непременно, не сейчас, а немного позже, обязательно прозвучать. Не прекрасно ли разве? — свободны, молоды, и дорожного багажа — почти никакого, только самое необходимое, впереди, как уже говорилось выше немного, — лето.

Отдохнув немного в Лабинской, мы оставили в стороне Майкоп, направились севернее, повернули левее, к морю. Начиналась Тамань. И я понимал, что вокруг меня — предвесье Кавказа, и сам он, позади, немного южнее, земля поселений военных, казачьих станиц, городов небольших, но довольно известных, по истории, и конечно же, русских поэтов, писателей знаменитых. Сохранность эта — и в реальности, и в моём сознании — волновала.

Тамань — сухая земля, то с низинами, то с холмами, протянутыми к горам. Когда-то она была группой разных по величине островов, разделённых протоками, которые постепенно исчезали, и острова сомкнулись, образовав нынешний полуостров. Мы добрались до места, в станицу Сенную. Сокольский и студенты, туда приехавшие на поезде, из Свердловска, были там уже. Все занялись устройством лагеря. Мы старательно выполняли все поручения. Только понять что-нибудь — пока что было ещё невозможно.

Сенная стоит на месте древнего города Кепы. Если встать к заливу лицом, то немного левее, подальше, на пути, вдоль бугристого берега, к лермонтовской Тамани, будет Фанагория, в которой я так никогда почему-то и не побывал.

Мы купались в заливе. Там мелко, но вдали от берега дно в некоторых местах неожиданно, резко уходит из-под ног, и вмиг ощущается настоящая глубина. За шестнадцать столетий море изрядно придвинулось к людям. Вода прогрета насквозь, на песке — полудохлые, выброшенные волнами, скользкие скаты. Мы ловили рыб-игл, и плавали, и уже понемногу к нашему пребыванию на Тамани, в экспедиции, привыкали.

Вечером намечалась «прописка» традиционная, то есть шофёр Володя, на деньги, вскладчину собранные, приобрёл, отлучившись куда-то ненадолго, канистру местного вина, сухого, хорошего. Были мы и виночерпиями, и рассказчиками забористых, с парадоксами, с буйством фантазии, увлекательных разных историй, да и просто были участниками скромного общего ужина. Видно, между тем, действовало — и вскоре все опьянели. Лагерь наш ещё не был выстроен. Поэтому все заснули — кто где, кое-кто и в курятнике.

Утром меня разбудил трезвый Аркадий Пахомов, с любопытством взирающий сверху на спящую, пёструю гвардию посвящённых вчера в археологи. Он бросил сдавать экзамены университетские, скучные, явился домой к Сокольскому, убедил Николая Ивановича взять его к себе в экспедицию, чтоб составить компанию нам, до Сенной добирался поездом и радовался всему увиденному по-детски. Я разбудил



Михалика. Мы сходили, втроём, на станцию, за пахомовским чемоданом. Обратились, с чемоданом, вдоль берега тихого, смиренного даже, какого-то вялого, похмельного, вроде, залива, плещущего спокойно, изредка, под настроение, видимо, слабыми, тёплыми, нагретыми солнцем волнами прямо в песок, на котором, в грудах морской травы, ползали целые сонмы красных божьих коровок и лежали, днищамиверху, смолёными, чёрными, в блёстках солнечных, лодки рыбацкие. Над песком прибрежным сутулились, нависая серыми грудями, небольшие крутые обрывы. Я шёл впереди — и пел что-то весёлое, радостное.

(Р. меня проводила в Москве, ранним утром, благословила, понимая женским чутьём, что должна быть со мною рядом в это знаковое для меня время, в этот прощальный, печальный, ускользающий но сулящий что-то новое час, в дальний путь. Мы приехали с ней, на такси, к институту археологии, месту сбора. Я попрощался с ней и оставил, на память, свои машинописные книги стихов. И она — уехала, и больше мы с нею не виделись никогда. Так всегда и случается, когда нечто очень хорошее, даже больше, прекрасное, светлое, решает остаться в душе моей надолго, нет, навсегда, — и, решившись на это, отважившись, так вернее, уже не желает продолжения, — всё свершилось, всё должно сохраниться в памяти, — и когда-нибудь, может, в грядущем, отозваться, воскреснуть в слове, в речи, жизнь и судьбу озаряющей, потому что речь — наше всё. Соратники по экспедиции были в сборе и ждали меня. Грузовик увёз нас — на юг. Позади осталась Москва. И осталась — Р. Почему-то я не стал ей писать. Почему? Сам не знаю. Теперь-то — знаю: в мире этом — всё не случайно. Остальное, панове, — тайна. И её вам знать — ни к чему).

И вот мы стали — работниками, трудягами. Эта Сенная, эта, вся в ореоле открытий, вся в сиянии летнем, Тамань — перестраивали, незаметно, всё по-своему. Приходили от друзей моих письма. И я отвечал им. В былые годы столь важны были письма для нас, что теперь вспоминать об этом — значит, сызнова жить минувшим, ждать вестей, откликаться на них, по возможности, сразу же. Почта, слава Богу, исправно работала. И у многих тогда налаживалась переписка — и радостей в жизни, получалось, хватало для всех.

Перед этим... Что перед этим? Узнавание — нет, постижение, непрерывно, вплотную, — Москвы. Я нежданно — в фаворе. Слава, молодая, серьёзная. Надо же! Бесконечные, в разных местах, сквозь молву столичную, чтения, вечера. Мастерские, квартиры, клубы, залы, библиотеки. Всё сплелось в единый клубок. И потом, из клубка, протянулась нить — куда-то вперёд, в неизвестность, в прорву дерзкого февраля, в рокот марта, в горнило апреля, в дикость мая. Губанов, бледный от волнения, с видом победным: эх, свершилось, повсюду — СМОГ! Травля. Нервы. Арест. Изгнание, на собрании комсомольском, нас с Михаликом Соколовым, двух смогистов, из МГУ. Жизнь на даче у Иодковского. Потрясение от весны, захудалый вокзал Савёловский, электрички, старые домики деревянные и сады, пробужденье лесов, суда, по каналу идущие, близкие, переправа на лодке, деревня, пропитание наше — картошка и какая-то, вроде, ещё, скудноватая, но еда, под одною крышею — четверо: Лёня Губанов, Батшев, Соколов Михалик и я, пишущие машинки (одна из машинок — с дефектом, без буквы «у»), и стихи, и книги, и репродукции на стенах, тёплая печь, блуждание в поле, кладбище с церковью сельской, дожди, налипшая на подошвы почва, кино дурацкое в клубе, несколько штрафов за бесплатный проезд в электричке, надежда на восстановление в МГУ, тревожные мысли о недавних печальных событиях, о том, чего ждать мне вскоре от судьбы, предчувствия, май. Затаиться пришлось, подальше от Москвы. Затаились, в деревне. Выжидали. И всё-таки выжидали. И судьба улыбнулась нам, наконец. И вот мы — на юге. Вместо трамвая, автобуса, метро, электрички, белого теплохода в узком канале — грузовик, летящая чайка над раскопом, рыбацкий сейнер. Так спасибо всем добрым людям на земле, и хорошей погоде, и жаре, и дождям грядущим, и ветрам, и, конечно, — морю.

Такова сила дружбы и вера в спасение — мы оживали. Море — мелкое, по колена, поначалу, потом поглубже, заменяло нам ванну и душ и действительно освещало. Работа в раскопе, тяжёлая, с киркой и лопатой в руках, прибавляла крепости мускулам. Вечерами вино, беседы, шутки, чьи-нибудь байки весёлые, помогали отдыху нашему от трудов дневных, при жаре, очень сильной, на солнцепёке, и приятны были и нам, и другим участникам нашей героической экспедиции. Для того, чтобы все освоились здесь, понадобилось всего-то два-три дня. Горожане бывшие на глазах превращались в южан.



Достаточно было загара, блеска зрачков на лицах, мозолей, соли морской, присутствия, пусть и незримого, Керчи, куда, при желании, можно было добраться на лодке и которую, пусть и нечасто, можно было, в погоду ясную, разглядеть, а верней — угадать, где-то там, впереди, за плоскостью сонно плещущего в берега, разогретого солнцем залива, достаточно было древней, давно обжитой земли, дымящегося песка, присутствия винзавода поблизости, небольшого, но зато с производством налаженным, откуда рабочие ведрами нам вино приносили, «Чёрные глаза», и пили его, за компанию с нами, поскольку было с нами, людьми приезжими, им всегда интересно и весело, достаточно было неба с ожиданием чайки, чтобы вздохнуть глубоко и свободно, чтобы солнце пекло, а вечерний ветерок постепенно смягчал всю дневную разгорячённость, чтобы все часы в экспедиции равномерно, спокойно тикали, все улыбки сближали, а труд был достойным и необходимым, во имя чего-то хорошего, для всеобщего пота, для блага трёх десятков людей, сменивших, временно, место жительства.

О незримая близость соседней, где-то там, в стороне, экспедиции, отдалённость музея темрюкского, в который, одну за другой, увозили наши находки, мерный шум проходящих мимо поездов, грузовых, пассажирских, победа над нелюдимостью! — мы рылись в почве и что-то расчищали в ней, находили, доставали, привычно радуясь всем находкам, — прости за патетику, она вовсе не кажется мне нарочитой или шутливой. Виноградников близость, тянувшихся километрами, и надежда виноград этот всё же попробовать, не сейчас, а попозже, в августе. Расставание философичное местных жителей с конфискованными, за набеги их регулярные на общественные плантации и сады, мотоциклами их с колясками, предназначенными для того, чтобы в них загрузить добычу, и такие же неторопливые, как извечные прибыль и выгода, покупки таких же точно мотоциклов, с упорным, общим нежеланием регистрировать эти средства передвижения, да ещё укреплять на них совершенно ненужный номер. Вино домашнее, вкусное, девяносто копеек литр, кряканье тормозов на поворотах, набитый всеми нами, куда-то едущими, кузов грузовика, бесконечная каша гречневая на завтрак, навесы, скамейки, обеденные столы, дерево, камень, трещины под ногами, в раскошейся почве, две случайно сюда приехавшие, в тишь да глушь, курортницы юные, оловянные ложки, миски, изобилие солёной камсы, чёрствый хлеб, компот или чай, песни вечером, — белое, жёлтое, коричневое, зелёное, синее, серебристое. Глина вязкая, черепки, травы, камни, песок в ладонях. Запах ужина, веянье свежее из низины, от камышей, неподвижный залив зеркальный, еле видный корабль рыбацкий, магазинчик сельский в сторонке, сигареты, несколько книг. Приказы и распоряжения, выполнение их послушное, недавняя гордость — найденная Афродита Таманская, месяцы дружбы, а вовсе не службы, которые так же тянулись, как холмы и низины окрестные, редкое облачко в небе, отдых, работа, работа. Верёвки с бельём во дворах, танцплощадка местная, маленькая, утрамбованная ногами танцующих пар, и — музыка эстрадная, без разбора, с заезженных старых пластинок, а если её и нет — всё равно повсюду звучала непрерывная, ровная музыка всего, что нас окружало. Полное, с трудными буднями, с работой тяжёлой, отсутствие идиллии — и присутствие истории, эпос набегов, миграций народов, амфоры, станичные тополя, крыши, рыбацкие снасти.

Аркадий уплыл к кораблю. Корабль стоял далеко. Это был небольшой рыбацкий сейнер. Аркадий устал. Начал звать на помощь. Его вытащили из воды рыбаки, подняли на борт, потом — на берег доставили. Было чем гордиться Пахомову и за что, от Сокольского, вскоре, строгий выговор получить. Соколов Михалик — присматривался ко всему, помалкивал, шурился, а если и говорил, то на темы, обычно, серьёзные, требующие внимания. Фергес Фрейзер, шотландец, приехал — и сразу же всех покорила. Высокий, наивный, восторженный и чистый, до изумления, человек. Был его отец знаменитым шпионом, работал на страну Советов, потом погорел, но сумел бежать, получил в Союзе пристанище, со своей семьёй. Фергес рос и учился в советской стране, но порою, с упорством редкостным, так и рвался куда-то на волю. Однажды заплыл он в заливе далеко. И увидел лодку. И ему понравилась кепка на одном из гребцов. И он, поменял её, не задумываясь ни секунды, на свой пуловер, и потом проходил, в этой кепке, обретенной им, до октября. Совершенно всему, что видел, что узнал, он по-детски радовался. Он уплыть из Сенной однажды умудрился в Фанагорию, до которой не так-то просто и по суше добираться было. Плыл он долго, теряя силы, но на берег всё-таки выбрался. И обратно его доставил грузовик другой экспедиции, потрясённый таким геройством. Вспоминал он частенько Хлебникова, которого очень любил, и особенно те слова из «Зверинца», действительно,

верные, где сравнивался орёл с казаком и что-то о взгляде говорилось, необычайное, точно сейчас не помню.

Я писал в то время стихи — начальные в будущей книге. Носил в кармане с собой листы бумаги, которые обычно складывал вчетверо, и писал, на каждом листе, очень густо, — потом эти рукописи разбирал, по складам, годами. Оказалось, на этих листах было множество разных вещей, до сих пор дорогих для меня. Однако, в книгу вошла только часть тогдашних стихов.

Приехавшие из Свердловска студенты привыкли к нам. Пели песни мы, например, широко в то время известного, разумеется, в узких кругах либеральной интеллигенции, и студенчества, и литераторов, и художников авангардных, то есть нашего андеграунда, на просторах отечества, Галича. Аркадий Пахомов, пить умевший вполне артистично, а петь совсем не умевший, всех по очереди уговаривал обязательно слушать его, басил, гудел, утверждая, что именно он поёт, в отличие от других исполнителей песен Галича, доходчиво, так, как следует, с подъёмом, с надрывом, правильно. Это свойство, давно декларируемое, переросшее в убеждённость (ведь в отрочестве приглашали его, между прочим, басить в каком-то известном хоре!), изрядно его выручало, позднее, в период его скитаний по Крыму, без денег, но зато с избытком фантазии. За то, что пел он охотно знакомым и незнакомым песни Галича, пел от души, от чистого сердца, стараясь, его кормили, поили, давали ночлег, любили, ценили, оберегали — и всем ему помогали.

Было у нас в экспедиции несколько женщин, славных, симпатичных. Но возникающей любви, краткосрочных романов, я, кажется (впрочем, я ведь не приглядывался особо), не заменил ни у кого. Волна в заливе плескалась мягко, неторопливо, наслаиваясь на песок, на неё набегала другая, — такой вот слоёный, солёный, горячий, водный пирог мы есть могли постоянно. Белые стены домов, заборы, здоровые люди, вечная и оживлённая, как и во все времена, играющая пацанва, ищущие случайных заработков уголовники, вышедшие на свободу из тюрем, пришедшие к нам как-то издали, словно на свет маяка, сплошные заботы Сокольского, его молодая помощница — супруга Комеча, Мила, с глазами чёрными, влажными, сиявшими жарким огнём, блаженная тень от дерева, в перерыве между трудами, укрывавшая от неистового, небывало жаркого солнца. Находки. Поиски слова. Стихи Кублановского, новые, привезённые нам Пахомовым, вместе с приветом, пылким заверением в дружбе и Юриными подаренными часами на длинной руке Аркадия, первые письма родным и знакомым, прочие письма, вопросы, ответы, вести, отовсюду, о том да о сём. Небо над нами, распластанное, вроде покрова, над всем пространством, щедро запахнутое, на север, запад, восток и на юг, пронзительно синее, вечерами — тёмное, звёздное. Камыш, о чём-то своём шелестящий. Резина колёс автомобильных, запах бензина, мазута, пыли, чего-то очень дорожного, связанного с движением по земле, с непрерывностью этой возможности, лень шофёров, легенды о главном шофёре, о Володе, живущем бурно, вечно навеселе, лукавом, смешливом, сильном, асе, водившем запросто машины экспедиционные в пустынях Афганистана, умеющем, как никто, выбираться из положения любого, житейского или аварийного, всё равно, его анекдот коронный о пролетающих птичках, бесконечно преподносимый им, рассказчиком страстным, в подарок очередным, развесившим уши, восторженным слушателям, с прищуром глаза, на солнышке, в позе дремлющего кота, или же за стаканчиком вина, прислонясь к чему-нибудь устойчивому, для надёжности. Летние вечера таманские. Ночи приморские, звёздные. Всюду — присутствие радости, света, добра.

Нас, конечно, переместили. Станица, в которой мы должны были жить и работать, для нас неизвестная, новая, называлась, вполне по-советски, что поделаешь, Ильичёвской. Станица — полуморская, полустепная, с лодками просмоленными и рыбаками, с фруктовыми, в скромном количестве, растущими в тихих садах, обожжённых солнцем, деревьями — шелковицей, алычой, с заборами невысокими и вместительными домами, дворами просторными, улицами с неизменными тополями, хроническим, в зной, отсутствием воды питьевой, которую привозили порой в цистернах и сливали в ямы с бетонными стенами, дальним колодцем, клубом и библиотекой, столовой, овцами, курами, огородами, виноградниками, качелями, полем, близостью железной дороги, текущей, как ртуть, по косе Чушке, между проливом, заливом и Азовом, холмами круглых девяти крепостей, окружавших когда-то, полукольцом, Пантикапей, безмерно огромным купольным небом и воздухом, всё вокруг свободно заполонившим, горами Крыма вдали, на горизонте, обрывами азов-





кого берега, редкими машинами, велосипедами, миролюбивыми жителями, взглядами их любопытными на нас, камсой и вином. Теперь мы усердно раскапывали одну из прежних, внушительных когда-то, а нынче ставшей холмом в степи, крепостей. Работа была серьёзной. И это мы осознавали. К новой станции мы вскоре привыкли. Она запомнилась и осталась в памяти — летней, знойной, спокойной, дремотной, и трудно было представить её осенней и зимней, настолько она срослась, сроднилась с летней порой. Привезли нас сюда, в Ильчёвскую, как обычно, на грузовике. Решение приняли быстро, загрузили нас в кузов, помчались сквозь жару — и на место прибыли. Ну а здесь — приступили к трудам.

И, конечно, с троицей нашей, сразу же, в первый же день, случилось невероятное и памятное происшествие. Вполне понятно, что все мы угостились, перед дорогой, домашним вкусным вином. Разогревшись на солнце, пыльные, утомлённые, приехав на место, все бросили, где попало, вещи свои — и немедленно кинулись к морю, освежиться, прийти в себя, искупаться, теперь — в Азове. Таманский берег, крутой и высокий, неожиданно, резко обрывался, срывался вниз, к Азовскому морю. Чёткая линия виноградников и заросшего сизой полынью берега отделяла от нас такую желанную, даже издали — тёплую, чистую, морскую воду. Кто вправо, кто влево, все бросились к ней. Мы же двинулись напрямик, бегом, набирая темп. И когда очутились у самой кромки береговой, над разверстою бездной под нами, внизу, отступить было некуда. Бег занёс нас прямо к обрыву. Мы втроём покатались вниз, по пути инстинктивно цепляясь за кусты ежевики, распугивая змей ленивых и птиц голубых, вылетающих, с видом хозяев, из своих бесчисленных нор. Сандалии, брюки, рубахи рвались моментально в клочья. Летел я буквально кубарем, успев заметить, в полёте своём, далеко внизу, машущих нам и кричащих с ужасом наших товарищей по экспедиции, тропками давно спустившихся к морю. Внизу поджидали нас большие и малые камни, будто бы специально приготовленные для того, чтобы нам разбиться об них. Однако в самый последний миг мы, все трое, рухнули на полосу песка, подстеленную под нас, точно мягкий коврик, а камни, острые, страшные, дыбились по сторонам. Отлежались мы, отдышались, посмотрели вверх. Высота оказалась вовсе нешуточной, впечатляющей, озадачившей, примерно с полсотни метров, склона не было вообще, обрыв нам салютовал прямой своей вертикалью. Покуда к нам подбежали те, кто кричали внизу, те, пошедшие дальним путём, благополучно спустившиеся к морю по узкой тропке, — мы втроём уже плавали в море и забыли недавний страх. Волны тёплые заливали все глубокие наши царапины, горячий песок согрел ссадины и синяки. Так освоили мы Азов.

Кое-кого вначале, было так, огорчало отсутствие воды. Привозили её, кажется, раз в неделю, на специальной машине, сливали в яму, глубокую, с бетонными скользкими стенками и таким же бетонным дном, во дворе у нашей чудесной, одинокой, доброй хозяйки, приютившей в доме своём, просторном, прохладном и чистеньком, нескольких наших людей, сливали воду подолгу, а потом прикрывали сверху чем-нибудь этот псевдоколодец бетонный, но необходимый для жизни нашей, от пыли. Ранний подъём, простой, спешный завтрак — и в степь, в нашу крепость, копать, покуда солнце давало возможность выносить жару, напряжение рабочее, не задыхаться. В полдень кто-нибудь из дежурных притаскивал к нам на раскоп, запыхавшись, ведро воды. Эту воду обычно не пили. Ею все мы тогда — умывались. Я почти разучился пить воду. Пили мы только вечером, и непременно — вино. Праздником настоящим была вода из колодца дальнего, свежая, вкусная. Донимали нас на раскопе всевозможные мухи, слепни. Их старались не замечать. Сокольский, увидев, что я задумался, опершись на свою лопату, немедленно делал мне знак: работайте! И я продолжал трудиться. Троица наша Сокольского озадачивала постоянно — и он не скрывал, что хочет разобраться с этим, попробовать, если выйдет, нас разгадать. Наличие сразу трёх поэтов в одной экспедиции было чем-то новым, такого не бывало ещё никогда. Посвечивая фонариком, вечерами Сокольский, бывало, приходил к нам в палатку, присаживался к нам поближе, внимательно слушал всё, о чём говорили мы. Иногда он и сам рассказывал, откровенно и прямо, о том, как бывало трудно ему, да и нынче, конечно, трудно, как, за годом год, терпеливо, он всё ездит сюда, на Тамань, в экспедицию, ищет всё то, что обязан он здесь найти, и находит, и этим живёт. Что-то в нас его располагало, вызывало его симпатию. И журил он, и помогал. Сколько раз, например, давал деньги нам на дорогу, когда мы, отработав сверх меры честно, со спокойной душой, уставшие, но уже различимые сызнова зов пространства, собравшись наскоро, налегке, отправлялись в Крым. О деньгах в экспедиции нашей вообще не принято было заговаривать — все понимали, что их почти нет, что



никто почти ничего, как бы он ни трудился, не заработает, и все работали, много, старательно, с полной отдачей, ели кашу с камсой, отдыхали только вечером, чтобы с утра вновь идти на раскоп, в молчаливом, неизменном общем согласии. Ни нервничности, ни психозов, ни стихийных решений — не было. Понимание — было. Время шло, тянулись по небу знойному облака белёсые, лёгкие, словно перья птицы, от Крыма — на восток и на юг, на Кавказ.

Я метался по выжженной солнцем воспалённым таманской земле. Белочубый и белозубый казачонок смотрел на меня. Видел силу я, видел отвагу в этом взгляде. Мне нечего было возразить на это. Я понял запорожцев. Я сердцем чувствовал с этой жаркой землёй, с людьми, что на этой жили земле, какое-то очень давнее, дремавшее, до поры до времени, где-то в памяти, пробудившееся, внезапно и уже навсегда, родство. Монеты древние, вместе с корнями трав, иногда выдёргивались из земли такими же, смуглыми, жилистыми, худенькими казачками, сдавались потом в экспедицию, за них аккуратно платили, немного, конечно, да всё же это было в радость ребятам. Вспоминаю шелковицу старую, под которой были качели, хозяйка нам выносила вино, на закуску — камсу и хлеб, оставляли часы мы в залог, мы были довольны решительно всем, качались на качелях, пили вино, закусывали камсой и говорили о чём-то своём, о том, что нужным тогда считали, слева был — Таманский залив, чуть правее — Чёрное море, перед нами, прямо, — пролив, ну а справа — Азовское море, а сверху — безбрежное небо, а внизу — хозяйкины куры, и полынь, и спорыш, и цветы возле дома. Мы — отдыхали... — (Ну а может быть, мне об этом по-другому сказать сейчас?..) — Так. Метания да мечтания. И жара, как пчелиный укус, и прохлада воды азовской ночью, в море, как прикосновение стального холодного лезвия к укусу, это проверено, это всегда помогает. Научился я этому в детстве, и не где-нибудь, а на Кавказе. И земля таманская, дымная от несносного зноя, прожжённая жарким солнцем, казалось, насквозь, но живучая, плодоносная, и воздушный путь облаков, движущихся из Крыма на Тамань, а потом к холмам, и к предгорьям, и к дальним вершинам, на Кавказ, к Эльбрусу, Казбеку, дальше, выше, потом — куда-то дальше, выше, совсем далеко и совсем высоко, отсюда не видать, можно только догадываться, можно чувствовать это, знать, по наитию, по чутью, где мосты в никуда и в завтра, где дороги в морскую глубь и в небесную высь, где начало всех дорог, земных и небесных, где конец, и где — продолженье неустанного, в мире, движенья, где горенье и где даренье, где биенье людских сердец. Этих лоз виноградных, гибких, завитки, тугие сплетенья, эти выплески, след за тенью отшатнувшейся, мысли и чувств, эта тишь беспредельности, память, скифский дух и греческий привкус, готский оклик, сарматская глина, Русколани великой свет, отыскавшийся в поле след, время Бусово, имя, знамя, всё, что здесь мне явилось, пламя, семя где-то в глухой степи, свежий запах полыни, розы, над водою полночной грозы, слёзы днём и ночные грёзы, — засыпаешь? — ещё не спи. Пробуждайся, вставай скорее, видишь — утро, над миром рея, говорит тебе о былом — или, может, о настоящем? — о грядущем? — доступном спящим? — или слову, там, за числом? Здесь с тобою — твои кануны, здесь бывали когда-то гунны, под луной сияли лагуны, поднимались к звёздам холмы, лошадиное всюду ржанье раздавалось, Тьмутараканью поднималась жизнь, и за гранью всех набегов отзвук зимы уходил навсегда отсюда, оставляя здесь лишь для чуда вдосталь места, — и впредь я буду прославлять этот край, чей свет для души и для сердца дорог, мною принят без оговорок навсегда, побеждая морок всех минувших нелёгких лет.

Скрипка где-то, как лилия, выросла, всё, что было, с достоинством вынесла, на руках вдохновенья и вымысла возвратилась в небесную высь.

Роза вспыхнула песнею давнею, сохранила в ней самое главное, всё родное, кровное, славное, — и над нею звёзды зажглись.

Значит, музыка — не наваждение, а планет и светил рождение, злу, навеки, предупреждение: не мешай торжеству добра!

Всё земное с годами сбудется, и былое отнюдь не чудится, — то-то рядом со мною трудится золотая моя пора.

Помню давнюю нашу Тамань, экспедицию нашу славную, и раскопы крепости древней — знойным летом, в жару, на солнце, нестерпимо палящем, — глубокие, и находки наши, которые увозили куда-то в Темрюк, и далёкую, там, за изгибом раскалённого берега, в дымке над заливом, — Фанагорию.

Всё это — есть в моих книгах стихов. Добавлять уже нечего. Претендую я лишь на записки о былом. Хотя, безусловно, кое-что имело бы смысл позже высветлить,



прояснить. Впрочем, всё это — под вопросом. Ведь и так — уже многое сказано. И, конечно, обобщено. Поживём — увидим. Глядишь, что-нибудь напомнит само о себе, напомнит, надеюсь, в нужный час и в нужное время. Пишут сами себя мои книги. По наитию, по чутью.

Помню наши поездки — с Тамани, на пароме, через пролив, с ветром свежим, с кричащими чайками, с ощущением пространства, распахнутого на четыре стороны света, с настроением скитальческим, — в Крым. Поначалу, конечно, в Керчь. А потом — как придётся: пешком, ничего, мы привыкли к этому, по старинке, передвижению человеческому по земле, или, если уж повезёт, то, конечно, на чём придётся — на автобусах, на попутках, иногда и на поездах, всё годилось, — дальше и дальше — в Феодосию, в Коктебель, в Старый Крым, и на южный берег крымский, в Ялту, ещё куда-то, по дороге, было бы только настроение и желание побывать где-нибудь ещё, повидать что-нибудь такое, что обрадует, изумит, что запомнится нам, надолго, что останется побуждением к новым действиям, и немалым, или радужным сновидением, экзотическим, небывалым, непременно, потом — обратно в экспедицию, на Тамань.

Помню Керчь — и в летнем, вместительном, с необычно высокой, белой, разогретой солнцем оградой, зале или кинотеатре под открытым вечерним небом с пылью звёздной — концерт цыган. Пела — Ляля Жемчужная или Ляля Чёрная — точно не вспомнить. Да не всё ли равно теперь? Ведь она была — именно Ляля! Как у Хлебникова, в его творениях, — Ляля на тигре. Чтоб услышать пение Ляли, ну а с ним — и гитары, и скрипки, перелезли мы через ограду и проникли, вот так, на концерт. И цыгане — пели, плясали. И сияли звёзды над нами, кочевые, конечно. И листья шелестели над нами. И ветер, тёплый, южный, повеявший с моря, приносил с собою сюда отдалённые, новые звуки — рокот волн, гул стихии морской, завыванье сирен на судах, находящихся в море, гудки проезжающих где-то машин, отголоски мелодий, далёких голосов, мужских или женских, неразборчивые восклицанья, открываемых окон треск, звон стекла разбитого, смех, детский плач, непрерывный ропот, городской, прибрежный, приморский, видно, дпящийся здесь давно, всем привычный, тысячи лет. А вокруг была — Керчь. Средоточье колоритных дворов узкогорлых. Во дворах этих — жарили мясо на мангалах, жарили рыбу, прямо с моря, живую, свежую, на чугунных, величиной с жернова, больших сковородках, разговаривали, готовили ароматный кофе, шутили, пели, пили, смеялись, ссорились, примирялись, вели беседы задушевные, лускали семечки, жили просто, все на виду друг у друга, словно в известных итальянских фильмах, но всё-таки и по-крымски, очень по-своему, с незаёмными, всюду, страстями, со своими привычками, с буднями, что сменялись какими-то праздниками, жили радостно, так мне казалось, люди керченские, особенные, необычные, люди приморские и морские, люди рыбацкие, сухощавые, загорелые, коренастые, с ветерком в голове, но и с трезвостью явной, люди гордые и простые, солнцем керченским налитые поднимая бокалы с вином, появляясь на шум за окном, как невольные стражи тепла и уюта где жизнь весела и прекрасна, где горестней нет, где спасительный солнечный свет исцелял от недугов и зол, терпкий запах соков и смол, вздох блаженства и пот труда оставляя здесь навсегда для грядущих людей, чтоб впредь было им на что посмотреть, про припомнить, что сохранить, и вилась кручёная нить сквозь года и века, прямо в рай, прямо в невидаль всех событий, чтобы мы, среди наших открытий, на прибрежный смотрели край, как на сказку, в которой впрок дан нам нынче, навек, урок жизни, веры, надежды, любви и всего, что у нас в крови, да и в памяти, оживёт, — до сих пор меня Керчь зовёт отовсюду, зовёт к себе, став родною в моей судьбе, собеседницей давней став, — есть немало на это прав у неё, принимаю — все, пусть со мною, во всей красе, остаётся приморский град, тот, что был мне когда-то рад, что и впрямь легендой живой над порой встаёт грозовой, сберегая меня везде, доверяя моей звезде, щедрость буйную мне даря, чтоб над миром взошла заря новых судеб и новых дней, чтобы помнил всегда о ней. Всё казалось настолько чудесным, что его и сравнить-то не с чем. Шли мы к морю. Вода зелёная пахла чем-то острым, солёным, терпким, крепким, как спирт. Медузы колыхались белёсыми стаями среди камней. Осколками мидий был усыпан весь берег. Дельфины проплывали поодаль, взлетая над волнами и вновь ныряя в глубину. Древний храм вставал перед нами вестью о том, что и мысли, и речи наши, несомненно, материальны, как и время. Кричали горлицы на ветвях тополей и акаций. Вечерело. Уже повсюду зажигались огни. Над городом нависала сизая дымка, постепенно темнея. Ветер незаметно стихал. Мы шли вдоль по улицам, наугад, наобум. Гора Митридат перед нами вставала. И мы поднялись на её вершину.



Там, из щели в камнях, шёл газ. Я поднёс горящую спичку к тонкой, тихой, шипящей, невидимой струйке газа. Вспыхнул огонь. Мы стояли, втроем, у огня. Над огнём. Сквозь огонь — глядели, вниз, и вверх, и вперёд, и назад. Сквозь огонь. Над огнём. У огня. Пламя вдруг разрозлось. Потом стало ровным, спокойным. Там, на вершине, мы ночевали. Возле пламени. Как у костра. Утром — встали. Город под нами, полный жизни, уже пробудившийся, светлый, тёплый, зелёный, звучал новой музыкой — нового дня, новых встреч, расставаний новых, новых будней, новых речей, новых празднеств — чуть погоды, не сейчас, а потом, попозже, новых таинств и новых радостей драгоценного бытия. Корабли стояли на рейде, уплывали куда-то из порта, еле видные, на горизонте, растворялись в синей дали. Море пело, сияло на солнце мириадами отсветов, блёсток, то синело, то зеленело, глубоко, свободно дыша. Возвращаться нам было надо, на Тамань, из этого града, в нём для сердца была отрада, с ним сроднилась моя душа.

Феодосия. Удивительно. Так хотелось бы — зной, песок, полосой прибрежную, длинной, как размотанная чалма муэдзина, да минаретов свечи узкие в небе синем, да арабская вязь, да роз возрастающий, томный запах, да воды в фонтане журчанье, да ажурная, кружевная, на ветру восточном трепещущая, что-то нежное нам лепечущая, изумрудная и сквозная, разметавшаяся, как в сказке — одалиска, желая ласки, шелестящая о былом, или словом, или числом говорящая о покое, вспоминающая такое, от чего и в помине нет сна, листва, золотистый цвет ожерелий, перстней, серьга в ухе, красные, в кровь, кораллы, да турецкие адмиралы, да верблюды, к ноге нога, с колокольчиками, стада лошадей и овец, закаты над стеной крепостной, когда-то отзвучавшие навсегда, как напевов полынных строй, чай, дымящийся в хрупкой чашке, все удачи и все промашки, отсвет пламени за горой, отзвук времени за холмом, призывк имени за громадой града славного, быть отрадой предназначенного порой для того, кто жил здесь, кто пел, хрипловато, легко, протяжно, кто блаженствовал здесь вальяжно, кто отважным стать не успел, потому что другие дни здесь настали, пришло другое, и действительно дорогое замирает вдали, в тени. Минаретов нет — но они обязательно будут. Годы пролетят — увидим восходы веры здешней, её огни различим на башнях в ночи, и зелёное знамя пророка вновь поднимут. Людское око к огоньку восковой свечи вновь привыкнет. Придёт ислам в эти дали — в конце столетья, и взметнётся тугою плетью. И расколется пополам этот мирный, дремотный край. И начнётся — кровей брожение, нарастающее вторжение орд пришедших — в недавний рай. Минаретов — нет. Или — есть? Есть, и много. Уже не счесть? По церквам — колокольный звон. Но кому теперь слышен он? Феодосия. Узкая, плоская полоса песчаных, пустынных, тихих пляжей, до самой Керчи. Что ж, подняться на башню? Смотреть на залив, изогнутый явным полумесяцем, длинным, широким? Очевидец эпохи, скажи, что ты понял и что услышал? Что хранимо в сердце твоём? То ли дикой маслины, лоха серебристого, мелкие, вязкие, ненароком плоды ты попробовал, то ли нечто иное вкусил? Ты стоишь на ветру — и молчишь. Пред тобою — солёная влага. Море Чёрное. Пенная брага. Глина сохлая. Камень. Камыш. Солончак. Но вдосталь садов плодоносных, по всей округе. Петли ветра — гибки, упруги. Столько было земных трудов, столько было небесных благ. Столько было знаменитой свъше. Ты стоишь, окрестные крыши различая. Сделаешь шаг — и взлетишь куда-то. Куда? В поднебесье? Или к забвенью устремимся? Есть вдохновение — да лихие грядут года. Всё придёт в упадок опять? Всё разрушится? Уцелеет? Ясновидящий — одолеет грань незримую. То-то вспять устремляются облака! Возвратитесь назад, вас много. Тень безвременья — у порога. Но за нами — стоят века чередою. Пред нами — путь. Непростой. Но идти нам — надо. Капля мёда и капля яда. Пригодятся когда-нибудь. Капля льющейся с гор воды. Пригуби — как она прохладна! Столь земля эта нам отрадна, что не видим новой беды. Или — видим? Зорче смотри. Зренье пристальней и острее станет. Стяги, над нами рея, ждут прихода новой зари. Феодосия. Как цвело всё былое зубцами башни генуэзской, тоской вчерашней! И легко — и так тяжело. И темно — и светло вокруг. Что ж, понятно, ведь это — юг. И — восток. Да, восточный Крым. Киммерия. Жестокий Рим побывал здесь когда-то. Что ж! Был любой сюда прежде вхож. Кафа. Кофе. Кефаль. В кайфу — город грёз. Присядь на диване. Покури кальян. О кальяне помнишь ты. Поймай на фу-фу хвост мгновенья. Времени ход постарайся замедлить ныне. Дым кизячный едкий в долине. Ключ от вечности. Клич. И — код. Тот, волшебный. Лампа. Сезам. Вход в пещеру. Сокровищ гряда. Пробужденье. Тоска по чуду. Ветви, бьющие по глазам. Открытия. Звёздных карт стародавних тугие свитки. И — сомнения. И — попытка впасть, как прежде порой, в азарт. Может, выпадет нынче фарт. Порт. Мятающийся авангард волн. Фелюги на рейде. Бред? Брод в пространстве. Другого — нет.



Лаз — сквозь время. Подземный ход. В никуда? К веренице льгот. Феодосия. Век — раним. Богом город — всегда храним. Город Богом дарован — нам. Верь — и яви, и вещим снам.

Помню стены домов, заборы, склоны горные, что-то вьющееся наверху, и шоссе внизу, и автобус, куда-то едущий по шоссе, а совсем внизу, далеко, глубоко внизу — зелень сосен и кипарисов, а за ними, конечно, море. Что же помнить? Да что угодно. Можно тысячу раз представить юг и Крым — но всё-таки надо хоть единожды там побывать. Вот и мы побывали там, на приволье. И я побывал. И какие с нами случались приключения! — в наше время и представить трудно себе, что они возможны, реальны, так скажу я, поскольку знаю превосходно, что говорю. Начал я совсем не об этом, но — да в этом ли дело? Разве не в конце — начало всего? Не в начале — развитие темы, феерическая, фантастическая лента, полная фантазмагорий, книга, созданная однажды, бег сквозь время, птичий полёт, ночи, дни, вечера, рассветы на холмах и в горах, прибор мерный рокот, лоз виноградных тяготенье к солнцу, к воде спуск нелёгкий, крутые тропки, степи, травы, ручьи, долины, родники, террасы, аллеи, луч прожектора, лики звёзд, вечной музыки нарастанье и грядущего прозретье, тени зыбкие, шаткий мост, алыча, шелковица, вишни, груши, яблоки, вин столовых запахи резкий, камешки, бухты, водопады, солёный пот, сладость, горечь, печаль и радость, свет нездешний, блаженство, счастье, зной полдневный, дожди, ненастье, пляжи, дачи, сырой песок, створки мидий, жемчуг в ладонях, рыбы, крабы, дельфины, чайки, крик петуший, глаза хозяйки, ахи, охи, улыбки, вздохи, возвращенье былой эпохи, воскрешение дружб людских, речи долгое созретье, примиренье и расставанье, обещанья, воспоминанья, — чем сегодня заменишь их? Это мой, и надолго, Крым, и другого такого — нет. И не будет, увы. Засим — загорается ясный свет на пути моём. Знаю, вскоре вновь скажу я: там было — море.

Широкий, протяжный, рокочущий, клубящийся, плещущий, длящийся, может, час, может, день, может, год, может, целую вечность, раскат... Волна за волной, непрерывно, магнетически, целенаправленно, словно тянет их, тянет сюда какая-то властная сила, словно к берегу надо добраться им непременно, и поскорее, и разбиться с размаху, со стоном, с диким грохотом, о песок и о камни узких полос обезлюдивших пляжей окрестных, и опять откатиться назад, и потом возвратиться сюда, то нахлынут валами кипящими, то отхлынут, образовав белопенные завихрения, круговые воронки, и вот, повернув обратно, идут грозным фронтом, прямо на вас, мой возможный читатель, на всех, в отдалении и вблизи от стихии, на всё вокруг, чем известен и славен юг, вдохновляясь разбегом сим и сживаясь надолго с ним.

Так слушай и молча смотри, ни о чём не гадая, как море шумит или скалы трепещут, спадая туда, где пространство в другом измеренье встаёт, — ты помнишь, как жемчуг ушёл, словно тельце моллюска? — и некого нам обвинить, и корить ни к чему, — и ящерка разом возникнет, застынет и слушает музыку, — некая суть для меня, похоже ясна — этой бухты и этой эпохи, — и нечего мне объяснять — это взмах, а не вздох, — живёт человек — вот и любит он море, большое, как в детских глазах, — да и море ведь любит его, — живёт человек — предназначенный, — то-то простое утешит его — ну а сложностей вдосталь вокруг, — и век ему долгий, наверное, будет отпущен, чтоб жил, понимая, — храни его в мире, Господь! — живёт человек — вот и любит он море — седое астральное действо на стогнах больших городов, на грани безумства иль таинства, — так и живёт — и всё тут — как выпало, вышло, сложилось, сказалось, — и жемчуг прохладный в ладонях его удержался — тогда ли? — в том августе — вспомним ли ныне? — тогда...

Столь давно это было, увы, что подумаешь: в самом ли деле сквозь горячий настой синевы мы в морское пространство глядели? Что за вздох отрывал от земли, что за сила к земле пригвождала? Люди пели и розы цвели — это в том, что живём, убеждало. Что за звёзды гнездились в груди, что за птицы над нами витали! Костный мозг промывали дожди, как об этом даосы мечтали. Шёл паром, и вослед за грозой норовили сорваться предгорья, и Азов закипал бирюзой, и угрозою — зев Черноморья. Смуглокожею девой Тамань зазывала в азийские дали, раскрывая привычную длань, чтобы бризы песчинки сдували. Что же Юг от жары изнывал и пришельцам беспечным дивился? Видно, в каждом уже прозревал то, чего от других не добился. Пот горячий, солёная блажь, невозможная, лютающая жажда! Что теперь за былое отдашь? Не бывать неизбежному дважды. Путь упрямец — единственный путь, по которому выверить надо всё, чего не страшились ничуть, все подробности рая и ада.

Все подобия сути — тщета перед нею, настолько простою, что усталых небес высота обернётся мирской красотой. Руки, братья, скорее сомкнём в этой жизни, где, помнится, с вами не впервые играли с огнём, как никто, дорожили словами. Кто же выразит нынче из нас наши мысли о вере и чести? Невозвратный не вымолишь час, где, по счастью, мужали мы вместе. Так иди же в легенду, пора, где когда-то мы выжили, зная в ожиданье любви и добра, что судьба не случайна такая.

Радуга над округою. С круговою порукою. Все её семь цветов — каждый хранить готов.

Пагода — над бездонною пропастью. Мгла солёная. Поворожила всласть. Музыка. Весть и власть.

Мандельштам говорил о прозе:

— Прерывистый знак непрерывного.

Совершенно верно. И лучше — о прозе — пожалуй, не скажешь.

Только что сказать — о моей, необычной, прозе поэта, если проза моя зачастую и не проза совсем, а поэзия?

(Появился внезапно Феллини. Словно давний мой талисман. Прилетел — с высоких небес. Ну конечно, с Джульеттой Мазиною. У которой в руках была та, из фильма «Дорога», серебряная, иногда над миром звучащая, и волшебная, видно, труба.

Посмотрели супруги — вдвоём — на меня. Головами кивнули. Мол, держись. В работе — спасение. Надо выстоять — и победить. И Джульетта Мазина вновь на трубе своей заиграла. И тогда — отголоском хорала — в небе вспыхнуло слово: быть).

Ведь есть на земле — поэт. Особенный. Небывалый. Другого такого — нет. И — не было. Так? Пожалуй. Тем более, речь его — вселенские связи. Тайны. Стихий — сквозь явь — торжество. И всё это — не случайно. Над миром его — покров: с высот неземных. Небесный. Над россыпью звёздных слов. Над жизнью, что стала песней. Над музыкой бытия. Над всем, что призваньем стало. Наития и чутья слиянье. Чудес начало. Движение дум и чувств. Служения продолженье. Сближение всех искусств. Прозрение. Постиженье. Свершений грядущих свет. Открытая днесь дорога. И есть на земле — поэт. Поэзия — дар. От Бога.

Не для себя. Для всех. Живущих надеждой, верой, любовью. Для всех живых. Для душ и сердец людских.

Вовсе не для себя говоря. Обращаясь — к людям. Слышат. Поймут. Придут. Ведь обозначен — Путь.

Голос. В который раз — пение. Прорицанье. Снова впадая в транс. Ввысь уходя — сквозь мрак.

Время с пространством — здесь, рядом. За ними — тени тех измерений, где встретимся мы — потом.

Ночь, за которой вдруг разом встаёт — сиянье. Жертвенность. Подвиг. Долг. Призванность. Весть и страсть.

Се — тот поэт. И с ним — празднество и единство сущего. Слову — быть. Сказанному — для всех.

Музыка. И мольба. Мистика. И молитва. Что же ещё? Судьба. Денно и ночью — битва. С тьмою. С бездушьем. Зов. Крик. Или шёпот? Лепет? Взгляд. За которым — кров. Шаг. За которым — трепет. Вызов. Любому злу. Кротость. И — крепость. Сила. Взлёт и прорыв — сквозь мглу. Вдох по тому, что — было. Слава. Всему, что — есть. Право. На всё, что — выше. Речь. Озаренье. Честь. Чужа. Внимая. Слыша. Полифония. Круг. Летопись. Откровенье. Светопись. Чистый звук. Рвенье. И — дерзновенье. Знак, различимый вмиг. Злак. Утоление жажды. Жизнь. И — страницы книг. Тех, что поймут однажды.

ИСТОРИЯ ГЕРМАНСКОГО КОНСУЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКЕ*

9. Перевод Гросскопфа Генеральным консулом в Киев. Новый сибирский консул Мейер-Гейденгаген

В ноябре 1932 года Германский посол в Москве фон Дирксен поставил перед МИД вопрос о преобразовании сибирского консульства в генеральное. Огромный регион, обслуживаемый консульством, заслуживал, по его мнению, гораздо большего внимания германского правительства, сообразного с тем, какое оказывало ему правительство советское. Индустриализация, писал посол, вызвала к жизни в Сибири крупные промышленные предприятия: Кузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты, разработку угольных месторождений в Кузбассе и Караганде, химическую промышленность в Кемерово, Белово, огромный мелькомбинат в Новосибирске. Таким образом, самый большой консульский округ в мире стал и одним из самых важных в экономическом отношении, ибо в нем — «куется вооружение СССР». Вторая причина — бурный рост числа германских рабочих и специалистов в Сибири. Третьей причиной являлось «блестящее руководство делами Гросскопфа», ранг которого необходимо было поднять до генерального консула¹. Но МИД не нашел тогда возможности из-за «бюджетно-правовых причин» реорганизовать консульство в Новосибирске.

Однако посол не оставил своих забот о Гросскопфе. Предложения относительно его дальнейшей карьеры посол вынужден был повторить в секретном письме советнику посольства Понсену в июле 1933 г.: «Вы знаете, как высоко я ценю работу, которую проводит в Новосибирске консул Гросскопф; он в своем роде незаменимый здесь человек. И если бы я исходил из сугубо служебных, эгоистических соображений, я должен был бы и дальше настаивать на том, чтобы он оставался на своем месте еще неограниченно долгое время. Но дело в том, что я, в результате многолетних наблюдений, пришел к выводу, что дальнейшее пребывание его в Новосибирске не пойдет ему на пользу. Своим восьмилетним трудом на этом тяжелейшем с точки зрения вреда для здоровья, обременительности службы и просто по-человечески труднейшем посту, он снискал выдающиеся заслуги. Поэтому я убежден, что он заслуживает другого поста и должен его получить. Состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Дальнейшее его пребывание в Новосибирске может навредить и его работе, и его здоровью. Все это трудно доказать, во всяком случае, сам господин Гросскопф, воспитанный в чрезвычайном почтении к прусским служебным традициям, никогда не покинет вверенный ему пост, пока он еще в состоянии и дальше работать. Зная хорошо его натуру, а также общие служебные и местные новосибирские обстоятельства, я думаю, что не ошибаюсь в выводах»².

Ставя перед МИД вопрос о переводе Гросскопфа в более подходящее для него место, посол сожалел о том, что все посты генеральных консулов на территории СССР уже заняты. Посол не видел также возможного преемника, обладающего такими же служебными качествами, какими обладал Гросскопф, и столь же соответствовавшего требованиям, которые предъявляет пост новосибирского консула, один из тяжелейших в СССР.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2013, №№ 6, 7.

¹ D.B.M. an das AA. 29.11.1932 // Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes, Bonn — Berlin (PA AA). R 84215.

² Brief von Dirksen an das AA (Ponsen). 3. 07. 1933 // PA AA. Personalia. Bd. 199 (3).

19 августа 1933 г. президент германского рейха Гинденбург присвоил Гросскопфу звание консула первого класса, выразив надежду, что получивший повышение консул оправдает оказанное ему доверие и будет и далее верно служить своему отечеству³. Но Дирксен продолжал настаивать на повышении ранга новосибирского консула. Еще одно представление о том последовало 17 января 1935 г. В нем вновь подчеркивалось растущее экономическое значение Сибири, отдаленность ее от центра, сложность проблем, которые приходится решать консулу. В представлении особо отмечалась роль сибирского консульства в отслеживании дел Советского Союза в западной провинции Китая Синьцзяне. «Под блестящим руководством Гросскопфа, — констатировалось в нем, — консульство получило известность среди всех органов, занимающихся германскими гражданами — специалистами, работающими в СССР. Заботы о них заставляли его предпринимать многочисленные поездки по округу и на недели покидать место службы».

Немаловажным поводом для перевода Гросскопфа в более благоприятное по климатическим показателям место службы было, как справедливо указывал посол, здоровье. Он действительно страдал «жесточайшим воспалением среднего уха», в 1926 году делал операцию в клинике «Hugisa» в Берлине у известного отоларинголога д-ра В. Антона. С начала 1930-х годов его мучил суставной ревматизм и вынуждал проводить отпуска в клиниках и на водах.

Сам Гросскопф, ожидая перемен в своей карьере, также не сидел сложа руки. Во время зимнего отпуска 1933—1934 гг. он занялся поисками следов своего арийского происхождения и представил в МИД убедительные доказательства такового. Согласно закону от 7 апреля 1933 г. об обновлении штата государственных служащих, все они должны были заняться пересмотром своих биографий и доказать лояльность новому режиму. Закон был направлен против евреев и коммунистов, от которых государственный аппарат подлежал очищению⁴. Только те высокопоставленные чиновники, чья служба началась еще до мировой войны, а также участники войны, фронтовики, освобождались от необходимости представлять подробные данные о своей жизни и карьере⁵. Кстати сказать, Гросскопф тоже входил в число этих лиц. Но, вероятно, ему самому были приятны поиски архивных данных о предках, которым он посвятил 10 дней своего отпуска.

В 1935 году фюрер удостоил Гросскопфа высоких наград. Сначала он получил Почетный крест фронтовика (12.01.1935), а затем и Рыцарский крест Королевского Шведского ордена Северной Звезды (2.09.1935). Теперь Гросскопф определенно мог бы получить дворянское звание (традиционно пietet перед этим званием сохранялся, хотя оно и было отменено в Веймарской республике), которое он выслужил еще в 1915 г. после награждения Рыцарским крестом второго класса Королевского Саксонского ордена Альбрехта. Но тогда представление МИД о дворянском звании исполнено не было.

В сентябре 1935 г. Гросскопф вступил в НСДАП и принял участие в партийном съезде, где был представлен фюреру. Ему, как и всем государственным служащим рейха, пришлось принести новую клятву, введенную законом от 20 августа 1934 г. «О приведении к присяге служащих и солдат вермахта» (*Gesetz über die Vereidigung der Beamten und der Soldaten der Wehrmacht*); клятва гласила: «Клянусь быть верным и послушным фюреру Германского рейха и народа Адольфу Гитлеру, свято соблюдать законы и выполнять служебные обязанности. Да поможет мне Бог»⁶.

Наконец 7 ноября 1935 года МИД принял решение о переводе Гросскопфа генеральным консулом в Киев. В связи с переносом столицы Украинской ССР из Харькова в Киев была проведена реорганизация консульств: киевское консульство Германии стало генеральным, а харьковское — просто консульством. Назначение Гросскопфа одобрил представитель фюрера в НСДАП М. Борман⁷, а 24 августа 1936 г. подписал и сам рейхсканцлер Адольф Гитлер.

³ PA AA. Personalien. Bd. 199 (3).

⁴ См. подробнее об этом законе в 5 главе «Die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» монографии Ганса Моммзена: Mommsen Hans. *Beamtentum im Dritten Reich. Mit ausgewählten Quellen zur nationalsozialistischen Beamtenpolitik*. Stuttgart: Deutsche-Verlags-Anstalt, 1966. S. 39—61.

⁵ Закон закрыл доступ всем не арийцам в официальные служебные учреждения. См.: Herwarth v. Hans. *Zwischen Hitler und Stalin. Erlebte Zeitgeschichte 1931 bis 1945*. Berlin, Frankfurt/M., 1982. S. 108.

⁶ *Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellungen*. Bd. 9. Weimarer Republik und Drittes Reich. 1918—1945. Hrsg. Von Heinz Hürten. Stuttgart, 1995. S. 242.

⁷ Brief von Borrmann an von Neurath (Письмо Бормана г-ну рейхсминистру внешних сношений фон Нейрату). 27. Juli 1936 // PA AA. Bd. 199 (3).

В декабре 1935 г. начались хлопоты, связанные с переездом. Надо было передать дела (каассу, документы, инвентарь) Кестрингу, упаковать и отправить вещи. Вещей же за 13 лет пребывания в Новосибирске Гросскопф накопил немало. Консульство, объяснял он, очень много «презентировало»: «В консульстве, которое обслуживали четыре высокооплачиваемые работницы, не было коллекций картин, серебра, дорогого фарфора, ковров и проч., зато было много мебели, посуды и всего того, что необходимо для обслуживания многочисленных собраний и приемов». Вещи упаковывали сами, поскольку обслуживающий персонал уже исчез из консульства (почему — будет рассказано дальше). «Хотя мы с женой целую неделю неутомимо трудились, только сегодня, — писал Гросскопф 21 января 1936 г., — уложили последние ящики. Всего у нас ящиков шестьдесят, это целый товарный вагон весом в 20 тонн»⁸.

Когда встал вопрос о том, кто мог бы заменить Гросскопфа, в МИДе вспомнили о Мейер-Гейденгагене [1]. Поиски нужной кандидатуры шли с 1933 года. Требовался человек с совершенным знанием не только русского языка, но и обстоятельств русской жизни. 58-летний Мейер-Гейденгаген оказался в этом смысле лучшим. За плечами у него был огромный опыт имперской службы, на пенсию он вышел с должности заместителя референта по восточным вопросам отдела прессы, считался одним из лучших специалистов в области политической жизни СССР. МИД устраивал и почтенный возраст претендента на консульскую должность в имевшем «слишком мало культурных услуг» сибирском городе, явно не подходившем привыкшему вести светскую жизнь молодому человеку.

17 июля 1936 года, после экзамена на знание языков и защиты научной работы по истории немецко-русских связей, Мейер-Гейденгаген в чине консула второго класса получил патент на занятие должности новосибирского консула; 23 сентября 1936 года он прибыл к месту службы⁹.

Воспользовавшись сменой консулов, советские власти ограничили Сибирский консульский округ. Экзекватура Мейер-Гейденгагена, подписанная Н. Н. Крестинским 29 сентября 1936 г., признала его служебным округом только Западно-Сибирский край с центром в Новосибирске. Новые административные образования — Восточно-Сибирский край, Челябинская область, республики Киргизия, Казахстан и Якутия, а также Красноярский край и Омская область, в 1934 г. выделенные из ЗСК, вышли из-под опеки нового консула¹⁰. По территории Сибирский консульский округ приблизился к служебному округу советского консульства в Гамбурге, куда входили Бремен, Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург. Все выделенные из него регионы были подчинены консульскому отделу посольства в Москве.

Вербальная нота германского посольства, содержащая возражения против этой акции, была отвергнута. «Все наши аргументы и ссылки на дисперсно проживающих по всей Сибири и основательно осевших там германских граждан, обслуживание которых из Москвы практически невозможно, и на некорректность проведения параллелей между ними и японцами или китайцами, которые пребывают там лишь временно в течение сезона, советская сторона считает абсолютно недостаточными. Нас постоянно убеждают в том, что дела германских граждан можно урегулировать быстрее и успешнее через Наркомат иностранных дел, нежели путем непосредственной переписки консульства с беспомощными местными властями в Сибири. Мы получили решительный отказ и на наше предложение распространить консульский округ по крайней мере на всю Западную Сибирь, Омск, Челябинск, Красноярск и Восточную Сибирь, и передать Казахстан с Киргизской республикой посольству в Москве, а Якутию — консульству во Владивостоке», — сообщал в МИД посол¹¹.

К этому времени ограничение территории консульских округов стало одним из направлений деятельности НКВД. Уже весной 1936 года, при вступлении в должность нового китайского консула,¹² в его ведении вместо всего Западно-Сибирского края, включая Красноярский край и Омскую область, остался один город Новосибирск. Аналогичная акция была проведена и в отношении японского консула в Новосибирске Коянаги. НКВД внушал немецким дипломатам мысль о том, что если выполнить их просьбу в отношении Сибирского консульского округа Германии, то надо будет удовлетворять и аналогичные претензии японского и китайского представителей. Вообще же, действия советского руководства в отношении ограничения

⁸ PA AA. Personalia. Bd. 199 (3).

⁹ PA AA. Personalia. Meyer-Heydenhagen. Bd. 501 (1).

¹⁰ D.B.M. an das AA // PA AA. Personalia. Bd. 199 (3).

¹¹ D.B.M. an das AA. (Tippelskirch). 8. November 1936 // PA AA. Bd. 199 (3).

¹² Китайское консульство в Сибири возобновило свою деятельность в 1934 г., теперь уже в Новосибирске, который и стал в 1936 г. территорией его служебного округа.

немецких консульских округов означали не что иное, как нарушение договора 1925 г., согласно которому такие изменения округов могли произойти исключительно в порядке взаимного соглашения договаривающихся сторон.

Все это могло означать только одно: советское руководство не желало более допускать иностранные представительства в известные «дефицитные» области и расширять их информационные возможности. Как считали в Аусамте, именно из нежелания терпеть «соглядатаев происходящего» оно воспрепятствовало в свое время открытию германских консульских представительств в Саратове, Баку и Туркестане¹³. В Аусамте не сомневались: НКВД намеренно создавал такие условия работы иностранных консульств, которые привели бы вскоре к полному прекращению их деятельности.

Итак, новому германскому консулу в Новосибирске пришлось утешиться заверениями дипломатического агента Терентьева, представлявшего в Новосибирске интересы НКВД, что ему вполне хватит Западно-Сибирского края, хотя большую его часть и составляют тайга и тундра. Консул же полагал, что в связи с территориальными потерями, в особенности Омской области, Берлин утрачивал в Сибири «значительную часть своих интересов», связанных в первую очередь с немецкими колониями¹⁴.

10. Последние известия консула Гросскопфа из Новосибирска

Последний обстоятельный доклад Гросскопфа (на 18 листах) под названием «Экономическое и политическое развитие служебного округа Новосибирска в 1934 г.» был датирован 21 декабря. Анализ состояния дел был, как всегда, критичен, но все же в целом положение в округе характеризовалось им как стабильное. Гросскопф считал, что 1934 год был удачным годом внешнеполитического развития СССР. Улучшилось экономическое положение страны ввиду двух последних урожайных годов. Сделаны значительные шаги в индустриализации, в том числе в Сибири, на Урале и в Казахстане. Повысился уровень инженерно-технических и управленческих работников, искоренены окончательно все оппозиционные течения в партийной организации¹⁵.

На смену докладам пришли краткие известия, посвященные отдельным сюжетам или событиям. Основное внимание консула занимали правовые вопросы, связанные с положением германских граждан.

Не иссякал интерес и к проблемам военного развития страны, однако он удовлетворялся, главным образом, наблюдениями, полученными на военных парадах. Гросскопф был непременным участником парадов войск Сибирского военного округа, которые проводились ежегодно 1 Мая, в День международной солидарности трудящихся, и 7 ноября, в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Ниже приводим целиком донесения Гросскопфа, связанные с проведением ноябрьского парада 1935 года в Новосибирске.

Донесение консула Гросскопфа в Германское посольство в Москве от 6 ноября 1935 г. (РА АА. Bd. 71)

Содержание: Празднование 7 ноября. Предварительный отчет.

В честь нынешних революционных торжеств агент Наркоминдела прислал приглашение на прием, на традиционный парад и на праздничный банкет. Но что касается приглашения Горсовета на торжественный акт в Государственном театре, проводившийся регулярно вечером 7 ноября, то в этом году оно впервые отсутствовало.

Можно не сомневаться в том, что это приглашение не состоялось из-за указания из Москвы, и что его мог вызвать разговор госп. советника Твардовского с госп. Бессоновым.

¹³ Правда, НКВД объяснял свою позицию иными причинами: «Саратова мы не можем дать им из-за нежелания установить контакт между Германским Консульством и Немреспубликой, а Баку из-за нежелания создать прецедент для будущих требований Франции, Италии, и в особенности Англии». По этим же соображениям «не могло быть и речи о Ташкенте». Из писем заведующего Отделом Центральной Европы НКВД Штейна полпреду СССР в Германии Крестинскому от 20 ноября и 7 июля 1926 г. о консульской сети в СССР. См.: Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Ф. 82. Оп. 12. П. 42. Д. 58. Л. 21, 30, 31.

¹⁴ Meyer-Heydenhagen an die D.V.M. 9.10.1936 // РА АА. Personalia. Bd. 501 (1).

¹⁵ РА АА. Bd. 352.

Появившиеся уже сегодня в «Советской Сибири» праздничные призывы ясно показывают, в каком тоне будет звучать торжественная речь (доклад). В своей основе это пропаганда против Германии. Все другие государства едва упомянуты. В статье «Враги человечества», автором которой значится некто Ал. Панин, вожди национального движения, правда, обобщенно, без упоминания имен, названы «надутыми карликами», «кровожадными уродами», «куклами на веревочках, за которые дергают господ Тиссен и Ко», «лжецами», «демагогами» и т. п. Национал-социализм поставил Германию на грань голода, число безработных достигло 6 миллионов, заработная плата с 1929 года сократилась вдвое, цены на продукты питания удвоились и утроились. Особо следует указать на то, что *продукты питания, якобы, практически отсутствуют на немецком рынке*, и предстоит введение продуктовых карточек, про которые в Германии уже все забыли. Предстоит переход на голодный рацион, в результате чего трудящаяся и страдающая Германия получит камень вместо хлеба.

Еще более угрожающим выглядит положение в области духовной культуры. Сжигание книг, еврейские погромы, расовый фанатизм, оголтелая пропаганда германского героизма родом из каменного века, распространение мистицизма, подавление инакомыслия и любого свободного слова, преследование выдающихся представителей немецкой науки и культуры, триумф мелких литературных обывателей и подхалимов, готовых лизать фашистские сапоги, — одним словом, *глубочайший упадок и разложение характеризуют культуру Третьего рейха*.

Немецкие ученые — теперь всего лишь «неквалифицированные рабочие» германской науки, они используются в военных целях и заняты исключительно созданием новых средств уничтожения, таких как бактерии и т. п.

«Фашизм означает войну, — говорится далее, — дикую, беспощадную войну, машину для уничтожения народов. Каждое фашистское государство, будь то Япония, Польша, Италия или Германия, существует ради единственной цели — подготовки войны... И наше полное жизни, развивающееся и цветущее отечество предназначено в жертву фашизму... Но железный кулак нашей Красной Армии разобьет аггрессора... Грязь капиталистического мира будет безудержно сметена с пути. Мы знаем, что встретим день сияющей радостью коммуны. Будущее принадлежит нам!»

Еще одно примечное место под названием «Планы и аппетиты германского фашизма». Это сообщение парижского ТАСС-бюро от 3.11. о статье сотрудника газеты «Эхо Парижа» Пергинакса, в котором приведена цитата якобы из речи Президента Имперского банка Шахта: «Рано или поздно мы разделим с Польшей Украину».

Что же касается похвал (похвал советскому строю. — *Ред.*) Дюранти¹⁶ в его недавно вышедшей книге, то они преподнесены читателям как соответствующие действительности, подтверждающие советские достижения.

В подтверждение сказанного сопровождаю свое донесение вырезками статей и политической карикатуры из «Советской Сибири», а также статьей из здешней немецкой коммунистической газеты «Коллективист», посвященной положению дел со снабжением продуктами питания в Германии.

Улицы в городе украшены обычными для такого дня плакатами и лозунгами, которые не содержат никаких прямых выпадов против Германии.

О том, как пройдут торжества 7 ноября, я сообщу позднее.

Гросскопф

Описание военного парада в честь 18-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Новосибирске 7 ноября 1935 г. (РА АА. Bd. 71)

Военный парад 7 ноября в предыдущие годы состоял только из прохождения торжественным маршем войск гарнизона перед главами советских властей. В этом году он впервые был организован по московскому образцу. На главной улице рядом с «Горсоветом» были снесены несколько деревянных домов, и на их месте распланирован бульвар, образовавший необходимую для парада площадь. На ней были сооружены две трибуны для руководства, «стальных людей» (сотрудников НКВД. — *Ред.*) и консульского корпуса, и построены войска.

После того как командующий Сибирским военным округом Гайлит объехал строй, поприветствовал войска и сказал речь, начался торжественный марш.

¹⁶ Дюранти Уолтер — британский журналист, в 1922–1936 гг. возглавлял Московское бюро «Нью-Йорк Таймс», положительно оценивал происходящее в СССР, получил известность своей просоветской ориентацией.



Кроме двух пехотных полков, которые везли пехотные орудия, и одного легкого артиллерийского полка, впервые появился кавалерийский полк из 3-х конных и одного пулеметного эскадрона (MG), которого прежде не показывали или его тогда еще не было. Новыми были также: войска химической защиты (газовые), летные войска, один гаубичный полк (152 мм), прожекторные войска, моторизованные войска связи с радиоприборами на грузовиках.

В качестве «моторизованных войск» раньше показывали обычные 2½-тонные грузовики, на которых устраивались из поперечных досок сиденья для пехотинцев. В этом году впервые были настоящие, для транспортировки военных построенные грузовые машины, каждая на 25 человек. Передние ряды команды состояли из прикрытия с пулеметами Льюиса (MG Lewis) и Мадсена (MG Madsen). Кроме того, были показаны моторизованная полевая артиллерия — по 2 орудия на одном грузовике, и зенитки, тоже по 2 на грузовик. На сибирских дорогах такие моторизованные соединения могут быть использованы только сухим летом и при особо благоприятных обстоятельствах. В воздухе проманеврировали около 3-х эскадрилий агитационных самолетов.

«Комбинированный полк ГПУ», прежде носивший название «Сибирская гвардия», на этот раз отсутствовал. Очевидно, с его помощью было образовано обрамление в новом построении войск. Думаю, что я не ошибусь, если предположу, что и в лошадях сивой масти пулеметного эскадрона кавалерийского полка, и в лошадях конного эскадрона можно было узнать лошадей прежнего полка ГПУ.

Выправка команд оставляла желать лучшего. Да и форма выглядела весьма посредственно.

Во время марша перед трибуной у тяжелой гаубицы сломалось колесо. Пришлось оттащить орудие на боковую улицу. Лошади в артиллерийских упряжках во время марша налезали друг на друга и сталкивались друг с другом. Весьма достоверный источник сообщил мне, что командиры Красной Армии, наблюдавшие в качестве зрителей это фиаско, говорили: «Опозорились на весь мир».

Гросскопф

Дополнение о революционных торжествах в Новосибирске 7 ноября.

12 ноября 1935 г.

(РА АА. Bd. 71)

О речах, произнесенных на заключительном акте празднования дня революции — собрании в Государственном театре, — пресса не привела сколько-нибудь значимых известий. Главную речь держал Новосибирский городской партийный секретарь. Согласно краткому изложению его речи, он ограничился лишь общими фразами против фашизма и не допускал никаких особых нападок на Германию и национал-социализм. Выпады против Германии, во всяком случае, в прессе не были повторены.

Среди плакатов, которые несли в своих рядах демонстранты, были заметны всего два враждебных Германии. Это был монтаж из политических карикатур, незадолго перед тем появившихся в «Известиях».

Тексты революционных плакатных лозунгов на зданиях в сравнении с сильными выражениями прошлых лет были вполне умеренными.

Гросскопф

Описания парадов, как и другие донесения Гросскопфа о военных делах, были выполнены со знанием дела (не будем забывать, что он бывший офицер, участник войны). Гросскопф хорошо разбирался не только в организационном строении Красной Армии, но и в технических вопросах, в истории военного дела в России. Наблюдая прибытие в Новосибирск для участия в зимних маневрах Пермской стрелковой дивизии, экипированной в белые маскхалаты и белые же лыжные костюмы, он писал: «Не могу не обратить внимания на превосходное обмундирование Красной Армии. В то время как городское население и даже рабочие, трудящиеся в сильные морозы на свежем воздухе, одеты чрезвычайно плохо, а крестьяне вообще не снабжаются ни обувью, ни одеждой, каждый красноармеец имеет отличные валенки, теплый, до колен, полушубок и теплые рукавицы. Зимняя одежда Красной Армии, вне всякого сомнения, лучше, чем в царской армии». В дивизии, отметил консул, были аэросани, сани с мотором для транспортировки солдат, бензина и пр.¹⁷

¹⁷ Bericht 3.04.1931 // РА АА. R 31688.



Среди сообщений консулов в то время важное место стали занимать также отчеты о проведенных в консульствах празднованиях национальных торжественных дней. Уже в 1933 г. было устроено празднование национального Дня германского народа 1 мая. Как сообщил Гросскопф, немецкая колония Новосибирска собралась у него «почти полностью», и «предписанный... День национального труда был отмечен с положенным ему национальным воодушевлением»¹⁸.

Затем к числу праздников добавились годовщина прихода к власти Гитлера, 30 января, праздник урожая в начале октября (Октоберфест) и другие. В Новосибирске, удаленном от Германии на тысячи верст, торжественные речи приходилось произносить консулу или секретарю¹⁹; к праздникам готовились, украшали здание всеми доступными средствами, рассылали приглашения. Правда, из официальных лиц участниками торжеств в последние годы оставались только китайский генеральный и японский консулы, которые наносили визит своим соседям в обеденное время вместе со своими сотрудниками.

В 1937 году в новосибирском консульстве появился радиоприемник, стали слушать поздравительные речи Гитлера и другие передачи немецкого радио, петь хором, в том числе германский гимн и приравненную к национальному гимну песню о Хорсте Весселе, «герое-мученике» нацистского движения.

Впрочем, тот факт, что консул Гросскопф и его последователь Мейер-Гейденгаген не состояли (и не могли, конечно, состоять) в прямой оппозиции национал-социализму, кажется нам малозначительным в истории сибирско-германских отношений. Изученные документы свидетельствуют, что официальные советские власти не видели большой разницы между празднованием Дня Веймарской конституции и празднованием Дня захвата власти Гитлером, а ограничения деятельности германского консульства в Новосибирске начались еще до наступления реальной «фашистской опасности».

11. Изоляция германских представительств от внешнего мира и начало шпионских скандалов вокруг консульства в Новосибирске

В 1934 году ОГПУ начало возводить вокруг новосибирского консульства свою шпионскую сеть. Гросскопф обнаружил это обстоятельство в апреле, услышав жалобы посетителей на то, что некие штатские лица фотографируют их у выхода из консульства. Затем начались допросы посетителей, которым в качестве доказательства их связи с консулом стали предъявлять соответствующие фотографии. Об этом факте консул сообщил послу и высказал в письме свои соображения по поводу организации сотрудниками ОГПУ слежки за консульством. Ей весьма благоприятствовало расположение консульского здания, зажатого между жилыми домами, в которых проживали советские и партийные работники и сотрудники ОГПУ, пятиэтажным зданием самого ОГПУ на параллельной улице, с трех верхних этажей которого отлично был виден каждый посетитель, и гостиницей Советов на западе. Со всех этих объектов можно было удобно вести не только наблюдение за входом в консульство, хорошо освещенным весной и летом до самого вечера, но и фотографирование посетителей.

Консул полагал, что это было делом рук нового шефа ОГПУ Алексеева, бывшего руководителя Информотдела ОГПУ в Москве, сменившего уехавшего возглавлять ПП ОГПУ в Ленинграде Заковского²⁰. Однако это было проявлением общей политики по отношению к иностранным представительством в СССР, прежде всего «недружественных» СССР стран, к числу которых относилась теперь и Германия. К началу 1935 года наблюдение агентов ОГПУ²¹ за миссиями и консульствами Германии, Италии, Японии, Турции стало обычным делом. Известные штатские лица не только взяли в кольцо представительские здания, но стали сопровождать их персонал во

¹⁸ Bundesarchiv. R 9215. Bd. 380. S. 130.

¹⁹ «Поскольку здесь не было национал-социалистической ячейки, праздничные речи приходилось произносить мне; при этом я старался подчеркнуть значение 30 января как дня основания Третьего рейха и показать те успехи, которых он достиг в нашем отечестве», — сообщил в 1936 г. Кёстринг // Bundesarchiv. R 9215. Bd. 380. S. 66.

²⁰ Grosskopf an die D.B.M. 10.04.1934 // PA AA. Bd. 82.

²¹ Хотя в 1934 г. ОГПУ было упразднено и создано Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в системе НКВД СССР, новая аббревиатура не сразу вошла в обиход (что отражено и в документах того времени), поэтому здесь и далее, в уместных случаях, оставлено прежнее именование ведомства. — *Прим. ред.*



время передвижения по городу. «Кроме милицейских постов вокруг здания стоят агенты ГПУ в штатском. У них задание: сопровождать персонал консульства, когда он покидает здание», — сообщил 13 марта послу одесский консул. Как провокации расценивались появления в консульствах «людей сомнительного вида с предложениями достать разного рода секретные материалы»²².

3 февраля 1935 г. в 19 часов вечера четыре милиционера попытались проникнуть в здание новосибирского консульства, якобы по вызову консула. «Швейцар, открыв дверь, — писал в своем донесении Гросскопф, — позвал меня. Я увидел двух милиционеров, стоящих перед дверью, и еще двух — чуть поодаль, у забора палисадника. На мой вопрос, что им нужно, они ответили, что наряд вызван консулом. Я сказал, что это недоразумение или что они неверно поняли свое задание. На вопрос, принадлежит ли здание консульству, я ответил, что да, это германское консульство, но, возможно, вас вызвали из другого консульства, японского или китайского, расположенных чуть дальше по этой же улице. Они направились туда». Попытка проникновения повторилась 8 февраля²³.

23 марта в консульстве без всякого предупреждения был отключен параллельный телефон, установленный в апреле 1932 года с целью установить лицо, в течение шести недель терроризировавшее консула. Некто звонил тогда в консульство, угрожал повесить, убить консула. Лицо установлено не было, но телефон остался и был срезан теперь, якобы как ненужный²⁴.

В апреле 1935 г. начались аресты людей, имевших с консулом ту или иную связь.

По мнению нового посла фон Шуленбурга, предпринятая на консульства атака была своеобразной платой за сопротивление Германии вступлению в планируемый Советским Союзом Восточный пакт. «Наша политическая позиция по отношению к Советскому Союзу не претерпела существенных изменений», — писал он в шифрограмме консулам и советовал им соблюдать, как и прежде, доброе отношение к СССР и вести себя, по возможности, корректно, не реагируя на провокации. Однако при этом твердо заявил, что Германия не собирается платить за эти отношения такую особую цену, как Восточный пакт²⁵.

ОГПУ держало сибирского консула в поле своего зрения, очевидно, со времени его появления в Сибири. Еще в 1926 году была предпринята первая попытка обвинить его в шпионаже²⁶. В 1932 году, во время поездки в поездке из Москвы через Дюнабург в Ригу, он подвергся нападению. Ехавший в соседнем купе человек, по виду советский чиновник высокого ранга, проник ночью через общий умывальник и разобранную дверь в его купе, одурманил его неким наркотическим средством, проверил его багаж, заодно забрал 400 рублей советских денег и 10 рейхсмарок, а опустевший кошелек набил бумагой, чтобы пропажа не была сразу обнаружена. В 3 часа 50 минут ночи он, по словам проводника, сошел на станции в Смоленске, как бы спеша на почту, и не вернулся, а Гросскопф проснулся в 5 утра с невыносимой головной болью, которая не утихла в течение целого дня. Дело не было похоже на простую вагонную кражу. Простые люди не могли приобрести билет в этот вагон и тем более наркотическое средство. Дело тогда ограничилось составлением протокола шефом ОГПУ²⁷.

Следующий шпионский скандал разразился в апреле 1933 г., когда ОГПУ провело серию арестов бывших эсеров, трудившихся после освобождения из тюрем в

²² PA AA. Bd. 248.

²³ Grosskopf an die D.B.M. 18. 02. 1935 // PA AA. Bd. 248.

²⁴ Ibid.

²⁵ D.B.M. an allen Konsulaten in der UdSSR. 1.02.1935 // PA AA. Bd. 248.

²⁶ Она была связана с делом некоего германского гражданина Бернгарда (Бориса Ивановича) Катель-Зензе, бывшего военнопленного, работавшего секретарем в управлении Омскгостекстля и осужденного в декабре 1925 г. нарсудом города Омска за растрату казенных денег на 6 месяцев тюрьмы. В январе 1926 г. Катель-Зензе прислал консулу письмо, в котором сообщал о настоятельном желании ОГПУ объявить его шпионом германского консульства. Гросскопф считал, что это была инициатива Омской ЧК, которая таким путем, используя человека с неустойчивой психикой, каковым оказался Катель-Зензе, надеялась пожать лавры разоблачителя шпионской деятельности консула. В своем письме в МИД, перед которым ему не было смысла хитрить, он писал, что «никогда за время своей консульской деятельности, ни ранее, ни теперь, не пользовался услугами шпионов или агентов». Но чтобы оберечь консульство от необоснованных обвинений, он обсудил обстоятельства дела с Председателем КИКа Р. И. Эйхе, который принял его объяснения, пообещал запросить из Омска у ГПУ все документы и проверить все обстоятельства дела. Тогда оно было оставлено без последствий. Материалы действительно были присланы в Новосибирск: судебный приговор, медицинское заключение о вменяемости Зензе и о нервном заболевании, на которое, как и на большое воображение осужденного, и были списаны все его шпионские фантазии. См.: Grosskopf an das AA. 1.02.1926 // PA AA. R 84215. Там же и упомянутые документы.

²⁷ Grosskopf an die D.B.M. 15.09.1932 // PA AA. R 84215.



разных городских организациях Новосибирска. В частности, тогда были арестованы бывший командующий Белой сибирской армией генерал Болдырев, научный сотрудник Крайплана, «абсолютно советский», по характеристике Гросскопфа, человек, и работавший истопником в консульстве некто Федоров, имевший связи с кругом генерала. Оказалось, что до Федорова дрова в консульстве колочил бывший царский генерал Степанов, с которым консул встречался однажды у Федорова дома на крестинах его ребенка. У Болдырева ОГПУ искало сочинение «с секретными экономическими и военными данными», которое он в контрреволюционных целях якобы намеревался переправить на Запад через германского консула, а передать консулу сочинение должен был истопник Федоров.

Тогда же на крыше консульства был укреплен провод, протянутый к зданию ОГПУ, как предполагал консул, — для «установления прослушивающего устройства»²⁸. По этому поводу он был вынужден подать в ИНО ЗСКИКа (Иностраннный отдел Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета) ноту с требованием убрать провод и исправить поврежденную в нескольких местах крышу здания.

В марте 1933 года ОГПУ «провело работу» среди служащих консульства, советских граждан, которые были взяты милицией и доставлены в управление. Там их, как писал Гросскопф, «угрозами заставляли дать показания обо мне и о сотрудниках консульства», потом отпустили, велел молчать о происшедшем²⁹. Одновременно с этим были арестованы хозяин дома, в котором жили германский гражданин инженер Шмидт и Барышников — другой его квартирант, бывший эсер. Хозяина дома вскоре перевели из тюрьмы ОГПУ в обычную тюрьму. Оттуда он смог прислать письмо с сообщением, что ему инкриминируют сбор сведений о происходящем в городе, которые он, якобы, через инженера передавал в консульство. При этом ГПУ сожалело, что не может арестовать самого Шмидта ввиду его германского подданства. Квартира Шмидта была объявлена явочной квартирой для агентов консульства, а сам он — хорошо оплачиваемым резидентом консула. Из получаемых от консула средств он оплачивал услуги других агентов «своей группы». (Чекисты при этом не без зависти констатировали, что и на своей легальной службе Шмидт получает столько, сколько все они, бывшие на допросе, вместе взятые.) А встречались Шмидт и консул, утверждали гпэушники, «под прикрытием» охоты в Грязнухе.

Все это Гросскопф интерпретировал, конечно, как измышления ОГПУ. Он не знал ни хозяина дома, ни его жильца Барышникова, никогда не встречался с ними. У Шмидта же был в гостях всего два раза, в 1932 году, причем один раз — когда тот болел. «Шмидт никогда не собирал для меня никаких сведений», — писал Гросскопф³⁰.

Весной 1935 года начались обыски и аресты близких родственников жены технического секретаря консульства, Вильгельма Кремера, урожденной Нины Павловны Замятиной. Ее родители — отец, православный священник, Павел Петрович Замятин и его супруга, Мария Яковлевна — проживали в Новосибирске. В апреле у одного из братьев Нины Павловны, инженера Валентина Павловича Замятина, был произведен обыск и изъят фотоаппарат, подаренный консулом. Замятин был арестован, а спустя 11 месяцев расстрелян как германский шпион. Расстрельный приговор ревтрибунала, первый, так близко коснувшийся сотрудников Гросскопфа, «поверг консульство в шоковое состояние»³¹.

В апреле же 1935 года был проведен обыск в квартире и в служебном кабинете кавказского немца, агронома Юлиуса Форера. Чекисты искали немецкие книги, газеты и изъяли фотографию консула с женой, немецкую поваренную книгу, два письма, полученные к пасхе от родственников из Германии. Все это сильно обеспокоило консула. «Господин Форер, — писал он послу, — мой друг, мы общаемся семьями более 10 лет. Его жена — германская подданная. Эта семья — единственная советско-русская семья, которая бывала в моем доме». За два года до этого близкие фрау Форер предпринимали попытку выволочь эту семью из СССР, предложив прислать им через «Интурист» 2000 рейхсмарок, но просьба была отклонена. «За время моего пребывания в Новосибирске, — сообщал встревоженный консул, — ранее не было обысков у моих знакомых и у многочисленных родственников ассистента Кремера или у знакомых других служащих консульства. ОГПУ этими обысками явно ищет компрометирующий консульство материал»³².

²⁸ Grosskopf an die D.B.M. 14.04.1933 // PA AA. Bd. 82.

²⁹ Grosskopf an die D.B.M. 19.04.1933 // Ibid.

³⁰ Grosskopf an die D.B.M. 13.05.1933 // Ibid.

³¹ Telegramm von Kösting an die D.B.M. 25.03.1936 // PA AA. Bd. 248.

³² Grosskopf an die D.B.M. 23.04.1935 // PA AA. Bd. 248.

В конце апреля был арестован еще один знакомый Кремера, муж его поварахи, инженер, работавший на железной дороге; за ним — старый электромонтер, русский, много лет ремонтировавший электроприборы в зданиях германского и японского консульств. Затем на улице была задержана и сфотографирована «моя повари-ха», сообщил Гросскопф. После этого случая две домашние работницы, портнихи, несмотря на высокую оплату, отказались, боясь ареста, приходить в консульство. «Скоро мы останемся без обслуживающего персонала», — писал он, и уже тогда не был далек от истины³³.

Аресты весны 1935 года шли, по словам Гросскопфа, в рамках общей волны террора, развязанного против остатков старой русской интеллигенции. Только за время с 22 по 30 апреля, по его данным, в Новосибирске были арестованы около 200 человек³⁴. Но уже тогда явно наметилась и тенденция сбора компрометирующих консульство материалов, конечной целью которого могло стать прекращение его «антисоветской» деятельности под предлогом обвинений в шпионаже.

Неприязненное отношение к консульству стало проявляться и в повседневной жизни — в противодействии решению бытовых проблем как самого консульства, так и его посетителей. В августе 1934 года ИНО ЗСКИКа отказал Гросскопфу в просьбе о предоставлении транспортными организациями «в отдельных и довольно редких случаях» для поездок за город легковой машины «Форд», хотя бы за плату в инвалюте через «Торгсин». Попытки нанять грузовую машину (1,5 т) на полтора дня, 1 и 2 сентября, в «Транстресте» (за очень высокую по тем временам цену — 500 руб.) также были пресечены под предлогом, что обещанный автомобиль поломался (авария действительно имела место) и заменить его «не представляется возможным».

«Я не могу себе представить, — писал “глубокоуважаемому Владимиру Владимировичу” Ваганову, начальнику ИНО, Гросскопф, — что у такого крупного учреждения, каким является “Транстрест”, имеется всего только одна машина, или что “Транстрест” не в состоянии выполнить такое пустяковое обязательство, и я вынужден делать из этого вывод, что налицо явное нежелание предоставить мне средства передвижения. Для меня это тем более изумительно, что членам советских представительств в Германии в делах автомобильных властями оказывается всемерное и весьма далеко идущее предпочтение»³⁵.

В письме в МИД он прямо указывал, что отказ связан с желанием воспрепятствовать его информационным поездкам по селам. Чтобы выполнять возложенную на него функцию, он просил разрешения приобрести для консульства небольшой служебный автомобиль. «Уже 11 лет я обхожусь в Новосибирске без автомобиля, — писал он в МИД. — До 1930 года это не создавало трудностей. Но теперь с каждым годом их становится все больше. Автомобиль мне нужен не только для представительских целей, но и для моего личного комфорта. Это — служебная необходимость, если мы не хотим совсем отказываться от самого важного источника информации, а именно — личных впечатлений»³⁶.

Просьбу Гросскопфа горячо поддержал посол. Он считал, что следует разрешить вообще всем консульствам приобретение служебных автомобилей³⁷. Однако по германскому законодательству разрешалось иметь служебные автомобили лишь посольствам и миссиям³⁸. Купить такой автомобиль в личную собственность на средства, выделенные для информационных поездок, как это советовал МИД, Гросскопф не отважился. Но он поставил проблему, которую МИД обещал разрешить позднее, что и произошло (в Киеве, в генеральном консульстве, у Гросскопфа было два автомобиля и две мотоциклетки). Консульство в Новосибирске до самого своего закрытия обходилось без собственного транспортного средства.

Летом 1935 года в консульстве случился «дачный» скандал. С 1932 г. оно от лица семьи Кремеров снимало на лето дачу в Ельцовке, местечке километрах в двадцати от города, с которым существовала какая-никакая пароходная связь. Другие места, не имевшие пароходной связи, исключались ввиду сложностей с доставкой продовольствия. В Ельцовке было два частных дома, все остальные 30—40 дач принадлежали государственным организациям, в основном горсовету. Горсовет под предлогом

³³ Grosskopf an die D.V.M. 7.05.1935 // Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Копия письма Гросскопфа в ИНО ЗСКИКа от 1.09.1934 // Bundesarchiv. R 9215. Bd. 87. S. 10.

³⁶ Grosskopf an die D.V.M. 5.09.1934 // Bundesarchiv. R 9215. Bd. 87. S. 8, 9. Аналогичного содержания просьбы были отправлены им в посольство и в ИНО Записибрайсполкома.

³⁷ Schulenburg an AA. 20.09.1934 // Bundesarchiv. R 9215. Bd. 87. S. 6.

³⁸ Bundesarchiv. R 9215. Bd. 87.

нехватки жилья для собственных нужд еще прежде отказал консульству в аренде своей дачи, так что приходилось снимать частную. Второй частный дом в течение нескольких лет снимал русский инженер (кстати, тоже арестованный 23 апреля 35-го), а затем — японский консул Коянаги.

Подтвердивший прежнюю договоренность хозяин дома вдруг, перед самым выездом на дачу, 10 июня, заявил о своем отказе. Он ссылаясь на многочисленные аресты близких к консульству людей. Консул, понимая, что на владельца дачи было оказано давление, обратился в КИК. Комитет стал уверять, что никакого давления не было. Такое поведение КИКа, считал Гросскопф, очень тревожно, ибо оно свидетельствует об атмосфере страха, поразившего людей, и вот в этой атмосфере консульству приходится теперь работать. В итоге служащие консульства «из-за террористических действий властей» лишились возможности проводить столь короткое сибирское лето на природе³⁹.

Изоляция консульств от внешнего мира, начавшаяся еще в 1934 году, стремительно набирала обороты. Все внешние связи консульств осуществлялись теперь исключительно через агентов НКВД. Вызов врача, электромонтера, слесаря или сантехника становился возможным только по разрешению НКВД, которое всякий раз запрашивал агент НКВД. «Ни один врач не отважится посетить заболевшего сотрудника консульства, пока больной не потратит известное время на испрашивание разрешения дипагента», — писал в своем письме фон Шуленбургу Мейер-Гейденгаген из Новосибирска 13 декабря 1937 г. Даже вспоможение при родах супруге китайского консула агент Антипов позволил только после получения разрешения НКВД.

«Если в консульстве выходит из строя водопровод, туалет, электрическая проводка и т. п., позвонить в ремонтную мастерскую напрямую нельзя, а только через дипломатического агента. Дипагент сам не очень радуется от такого обременения, да и его не всегда можно застать на месте. Ремонтник же рискует своей безопасностью, если придет в консульство устранять поломку трубы самостоятельно... Каждое обращение к здешним властям — это разговор через стену, бесцельный и безнадежный. Иностранное консульство превратилось здесь в игрушку, с помощью которой государственная полиция удовлетворяет свою жажду деятельности», — считал Мейер-Гейденгаген⁴⁰.

12. Кампания по закрытию иностранных консульств в СССР. Ликвидация германских консульств в Киеве и Новосибирске

Советское правительство начало кампанию по ликвидации иностранных консульств весной 1937 года. Непосредственным предлогом было достижение паритета, то есть приведение к одинаковой численности имеющихся в других странах советских консульств и иностранных консульств на территории СССР. Первоначально требования о закрытии консульских представительств были предъявлены четырем государствам: Польше, Японии, Италии и Германии, которые должны были закрыть 14 своих консульств в Советском Союзе (пять итальянских, пять немецких, два японских и два польских). Заметим, что в 1938-ом ликвидационная акция распространилась уже на консульства всех без исключения государств, в том числе «дружественных» СССР, таких как Чехословакия, Англия, Турция, Иран, Афганистан, Норвегия, Швеция.

Соответствующее предложение германскому послу Шуленбургу было сделано 27 мая 1937 года, во время его визита к новому заместителю Наркома иностранных дел В. П. Потемкину. Поскольку советское государство не было намерено увеличивать число своих консульств в Германии (их было три), более того — собиралось закрыть консульство в Штеттине, посольству предлагалось начать сокращение пяти своих консульств с закрытия первых двух, в Одессе и Владивостоке. Советское руководство считало, что их наличие в СССР бессмысленно, поскольку в их служебных округах уже почти не осталось германских граждан.

Требование достижения паритета было расценено германской стороной лишь как предлог. Действительной причиной она считала все более проявившееся стремление СССР к закрытости от внешнего мира, от заграницы, от всякого влияния извне. Эта тенденция была прямым следствием внутренней политики, победы в стране политических сил, нацеленных на окончательную централизацию власти, на сосредоточение всех нитей управления в Кремле, на изъятие у регионов и местных властей

³⁹ Grosskopf an die D.B.M. 7.06.1935 // PA AA. Bd. 248.

⁴⁰ PA AA. R 104371.

и без того урезанных прав на ведение экономических переговоров с зарубежными странами и осуществление других экономических полномочий.

Одной из причин закрытия иностранных консульств было также намерение руководства страны резко ограничить число выезжающих за рубеж советских граждан и ликвидировать вообще институт иностранных граждан в СССР как таковой. С ликвидацией консульств оформление выездных виз передавалось иностранным посольствам в Москве, функции которых при этом резко сокращались, ибо им разрешалось визировать лишь паспорта советских дипломатов и членов советских официальных иностранных представительств. Все остальные граждане, обслуживавшиеся консульствами, практически лишались права на выезд.

Германский МИД пытался отстоять свои консульства в Одессе и Владивостоке. Его возражения были сформулированы в меморандуме⁴¹, который квалифицировал требование достижения паритета как абсурдное. Ссылка на «суверенное право» любого правительства допускать или не допускать на своей территории деятельность иностранных консульств была признана неосновательной, поскольку это право в свое время в отношении Германии и Советского Союза оговаривалось в Рапальском (1922 г.) и консульском (1925 г.) договорах. В соответствии с ними были основаны и указанные консульства, которые не могли быть упразднены в одностороннем порядке. «Согласно нормам международного права, — говорилось в меморандуме, — никакое место для консульства одной страны не может быть закрыто, пока в нем имеются консульства другого государства». Предлагалось также принять во внимание размеры стран: наличие семи германских консульств на три советских являлось вполне нормальным соотношением, тем более что и количество осевших в СССР германских граждан во много раз превышало число живших в Германии советских граждан. В меморандуме подчеркивалось, что СССР имеет в Германии кроме консульств торговое представительство в Берлине с двумя филиалами (в Гамбурге и Лейпциге), чего нет у Германии в СССР. В результате — численность советских служащих в Германии (в посольстве, торговых представительствах, генеральных консульствах) более чем в два раза превосходит число сотрудников немецких представительств в СССР⁴².

Переговоры о судьбе консульств шли в течение всей осени, однако доводы германского МИДа в пользу сохранения своих консульств были, конечно же, признаны несостоятельными.

3 ноября исполняющий обязанности наркома по иностранным делам Е.Б. Стомняков объявил Шуленбургу, что решение советского правительства о достижении паритета окончательное, и поэтому пять германских консульств должны быть ликвидированы. На это отводился двухмесячный срок, начиная с 15 ноября. Послу было предложено сообщить в НКВД, какие два своих консульства он намерен сохранить. Шуленбург назвал генеральные консульства в Киеве и Ленинграде. «В случае отказа мы будем настаивать на созыве чрезвычайного заседания Согласительной комиссии для обсуждения вопроса о консульской сети в целом, — пригрозил Шуленбург. — А в случае, если и это не поможет, мы закроем все наши консульства в Советском Союзе и потребуем ликвидации советских консульств в Гамбурге и Кёнигсберге»⁴³.

Этот ультиматум не возымел действия — сохранить ленинградское консульство посольству не удалось.

К началу 1938 года у Германии в СССР остались лишь генеральное консульство в Киеве и консульство в Новосибирске (на два советских — в Гамбурге и Кёнигсберге).

Чтобы принудить германское правительство к закрытию двух последних своих консульств в СССР, НКВД предпринял беспрецедентный нажим на их сотрудников. Был организован бойкот с целью полностью отгородить их от внешнего мира и сделать невозможным их дальнейшее существование, переросший в настоящий террор.

⁴¹ Меморандум за подписью статс-секретаря Эрнста фон Вайцзеккера был отправлен в посольство 28.07.1937, с просьбой передать его Советскому правительству. (РА АА. R 104371.) Он получил известность как меморандум от 2 августа 1937 г. (РА АА. Bd. 77.)

⁴² В посольстве и консульствах Германии на территории СССР служили 80 человек, из них 69 германских и «около 10» советских граждан. В Германии численность сотрудников посольства, двух оставшихся консульств (в Кёнигсберге и Гамбурге) и торгового представительства в Берлине с его филиалами в Гамбурге и Лейпциге, достигала 185 персон, из которых 135 являлись советскими гражданами. Общая численность советских граждан на территории Германии составляла (на ноябрь 1936 г.) 951 чел., германских граждан на территории СССР (на ноябрь 1935 г.) — 5980 чел. См. Zahlenmäßiges Verzeichnis der Angehörigen deutschen Vertretungen in der UdSSR und der Sowjetvertretungen in Deutschland // PA АА. R 104371.

⁴³ D.B.M. (Schulenburg) an das Ausamt. 6.11.1937 // PA АА. R 104371.



В своих донесениях послу новосибирский консул Мейер-Гейденгаген неоднократно подчеркивал экстраординарность установленного в последнее время полицейского надзора за консульством и за оставшимися еще в городе германскими гражданами. Обо всех фактах такого рода он извещал дипагента А. И. Антипова, расценивая их как нарушение консульских прав, определенных в его экзекатуре. В одной из своих нот протеста в дипломатическое агентство НКВД в Новосибирске он писал: «Все германские граждане, посещающие консульство по паспортным делам, задерживаются на улице сотрудниками НКВД и подвергаются допросу. Приезжающие в Новосибирск из провинции германские граждане отводятся на вокзал в милицию для допроса. Когда сотрудники консульства делают в магазине покупки или выходят на прогулку, то их сопровождают все те же агенты НКВД, и делается это в такой неприкрытой и тягостной форме, что неловкость полицейского надзора была бы комична, если бы это не было так оскорбительно. Агенты ОГПУ нагло усаживаются в вызванные сотрудниками консульства такси, например, для поездки на рынок. Каждый сотрудник уже отлично знает в лицо прикрепленного к нему шпиика».

Что касается обслуживающего персонала, то осенью 1937 года консульство в результате арестов лишилось русского домашнего работника Антропова, водовоза Толстых и работницы Александры Толстых.

Еще более поразительные вещи творились в Киеве вокруг Генерального консульства, возглавляемого Гросскопфом. В начале февраля 1938 года были арестованы повара консульства, Татьяна Ивченко, и ее муж, работавший шофером. Вместе с шофером сгинул и служебный грузовик. 4 февраля буквально спаслась бегством возвращавшаяся утром с рынка другая кухонная работница. Была схвачена вышедшая ненадолго из своей квартиры супруга помощника секретаря консульства, фрау Штрекер. Работавший в консульстве с 1923 года и живший в его здании домработник Грищенко, топивший печи и совершавший все выходы в город, отправился утром, как обычно, на вокзал, чтобы сопроводить отъезжавших на родину германских граждан, но до цели своего путешествия не добрался. Он должен был купить билеты для 10 человек и имел при себе 975 руб. казенных денег. Одновременно аресту подвергся его сын, живший вместе с родными. Еще раньше, в конце января, был арестован другой хозяйственный работник консульства, Мерешко.

Вскоре некому стало рубить дрова и топить печи⁴⁴, стирать, убирать и варить пищу. Озабоченный проблемой снабжения всех своих домохозяек, Гросскопф вынужден был просить посла прислать ему через МИД нескольких работников, повара, шофера-механика. Гросскопф предлагал платить им от 24 до 60 долларов США в месяц, а за верную службу гарантировал премию в германских марках.

Наиболее напряженным оказался март месяц 1938 года, когда Гросскопф опасался самого худшего — прямого нападения на здание консульства, оставшегося практически без собственной охраны. «Террористические действия НКВД» были перенесены в это время в квартиры сотрудников консульства, располагавшиеся на Крещатике в доме № 25. Здесь 1 марта были выведены из строя электрические звонки в нескольких квартирах, дверные замки забиты посторонними предметами, отключен телефон. Три домработницы перестали выходить из квартир, боясь подвергнуться оскорблениям, шантажу, а то и аресту. Другие домашние работники, в том числе лифтер, поднимающий дрова на пятый этаж, перестали приходить на работу. В ночь с 3 на 4 марта две квартиры (оберинспектора Вильке и практиканта Крегера) были затоплены фекальными водами через туалетные бачки, а в ночь с 7 на 8 марта аналогичный катаклизм случился в квартире Штрекер. Пришлось закрыть для пользования туалеты. 7 числа везде было отключено электричество, а с 9 числа — водопровод. «С 27 февраля на всех лестничных площадках перед квартирами дежурят по два-три агента, а также у подъезда и у заднего крыльца. Каждого служащего и работника Генерального консульства постоянно сопровождают при выходе один-два агента, прямо под локоть, иногда преследуют на автомобиле. Шпики садятся с ними вместе в такси... Германских граждан после посещения консульства в сопровождении милиции или НКВД увозят, допрашивают, проверяют документы, обыскивают багаж. Все извещения о происходящем местных властей остаются без ответа»⁴⁵.

В итоге МИД Германии предложил Гестапо, в свою очередь, установить надзор за советскими консульствами в Гамбурге и Кёнигсберге.

28 февраля 1937 года германское правительство приняло решение о закрытии своих последних консульств в СССР. 2 марта поверенный в делах, советник германс-

⁴⁴ Печей было восемь, и они потребляли ежегодно 140 кубометров дров, 90 — на кухне и 50 — в остальных помещениях.

⁴⁵ Bericht von Grosskopf an die D.B.M. 11.03.1938 // PA AA. R 104370.

кого посольства в Москве фон Типпельскирх [2] сообщил об этом решении иностранному комиссариату. В диплогемере фон Риббентропа говорилось о том, что германское правительство, вследствие непрекращающейся травли германских консульств в Киеве и Новосибирске, которую оно рассматривает как сознательное воспрепятствование консульской деятельности, приняло решение о закрытии их в срок до 15 мая. Все консульские дела на территории СССР передавались консульскому отделу посольства. Советское правительство получило с этой же нотой предложение в аналогичный срок закрыть свои консульские представительства в Кёнигсберге и Гамбурге⁴⁶.

Как заключил из бесед с выезжавшими на родину консулами Герварт [3], «мы не слишком много потеряли от закрытия консульств. Цена информации, которую они собирали, не шла ни в какое сравнение с невыносимыми условиями жизни». Консулы с удовлетворением покидали страну своего пребывания⁴⁷.

С ликвидацией консульств навсегда прекращались так надоевшие советским учреждениям и государственным служащим переговоры и переписки с консулами по делам иностранцев.

В течение апреля 1938 года консульство Германии в Новосибирске, ликвидация которого должна была последовать 28 числа, готовилось к предстоящему отъезду. Посольству удалось заручиться обещанием НКВД не препятствовать распродаже консульского имущества. Распродавалось все, за исключением двух новых сейфов для хранения ценных бумаг, доставленных сюда всего год назад, которые было решено вернуть фирме. «Когда стало известно, что консульство продает свой инвентарь, — писал в отчете Мейер-Гейденгаген, — многие желающие что-нибудь купить посетили консульство, не будучи задержаны на улице. Большую часть инвентаря купил комиссионный магазин, заплатив за все наличными, при полном невмешательстве НКВД. Часть мебели взял ресторан НКВД “Динамо”, расположенный в соседнем с консульством здании⁴⁸. Кое-что из мелочей досталось частным лицам, проходу которых в здание консульства НКВД не препятствовал. Это не касалось, однако, посетителей другого рода. Пелагея Шмидт, получившая освобождение от советского гражданства и разрешение на выезд в Германию, была задержана у входной двери в консульство, отведена в милицейский участок, где в течение получаса объясняла о цели своего визита и дожидалась разрешения на посещение⁴⁹».

16 мая германское посольство заказало для новосибирского консула и его супруги два билета второго класса Москва — Берлин до ст. Даугавпилс⁵⁰.

15 мая 1938 года послал свою последнюю телеграмму в МИД Гросскопф: «Генеральное консульство закрыто. Выезжаю сегодня вечером»⁵¹. Для продажи вещей консульства киевские власти организовали базарный пункт. Согласно отчету Гросскопфа, в городе в это время, при слабом спросе и огромном предложении, резко упали цены на предметы домашнего обихода. Мебель шла лишь за 1/5 или в лучшем случае за 3/5 ее нормальной цены, кухонная и столовая посуда, инструменты и прочая утварь — за 1/20 или 1/10 их действительной стоимости. По просьбе посольства НКВД разрешил Гросскопфу продажу двух автомобилей, двух мотоциклов и оборудования гаража, большую часть которого продать не удалось. Продажа имущества была сопряжена и с другими трудностями, которые власти постарались создать для консульства. Вывоз проданных вещей должны были оплачивать не покупатели, а продавцы. Пункт продажи не имел места для хранения мебели и принимал лишь то, что можно было продать сразу же. Вдобавок власти старались отодвинуть продажу инвентаря на последние дни, чтобы этим сбить цены. Таким образом, в срок от 1 апреля до 14 мая было продано консульских вещей всего на 13.000 руб. Зато только за два последних вечера, 14 и 15 мая, — на 9733 руб. 15 числа распродажа продолжалась до поздней ночи, уже после отъезда в Москву кассира с выручкой. Это напоминало вынос вещей из горящего дома.

⁴⁶ D.V.M. an das AA. 2.03.1938 // PA AA. R 104371.

⁴⁷ Herwarth. S. 86.

⁴⁸ Очевидно, именно отсюда буфет, разрисованный охотничьими трофеями, перекочевал в краеведческий музей, интерьер которого он до сих пор украшает.

⁴⁹ К концу своего пребывания в городе консульство совсем осталось без obsługi. На прощанье НКВД арестовал ремонтника-сантехника, починившего ванну, повариху консульства Марусю Ширяеву, невестку помощника ассистента Лингнера. См. Bericht von Meyer-Heidenhagen an die D.V.M. 18.04.1938 // PA AA. R 104370.

⁵⁰ Просьба Германского посольства в Москве в Интурист. 16.05.1938 // Bundesarchiv. R 9215. Bd. 94. S. 35.

⁵¹ PA AA. Personalia. Bd. 199 (4).

Единственной удачно проданной «позицией» стала старая пишущая машинка «Ундервуд» с русским шрифтом и длинной кареткой. Такие пишущие машинки из довоенного времени, прежде широко распространенные, больше уже не использовались ни в Германии, ни в московском посольстве. «Вследствие чрезмерной бюрократизации советских властей, такой тип пишущих машин пользуется у них особой популярностью», — иронизировал генеральный консул, выручивший за нее 4200 рублей⁵².

14 мая Гросскопф известил посольство об отсылке перечня сожженных им актов генерального консульства. Уничтожению были подвергнуты не только подшивки газет и журналов, но и хранившиеся все 15 лет материалы о торговых и других отношениях с СССР, о сельском хозяйстве, индустрии, почтовые отправления. Были преданы огню материалы курьерской службы, паспортные дела, дела об эвакуации германских военнопленных 1922—1928 гг., «гитлеровской» помощи и многие другие⁵³. Очевидно, аналогичной экзекуции подвергся и архив консульства в Новосибирске, поскольку многое из того, что хотелось нам обнаружить в немецких архивах, найти не удалось.

Перечни проданного имущества и вырученных средств, оформленные Гросскопфом с присущей ему щепетильностью, составили более сотни многостраничных приложений к его отчету.

Напоследок он позаботился о семьях арестованных советских служащих — Мережко, у которого остались двое детей, четырех и одиннадцати лет, и Грищенко (последний трудился в консульстве в Киеве 15 лет), — испросив у МИДа разрешение выделить им материальной помощи по 2000 руб. каждой⁵⁴.

После закрытия консульства Мейер-Гейденгаген трудился в отделе политики Министерства иностранных дел, в октябре 1940 года в последний раз побывал в Ленинграде, где замечал находившегося в отпуске генерального консула Динстмана (консульство в Ленинграде было восстановлено после подписания советско-германского договора 1939 г.). Умер 6 марта 1941 г. и похоронен среди представителей дипломатического корпуса на кладбище Вильмерсдорф в Берлине⁵⁵.

Гросскопфа взял в посольство, вопреки нежеланию НКВД, Шуленбург, и в течение года он трудился в качестве генерального консула в Москве (до 1.10.1939), затем обосновался в Берлине, служил легационным секретарем в культурно-политическом отделе Аусамта, в августе 1941 года получил звание посланника⁵⁶. Последним местом службы Гросскопфа стал «Отдел Германия», в котором он возглавлял рефераты Д IX (вопросы народной экономики) и Д XI (переселения фольксдойче)⁵⁷. Гросскопф умер после продолжительной болезни 26 октября 1942 года в возрасте 57 лет и погребен, как и Мейер-Гейденгаген, на кладбище Вильмерсдорф⁵⁸.

К сожалению, персональное дело Гросскопфа не содержит данных о дальнейшей судьбе его супруги Лиды. Но в нем обнаружен любопытный документ, который красноречиво говорит об отношении «простых» советских граждан к германскому консулу. Это сообщение обер-лейтенанта, ведавшего делами «советских военнопленных» в Гамбурге, от 22.11.1944 г., о попытках некоторых из них, «до 1935 года работавших у господина консула в Новосибирске», дать ему знать о себе⁵⁹.

Продолжавшаяся 16 лет история консульских отношений России (СССР) с зарубежными странами вновь была прервана в 1938 г. Возобновление работы трех генеральных консульств Германии (в Ленинграде, Батуми и Владивостоке) после подписания советско-германского договора 1939 г. не в счет, поскольку до начала нападения Германского рейха на СССР оставались считанные месяцы.

⁵² Bericht von Grosskopf an die D.B.M. 7.06.1938. «Auflösung des Generalkonsulats Kiew. Verkauf der reichseigenem Einrichtungsgegenstände» // Bundesarchiv. R 9215. Bd. 95. S. 59–63. Подобные этим документы о ликвидации консульства в Новосибирске в архивах не обнаружены.

⁵³ Bundesarchiv. R 9215. Bd. 94.

⁵⁴ Bericht von Grosskopf an die D.B.M. 10.02.1938 // Bundesarchiv. R 9215. Bd. 94. S. 270, 271.

⁵⁵ PA AA. Personalia. Bd. 501 (1).

⁵⁶ Свидетельство о том было подписано Гитлером и Риббентропом 21 августа 1941 г.

⁵⁷ О том, что представлял собой «Отдел Германия» под руководством Мартина Лютера, в котором имела место «Еврейская референтура», занимавшаяся, помимо прочих задач, разработкой планов выселения и депортации немецких и европейских евреев, см.: Михалка В. «Превращение из мотора в трансмиссию». Деградация внешнеполитического ведомства в 1933–1945 гг. // Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. М.: Изд. «Весь мир», 1996. С. 202; Döscher Hans-Jürgen. Das Auswärtige Amt im Dritten Reich. Diplomatie im Schatten der Endlösung. Berlin, 1987. S. 203–212.

⁵⁸ PA AA. Personalia. Bd. 199 (4).

⁵⁹ Ibid.



Все четверо чрезвычайных и полномочных послов Германии в СССР в 1920—1930-е годы: граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау, Герберт фон Дирксен, Рудольф Надольный и Фридрих Вернер граф фон дер Шуленбург — являлись убежденными сторонниками развития и укрепления дружественных немецко-русских отношений, и делали для этого все от них зависящее. Важно отметить также, что приезжая в Россию с разного рода предубеждениями о ней, они становились здесь если и не приверженцами новой общественной системы, то сторонниками многих позитивных ее сторон.

Определенную роль в укреплении отношений между Германией и Россией (СССР), вне всякого сомнения, играла неординарная личность консула Гросскопфа. Он был одним из активных разработчиков и последовательных проводников рапальской политики Германии. Талантливый дипломат, профессионально подготовленный экономист, ученый и практик, всю свою жизнь посвятивший России, стране, которую он любил и которой желал такого же блага, как и своему отечеству, Гросскопф делал все возможное для возрождения и расширения немецкого предпринимательства и торговли на сибирской земле. Конечной целью этой деятельности были не только прибыли немецких фирм, но и процветание сибирского края, земли, поражавшей его своими масштабами, мощью, огромными сырьевыми и людскими ресурсами.



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Максимилиан Вольфганг Мейер-Гейденгаген родился в Санкт-Петербурге, в купеческой семье. Семья Мейеров, выходцев из Любека, как и большинство немецких семей столичного Петербурга, сохраняла и культивировала немецкие обычаи. Максимилиан учился в немецкой школе при евангелической церкви Святой Екатерины, затем продолжил образование в Берлине, в гимназии имени Лейбница. Высшее образование он получил на естественном факультете университета Мюнхена и химическом факультете Мюнхенского технического училища. С 1900 г. он прошел воинскую службу в Баварской воинской части, затем вернулся в Петербург, где довольно успешно возглавлял в течение трех лет (1904—1907) немецкоязычную газету «Санкт-Петербургишер Герольд», а затем семь лет редактировал «Санкт-Петербургише Цайтунг» — главную немецкоязычную газету, выходившую в России. Кроме немецкого и русского, он владел французским, украинским, польским и чешским языками, а журналистскую деятельность успешно сочетал с оказанием разного рода услуг германскому посольству в Петербурге: был его доверенным лицом и пресс-атташе на общественных началах. Все это уже тогда сделало его крупным знатоком предвоенной России.

В Первую мировую служил в составе Баварского резервного полка. После тяжелого ранения 31 октября 1914 г. (в правый локоть), определился при Генеральном штабе и Прусском военном министерстве как специалист по русским делам, издавал, как офицер-референт, русскую газету для военнопленных и фронтовиков. На последнем этапе войны был прикомандирован к Верховному командованию группы войск в Киеве, где изучал украинские вопросы, выслужил чин обер-лейтенанта. В 1918 г. получил должность пресс-атташе германского посольства в Киеве.

После войны Мейер-Гейденгаген трудился на разных постах в отделе прессы Министерства иностранных дел, два года (1923—1924) служил в посольстве Германии в Москве, а в 1933 г., по достижении 55-летнего возраста, вышел в отставку и нашел применение своим знаниям в качестве референта в Министерстве народного просвещения и пропаганды Геббельса. Карьера его не была столь успешной, как у Гросскопфа. Продвигаться вверх, очевидно, мешало его российско-немецкое происхождение.

2. Советник посольства при Шуленбурге Вернер фон Типпельскирх принадлежал к кругу руководящей военной элиты, воспитанной на кайзеровских традициях, к которым Гитлер испытывал неприкрытую антипатию. Типпельскирх не говорил по-русски, но имел полезный опыт, приобретенный им в посольстве в Риге и в русской референтуре МИДа. Из-за тяжелого ранения на фронте он был переведен в свое время на писарскую работу, научился сочинять доклады, отличавшиеся большой тщательностью и обилием деталей. Письменная связь посольства с Аусамтом осуществлялась, главным образом, через него.

3. Ганс Генрих Герварт фон Биттенфельд, советник и личный референт Шуленбурга, в будущем известный немецкий дипломат, происходил из достаточно известной дворянской неарийской семьи. Герварт, после чистки евреев из дипломатического ведомства, оставался в посольстве благодаря защите трех последних послов, Дирксена, Надольного и Шуленбурга. Помогла также трехмесячная стажировка резервистов в кавалерийском полку, которую он прошел весной 1935 г. и по результатам которой получил чин лейтенанта. Немаловажным фактом его биографии стала и женитьба летом 1935 г. на представительнице одной из самых древнейших аристократических верхне-франконских семей, Елизавете фон Редвиц. Были у него ангелы-хранители и в Аусамте. Он единственный в посольстве не вступил в НСДАП после прихода к власти Гитлера.

Герварт начинал свою деятельность в Москве в 1931 г. при Дирксене в консульском отделе посольства, и главным его делом была опека германских граждан в СССР. Он отмечал позднее, что самым обременительным для него занятием стало удостоверение бесчисленного множества разного рода советских документов, которое ему было поручено как самому юному сотруднику. Но оно принесло ему и много пользы. Он быстро выучил русский язык, а главное — получил хорошее представление о хозяйстве и праве страны. Для ускорения процесса подписания ему пришлось сократить свою фамилию, ограничившись коротким словом «Герварт».

Уже через два года Герварт стал референтом посла. Функции его изменились коренным образом, и теперь он больше занимался политикой и прессой. А поскольку Дирксен, а позднее и Шуленбург, были дуайенами (старшинами) дипломатического корпуса в Москве, то Герварт стал одновременно секретарем дипкорпуса. Он занимался составлением нот на немецком, английском и французском языках, рассылал сообщения дуайена главам миссий. К другим занятиям секретаря относилась организация досуга молодых дипломатов — культурных и спортивных мероприятий, охоты и экскурсий, чем Герварт занимался с большим удовольствием. Он сумел сплотить прогрессивную дипломатическую молодежь в тесный дружеский круг единомышленников, занимавших ярко выраженную антинацистскую позицию. После Судетского кризиса, как признавался сам Герварт, произошел его переход от неприятия нацизма к сопротивлению ему. После заключения пакта Молотова–Риббентропа 1939 г. он, «последний неариец» Аусамта, оставил московское посольство.

Надежда КИНДИКОВА

ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУР СИБИРИ

К 80-летию стиховеда Н. Н. Тобурокова

Аспирант Николая Николаевича Тобурокова из Хакасии С. А. Майнагашев чисто-сердечно признается, что знаком со своим учителем только через письма. Он пишет: «Не могу узнать этого человека по голосу, возможно, я не смогу узнать его в толпе людей, но его характерный почерк смогу отличить от тысяч и тысяч вариантов». Мне же посчастливилось познакомиться с Николаем Николаевичем еще в аспирантские годы в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. Так что я узнаю его по голосу среди толпы, по почерку среди других ученых. А голос у него чистый-чистый, словно морозное утро, звонкий-звонкий как колокольчик, яркий-яркий как северное сияние. С тех пор завязалась творческая дружба — не между старшим и младшим, а между коллегами из двух самостоятельных республик: Якутии и Алтая.

Я благодарна ему за отзывы на мои кандидатскую и докторскую диссертации, за рецензии на монографии. А в 2003 году он побывал в творческой командировке на Алтае и участвовал на мероприятиях, приуроченных к юбилею алтайского поэта Шатры Шатинова (1938—2009), которые проходили в районном центре села Усть-Кан Республики Алтай. Переписываемся мы почти регулярно, информируем друг друга о происходящем в Горном Алтае и Якутии. Я желаю аксакалу крепкого сибирского здоровья и долгих лет жизни на радость всем стиховедам и коллегам по перу.

Николай Николаевич Тобуроков принадлежит к тем ученым, чьи неповторимые голоса слышны далеко за пределами своей республики. Таковыми были алтайские ученые С. Суразаков, С. Каташ, В. Чичинов, бурятские — А. Соктоев, В. Найдаков, тувинские — А. Калзан, Д. Куулар, хакаские П. Трояков, К. Антошин и многие другие.

Николай Николаевич Тобуроков известен в сибирском регионе, прежде всего, как ведущий теоретик — стиховед [1]. Им создана школа стиховедов: С. Майнагашев из Хакасии, У. Донгак из Тувы и другие [2]. В 90-е годы он выступает в качестве историка литературы. Это не означает, что до этого он не занимался исследованием якутской литературы в историческом аспекте. Были книги, литературные портреты, в которых он глубоко и всесторонне рассматривал творчество известных и неизвестных ранее якутских писателей. При этом произведения анализировались в контексте литературного развития той или иной творческой личности. Таковы, к примеру, его литературно-критические статьи о творчестве ведущих якутских писателей (Эрилик Эристин, А. Е. Кулаковский, Савва Тарасов и др.), а также писателей других национальностей [3]. Все это было подступом к исследованию истории якутской литературы второй половины XIX — начала XX-го столетий.

Рассмотрим «Историю якутской литературы», изданную в 1993 году коллективом ученых при участии писателя Н. А. Габышева [4]. Период, обозначенный в заглавии данной «Истории», охватывает половину целого столетия. Это в основном неизученный ранее архивный материал. В предисловии кратко написано: «Эта книга является первой попыткой рассмотрения истории возникновения, развития и становления якутской литературы. Литературный процесс в ней наблюдается в контексте произведений, посвященных теме о земле Саха. Раскрываются общие закономерности формирования жанров поэзии, прозы и драматургии. Дана характеристика жизни и деятельности авторов, чье творчество сыграло значительную роль в истории литературы» [4, с. 4].

Во введении к «Истории...» имеется научно обоснованная историография вопроса, точнее, сведения о предыдущих историях якутской литературы. Таковы литературоведческие труды А. А. Иванова-Кюндэ (1931), Н. М. Заболотского (1937), Г. У. Эргис, Г. М. Васильева, Н. П. Канаева (1955), «Очерки истории якутской советской литературы» (1975).

Коллективом авторов отмечено: «Оценка многих произведений писателей, порою и целых этапов развития литературы Якутии долгое время оставалась упрощенной и искаженной» [4, с. 5]. А значит, авторы поставили перед собой задачу — пересмотреть историю якутской литературы в историческом плане, точнее, заново осмыслить ее.

Чем привлечателен этот труд? Во-первых, четко обозначен период исследования литературы. Во-вторых, впервые представлены предпосылки зарождения якутской литературы на фоне фольклорных произведений; в-третьих, выявлены этно-эстетические особенности первых литературных памятников. Литература начала XX века рассмотрена в жанрово-родовой последовательности: лирика, драма, эпос.

Созданы ли подобные труды в других республиках, не только сибирского региона? Таковыми можно считать монографии «Алтайская литература» (Горно-Алтайск, 1962) алтайского исследователя С. С. Суразакова, «Калмыцкая дореволюционная литература» (Элиста, 1975) А. Н. Бадмаева, «Становление, развитие и распад бурятской литературы (1917—1995)» (Улан-Удэ, 1996) В. Ц. Найдакова и другие, написанные на родном или русском языках. Якутская литература изучена исследователями в связи с формированием якутского народа как этноса. Особое внимание уделено языку якутов, который связан с древнетюркским языком и в своем развитии подвергался монгольскому влиянию. При этом отмечаются также заимствования из эвенского и эвенкийского языков.

Авторы «Истории» проследили истоки якутской литературы, которые восходят к устной поэзии народа. Своеобразие исследования Н. Н. Тобурокова в том, что фольклорный материал рассмотрен им с точки зрения литературоведения. Такой подход к литературе наблюдается очень редко, применительно к якутской — впервые. По мнению Н. Тобурокова, элементы художественного выражения восходят к народным пословицам, поговоркам, загадкам, обрядовой поэзии, шаманским мистериям, поэмам (тойук), сказкам, преданиям и т. д. Особо рассмотрены в книге истоки сказания олонхо. При формировании того или иного лите-

ратурного жанра существенную роль сыграл тот или иной жанр фольклора.

Авторы «Истории» заключают: «До присоединения Якутии к России саха-якуты создали хорошо развитую систему образного художественного отражения действительности, что было результатом многовекового развития словесного искусства народа, которое менялось, усовершенствовалось, дополнялось под воздействием исторических условий и всей эволюции человеческого сознания» [4, с. 30]. В «Истории» большое внимание уделено также влиянию русской литературы на развитие якутской литературы XIX века, церковной литературы в том числе. «Одним из первых результатов этого развития стало появление памятников литературы — художественного очерка «Воспоминания» (1848) А. Уваровского и олонхо-поэмы М. Андросовой-Ионовой, созданных на якутском языке», — считают исследователи [4, с. 40].

Позднее Н. Н. Тобуроков задался вопросом: какой периодизации придерживаться якутским исследователям при создании академической «Истории»? В истории тувинской литературы У. Донгак предлагает выделить шесть периодов в XX веке [5, с. 46]. Насколько это оправдано, судить историкам тувинской литературы, но эстетическим критерием остается все же художественный уровень созданных в том или ином периоде произведений литературы. Деление на десятилетия не дает положительных результатов. В этом смысле Н. Тобуроков предлагает следующий проект создания новой «Истории якутской литературы»:

1. Литература дооктябрьского периода (вторая половина XIX — начало XX вв.).
2. Литература 1917—1956 гг.
3. Литература 1957—1995 гг.
4. Литература современного периода (с 1996 г.).

Если опустить традиционное понятие о дооктябрьском периоде, то четко выстраиваются периоды якутской литературы [6, с. 102]. Мы склонны поддержать периодизацию Н. Н. Тобурокова, однако в алтайской, да и в хакасской и тувинской литературах прослеживается также и древнетюркский период развития литературы. Литературовед З. Б. Самдан, к примеру, считает, что «начальный этап зарождения и бытования тувинской словесности необходимо переосмыслить с новых позиций. Речь должна идти о возвращении к более полному изучению собственных истоков культуры, которые раньше замалчивались. Это, например, роль религиозно-мифологических воззрений в развитии самобытной литературы тувинцев

или роль памятников древнетюркской и старомонгольской письменности в расширенном и углубленном изучении истоков литературы и т. д.» [7, с. 115].

Коллеги из Хакасии включили в свою «Историю» новый раздел «Памятники тюркоязычной письменности». В периодизации алтайской литературы выделено четыре основных периода. Из них второй период считается малоизученным. Если рассматривать алтайскую литературу в контексте тюркских литератур Сибири, то ясно прослеживается такая картина периодизации:

1. Древнетюркский период (VI—XII вв.)
2. Тюрко-монгольский период (XIII—XVIII вв.)
3. Вторая половина XIX—начало XX вв.
4. Литература XX—XXI вв.

При этом литературу XX столетия мы подразделяем на две половины: первую (20—50-е) и вторую (60—80-е гг.). Последнее десятилетие XX в. и начало нового столетия относятся к современной литературе. При такой раскладке в первую очередь учитывается художественный уровень литературы. Раньше мы тоже разбивали историю литературы на десятилетия: литература 20-х, 30-х, 40-х годов и т. д. Однако художественный уровень литературы не всегда соответствовал обозначенному периоду. Литература второй половины XX столетия заметно отличается от первой. В этом смысле мы солидарны с якутскими и бурятскими коллегами, которые также обращают внимание на особенности прошедшего столетия. Выделяются этапы «оттепели» (1957—1965), застоя (1966—1984), перестройки (1985). А вот постперестроечные годы мы относим к современному периоду (с 90-х годов по настоящее время). Со временем литературу XXI века можно выделить отдельным периодом.

Литературовед А. Л. Кошелева в своей монографии «Лирический мир хакасской поэзии в контексте духовных памятников евразийской культуры: генезис, поэтика, типология» (Абакан, 2008) сумела связать хакасскую литературу XX столетия с ее древнетюркскими корнями. Алтайские литературоведы их также выделили, однако все это пока издано на родном языке, потому другие литературоведы вряд ли осведомлены о такой разбивке литературы на периоды. Пробелы в периодизации можно восполнить за счет находок исследователей соседних литератур.

К примеру, в тюрко-монгольский период алтайская литература существовала в устном виде, так как в течение пяти веков алтайские племена находились в составе Золотой Орды. Образованные тюрки осваивали монгольское письмо «тодо бичик», некото-

рые знали тибетскую грамоту. Но поскольку большая часть населения оставалась неграмотной, литература развивалась по образцам древнетюркской литературы. Таковы, к примеру, поэтические изречения алтайского предсказателя Боора, проучившегося в Тибете 18 лет. Таковы высказывания исторических деятелей Шуну, Амыр-Санаа и др. Они дошли до XX столетия благодаря культурной памяти народа. Яркий пример изучения существования литературы — историческое предание «Сыновья Солтона», посвященное родословной рода кара майман. Найденные на территории Республики Алтай буддийские трактаты, рукописные записки на языке «тодо» ждут своего исследователя [8, 9.] Литературовед З. Самдан дает точную характеристику тувинской литературы как одной из «тюркоязычных литератур Южной Сибири, испытавшей влияние монгольских литератур, развивающейся в контексте шаманско-буддийского религиозного синкретизма и устоявшихся устно-поэтических традиций» [7, с. 113]. Возможно, алтайские литературоведы тоже будут придерживаться такого же определения литературы.

Бурятский историк литературы С. Ж. Балданов справедливо предлагает считать литературными памятниками «то, что было создано до возникновения собственной художественной литературы» [10, с. 46]. По его мнению, обязательными для собственной художественной литературы являются «обобщение, типизация и индивидуализация, сюжетно-композиционная структура, художественный вымысел, образная система, т. е. тот художественный мир, который создается с помощью фантазии художника наряду с реальным миром и на основе этого реального мира» [с. 49]. При создании новой истории литературы нам стоит прислушиваться к его замыслам и идеям.

Таким образом, литературоведы Сибири до сих пор заняты проблемой переосмысления и написания новых академических историй национальных литератур. При этом важно не ограничиваться собственно национальной литературой, а рассматривать развитие той или иной литературы в контексте других тюркских литератур, в том числе монгольской. Как справедливо замечает З. Самдан, «через монгольскую литературу тувинцы воспринимали и творчески усваивали памятники центрально-азиатских художественных культур, в частности, индийско-тибетские памятники» [11, с. 7]. После создания академических историй национальных литератур нам предстоит подготовить и региональную «Историю литератур Сибири».

ЛИТЕРАТУРА

1. Тобуроков Н. Н. Якутский стих. — Якутск, 1995; Проблемы сравнительного стиховедения. — М, 1996; Хакасский стих. — Абакан, 1991.
2. Майнагашев С. А. Становление и развитие системы хакасского стихосложения. — Абакан, 2003.; Донгак У. А. Тувинское стихосложение. — Кызыл, 2007.
3. Эрилик Эристин. Очерк жизни и творчества. — Якутск, 1963; Изучение жизни и творчества А. Е. Кулаковского. — Якутск, 2001; Вечный поиск волшебства. — Якутск, 1981; Сибирью рожденные. — Якутск, 1992.
4. Тобуроков Н. Н., Сыромятников Г. С., Габышев Н. А., Михайлов М. Г. История якутской литературы (середина XIX — начало XX века). — Якутск: Якутский научный центр СО РАН, 1993.
5. Донгак У. А. Этапы становления и развития тувинской литературы // Методологические проблемы изучения истории литератур народов Сибири. — Кызыл, 2006. — С. 43—50.
6. Тобуроков Н. Н. Методологические проблемы создания новых историй национальных литератур Сибири. // Методологические проблемы изучения истории литератур народов Сибири. — Кызыл, 2006. — С. 13—19; Тобуроков Н. Н. Методологические проблемы создания истории якутской литературы // Художественное наследие национальных литератур XX века в общероссийском культурном пространстве: проблемы взаимодействия. — Якутск, 2007. — С. 99—103.
7. Самдан З. Б. Наследие А. К. Калзана и проблема переосмысления истоков тувинской литературы в новой «Истории тувинской литературы» // Улуг-Хем. Журнал тувинских писателей. — Кызыл, 2010. — С. 108—116.
8. Киндикова Н. М. Историко-типологические аналогии «Сокровенного сказания монголов» и алтайского предания «Сыновья Солтона» // Киндикова Н. М. Алтайская литература в контексте тюркоязычных литератур Сибири. — Горно-Алтайск, 2001. — С. 26—38.
9. Киндикова Н. М. Корни родства в тюрко-монгольской литературе // Киндикова Н. М. Алтайская литература: проблемы и суждения. — Горно-Алтайск, 2008. — С. 17—21.
10. Балданов С. Ж. Аксиология и онтологичность форм литератур народов Сибири // Проблемы литератур народов Сибири: национальное своеобразие, тюркское стихосложение, традиции и новаторство. Часть 1. — Якутск, 2009. — С. 49—51.
11. Самдан З. Б. Методологические вопросы изучения тувинской литературы // Методологические проблемы изучения истории литератур народов Сибири. — Кызыл, 2006. — С. 32—42.



АВТОРЫ НОМЕРА

Алейников Владимир Дмитриевич родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер литературного содружества СМОГ. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Даuida Бурлюка, других литературных премий. Член ПЕН-клуба. Член Союза писателей Москвы. Живет в Коктебеле и в Москве.

Белковец Лариса Прокопьевна, доктор исторических наук, профессор Томского государственного университета. Выпускница историко-филологического факультета Томского университета. Автор более 150 научных и учебно-методических работ, в том числе 10 монографий и учебных пособий. Почетный работник высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук высшей школы. Специалист по истории российско-германских дипломатических отношений. Стажировалась в университетах ФРГ, работала в архивах и библиотеках Бонна, Берлина, Бохума, Марбурга и др. Преподаватель Новосибирского юридического института (филиала) Томского государственного университета. Живет в Новосибирске.

Белковец Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Живет в Новосибирске.

Григоров Амирам родился в Баку. В 1991 г. окончил физический факультет Бакинского государственного университета, в 2002 г. — медико-биологический факультет Российского государственного медицинского университета. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Преподает в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова. Живет в Москве.

Зубарева Вера Кимовна — поэт. Преподаватель Пенсильванского университета. Лауреат Международной премии им. Беллы

Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010) и др. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Новая Юность», «Сибирские огни», «Крещатик» и др. Главный редактор журнала «Гостиная», президент Объединения Русских Литераторов Америки.

Кирюшин Виктор Федорович родился в Брянске в 1953 году. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат Международной премии им. Андрея Платонова «Умное сердце». Живет в Москве.

Климьчев Борис Николаевич родился в 1930 году в Томске. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Огонек», «Смена», вошли в антологию «Русская поэзия. XX век». Автор 15 книг стихов и прозы. Почетный гражданин Томска. Член Союза писателей России. Живет в Томске.

Пашкевич Алесь родился в 1972 г. в деревне Набушево Минской обл. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета и аспирантуру при нем. Поэт, прозаик, литературовед, переводчик, публицист. Председатель Союза белорусских писателей с 2002 г. Член Белорусского союза журналистов. Живет в Минске.

Хотиллов Владимир Дмитриевич родился в 1950 году в г. Вышний Волочек, учился в ЧГУ (г. Чебоксары), работал на инженерных должностях, живет в г. Чебоксары, пенсионер.

Чех Александр — поэт, литературовед, музыковед. На протяжении многих лет — организатор музыкально-поэтических вечеров в «Доме Цветаевой» при Новосибирской областной публичной библиотеке. Живет в Новосибирске.

Шляпентох Дмитрий родился в 1950 году в Украине, окончил исторический факультет МГУ, жил и работал в новосибирском Академгородке. Эмигрировал в США в 1979 году. Адъюнкт-профессор исторического факультета университета штата Индиана, South Bend. Автор книги «Восток против Запада» (США). Живет в США.